

- [Прилежаева Мария Павловна](#)

- 

---

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](#)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

# Прилежаева Мария Павловна

## Зеленая ветка мая

Мария Павловна ПРИЛЕЖАЕВА

Зеленая ветка мая

Повесть

Повесть о судьбе девушки, чье детство и юность проходили в годы революции и становления Советской власти.

---

### ОГЛАВЛЕНИЕ:

Часть первая. ДЕТСТВО, ПРОЩАЙ!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Часть вторая. В ДОРОГУ

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Часть третья. ЧТО ВПЕРЕДИ?

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

---

Часть первая

ДЕТСТВО, ПРОЩАЙ!

1

- Вставай! Живо, скорей!

- Кто тут? Мама? Что, мама?

Она стояла со свечкой, придерживая у горла незастегнутый капот. Крошечный язычок пламени освещает худое лицо. Темень кругом. Только желтый огонек слабо высвечивает из тьмы мамино лицо. Волосы нечесаными прядями свисают на плечи и грудь.

- Слышишь?

- Нет.

- Вслушайся. Слышишь?

Катя села, натянула одеяло.

- Не слышу. Нет, не слышу.

Некоторое время мама молча хмурила брови. Катя узнала то выражение лица. То. Оно недавно появилось. Или Катя только недавно заметила? Кажется, вот мама здесь. И будто не здесь. Что-то чужое в ней. Катя боялась ее, такую.

- Разбудить Татьяну? - спросила робко.

- Татьяна отпущена к родным на три дня.
- Зачем?
- Нужно.

Татьяна отпущена к родным. Значит, в усадьбе они с мамой одни. В саду березовая аллея, сиреневые кусты вдоль забора, три тенистые липы над крокетной площадкой - укрывайся где хочешь. Боже! А за садом перебеги лужайку - и церковь. Иногда в церкви выставляют на ночь покойника. Может быть, и сейчас...

"Вдруг... среди тишины... с треском лопнула железная крышка гроба и поднялся мертвец. Зубы его страшно ударялись ряд о ряд, в судорогах задергались его губы, и, дико взвизгивая, понеслись заклинания. Вихрь поднялся по церкви, попадали на землю иконы..."

- Одевайся! - коротко велела мама.
- "Зачем? Ведь ночь".

Спорить нельзя. Спрашивать нельзя. Натянуть платьишко, скорей, как-нибудь. Руки не лезут в рукава.

- Поторапливайся, не маленькая, давно уже взрослая.

Катя кое-как справилась с платьем, накинула шарфик. Конечно, деревенские девчонки в ее-то годы... Вон Саньку возьмите...

- Хочешь знать, почему отпустила Татьяну? - спросила мама, беспокойно оглядываясь по сторонам. От желтенькой свечи тьма по углам кажется гуще. Настоящая крошечная тьма. Мама прикрыла свечку ладонью, чтобы не задуть. Есть подозрения... она связана с теми.

- "Господи", - перекрестилась Катя под шарфиком.
- Объясни, мама, пожалуйста.
- После. Сначала осмотрим дом.
- И наверху?

Дом с летним мезонином. Наверху две небольшие комнаты. Когда летом они из города приезжают в усадьбу, в мезонине живет Вася. Нынешним летом Васи нет, и комнаты наверху стоят нежилые. И два просторных чердачных чулана пусты. Конечно, и при Васе в чуланах никто не живет, но сейчас там как-то особенно пусто. Сумрачно. Свисают пряди паутинок со стропил. Того и гляди, споткнешься о балки. Или налетишь на печные кирпичные трубы.

Мама медленно шла по дому со свечкой. В столовой квадратные плиты паркета осели, у стен пол покатый, а в середине комнаты образовалась как бы впадина. Обеденный стол накренился, посуду ставить нельзя: поедет, как с горки. Впрочем, они давно не обедают в столовой.

Татьяна скажет иной раз, не маме, конечно, а Кате, тихонько

сочувствуя:

- Ничего-то барского в вас не осталось.

Татьяна давно живет у них, еще при папе жила. Смутно припоминается Кате: при папе в доме былолюдно, приезжали гости, играли на пианино, пели, гоняли на крокетной площадке шары.

Мама и теперь иногда играет на пианино. И на селе их зовут по-прежнему - Барские. Настоящая их фамилия Бектышевы, но на селе, может быть, и не знают их настоящей фамилии.

Катя шла за мамой по пятам. В голову, как нарочно, лезли разные страшные истории. Вот, например, Санька божится, что, раз у них в усадьбе зимами печки не топят, в печных трубах с холодами селятся черти.

- А еще они оттого выбрали вас, что мать неверующая.

- Врешь, Санька. Верующая!

- Крест носит? Глянь-ка, есть на матери крест?

Креста нет. Много слезных молитв вознесла Катя богу, чтобы помиловал маму, не уготовал ей, грешной, место в аду.

"Господи, прости маму. Прости, прости, что не носит креста".

Но другим, даже Саньке, ни за что не признается.

- Есть крест. Лопни мои глаза, если вру.

- Лопнут, дождешься. И в церковь твоя мать не ходит.

- В городе ходит. Там хор. Здесь не поют, а гнусавят, оттого и не ходит.

- Молиться везде можно.

- Вот она где захочет и молится.

"...А все-таки зачем она меня разбудила? Неужели лез вор?"

В деревне, в их селе Заборье, пересеченном тихой рекой Шухой, про воров не слышать. Здесь и замков на дверях не водится. В страдную пору, когда все село на лугах или в поле, если в какой избе не останется даже бабки с малым дитем, щеколду на дужку накинут, щепкой заткнут - вот вам и запор.

Маме почудились воров. Что-то почудилось. У нее бессонница, целые ночи не спит, поневоле пригрезятся страхи.

Они на цыпочках обошли комнаты.

Заглянули на кухню.

Нигде никого.

Пришли в мамину спальню. Здесь душно, фортки закрыты. Шторы опущены. Кровать отгорожена ширмой. На ночном столике пепельница с грудой окурков. Вещи насквозь пропитаны едким табачным дымом.

Мама вставила свечку в подсвечник на столике и в страшной усталости, будто отшагала верст двадцать, села на кровать. Закурила.

Вот что еще Катю смущало. Ни в деревне, ни в городе она не видела курящих женщин. А мама не выпускала изо рта папиросы, постоянно дымила.

- Бабы наши на твою мать дивятся, - говорила Санька. - Чудные вы, Барские.

- Бектышевы, а не Барские.

- Пускай Бектышевы. Все у вас по-чудному, не как у других.

- ...Можешь лечь, - позволила мама, докурив папиросу и зажигая от свечки другую.

И забыла о Кате.

Катя привыкла - мать никогда ее не ласкала. Васю ласкала: "Надежда моя!"

Когда приносили письмо из действующей армии, мама, бледнея, дрожащими пальцами торопливо надрывала конверт, читала, целовала листок, от слез буквы расплзались, и Катя после с трудом могла разобрать, что пишет Вася о войне.

Катя тоже любила его. Больше всех на свете любила его.

Какое измученное у мамы лицо! Далекое глаза, настороженные, будто все время ждет, вот кто-то подкрадется неслышно...

- Спокойной ночи, мама!

- Ступай.

Если бы можно было спросить: "Мамочка, что с тобой? Отчего ты молчишь? Не ешь. Ничего не ешь, только куришь. Что с тобой, мама?"

Катя спала на диване в гостиной, так называлась эта комната, где стояло пианино, ломберный столик для карточной игры, потертая плюшевая мебель.

Отчего-то грустно припомнилась одна летняя ночь. Тогда Васю еще не призвали в армию, он жил с ними в усадьбе, пол в столовой тогда еще не провалился. Катино место было в столовой. У нее не было в доме постоянного места.

Она крепко спала и внезапно проснулась. Словно что-то толкнуло ее. В окно светили звезды. Огромные синие и зеленые звезды. Катя не поверила: правда ли? Может быть, она все еще спит? Неужели взаправду эти таинственные звезды, таинственная тишина?

...Под окном что-то стукнуло. Кто-то влезал в раскрытое окно гостиной. Катя в страхе едва не вскочила. Ах да! Ведь это Вася возвращается со свидания с дочкой доктора из земской больницы, в пяти верстах от Заборья.

Кате нравилось, что Вася влюблен, пишет докторской дочке записки,

рвет и, схватившись за голову, долго сидит без звука, выражая всей позой муки любви. Впрочем, чаще вскочит на велосипед и укатит в коричневый флигель возле больницы - и до позднего вечера.

Вот вернулся со свидания звездной ночью, раскрыл пианино, играет. Чуть слышно.

"Я счастлив, милая жизнь!"

2

Сквозь тюлевые занавески солнце теплыми пятнами расплескалось по комнате. Если солнечные пятна остановятся на третьем сверху стенном пазу значит, восемь утра.

В разгаре лета стены гостиной рано заливаются светом. Волнами наплывает запах жасмина. В скворечне и под застрехой громко пищат птенцы, разевая жадные клювы, - сад щебечет, стрекочет.

Сейчас тихо в саду. За окном красные кисти рябин. Лето уходит, лету скоро конец. Скоро сад весь станет желтым и пестрым, а гроздья рябин все тяжелей и багрянее.

Рябина ты багряная, я тебя люблю.

Солнце золотое, я тебя люблю...

Нет, лучше так: "Солнце золотое, я тебя пою". Такими словами в обычной жизни не говорят. И хорошо. Поэты говорят необычно.

Утром радостно. Особенно в каникулы в Заборье. Хочется вскочить, куда-то бежать, кажется, именно сегодня случится что-то из ряда вон выходящее...

Но вспомнилась ночь, и Катя с тяжелым сердцем пошла к маме. Никогда не знаешь, что тебя ждет. Иногда скажут: "Занимайся своими делами". И на весь день свобода, раздолье, лети куда хочешь, на все четыре стороны, до вечера не хватятся.

Но чаще напротив: "Довольно бить баклуши. Делай французский перевод".

Или засадят на полдня играть гаммы. Катя ненавидела гаммы, упражнения Ганона, даже детские пьесы Чайковского! У нее нет музыкальных способностей, музыкального слуха. Неловко признаться, в этом смысле она просто пень.

Но она не ответит маме: "Не буду". Или: "Не хочу". Или что-нибудь в этом роде.

- Мама, можно прочесть эту книгу?..

- Мама, можно ко мне придет одна девочка?..

- Мама, можно?..

И если нельзя, так нельзя.

Как-то раз, после одного такого "мама, можно?", Вася сказал:

- Послушная ты. - Катя не поняла, хорошо это или плохо. Он с жалеющей улыбкой добавил: - Послушные не открывают Америк.

Она поняла. Резко дернулось в груди.

- Пожалуйста, открывайте Америки, а я и так проживу.

- Катюшон, не сердись, не то я сказал, - виновато признался Вася и взял ее за виски, крепко держал и глядел в глаза, не отпуская, покуда у нее не выступили все-таки слезы. - Не сердись, Катюшон.

Разве могла она на него сердиться?

Иногда утром, поднявшись раньше всех, они уходили вытаскивать поставленные на ночь удочки. Ставил он, наживлял на крючок пескаря или другого живца и закидывал удочку на ночь где-нибудь неподалеку от омута в кустах, чтобы кто не позарился на леску. Омуты в их родниковой извилистой Шухе множество, рыбы всякой уйма - голавлей, окуней, сазанов, крупные, в полруки, а то и больше.

Вася будил Катю до солнца.

Над берегами Шухи навис туман. Белый. Вступишь в него, и скоро платье влажно прилипнет к спине. Вася давал Кате вытащить самое большее две удочки в утро. Она разводит ветви куста, вся облитая холодной росой, осторожно берется за удилице и сразу чувствует, взяла рыба или нет. Если взяла, тяжело тянет вниз или начинает метаться в стороны, сумасшествовать. Того и гляди, сломает удилице.

Стиснув зубы, чтобы не завизжать от азарта, Катя медленно, как учил Вася, ведет удочку. Не упустить бы, не упустить!

Когда они возвращались домой, заря разливалась в полнеба, туман таял, свежо зеленела трава.

Крестьяне шли в поле.

- Добытки, на ущицу раздобыли рыбешки, - скажет баба с серпом на плече.

- Чо им не баловаться? Им рожь не жать, - скажет другая.

...Потом Вася все реже жил дома. Поступил учиться в Московский институт путей сообщения. Потом началась война.

Третий год идет война, немцы нас бьют, плохи наши дела. У всех одно на уме: чем только все это кончится?

Санькин отец вернулся из лазарета на деревянной ноге. Однажды, дожидаясь Саньку возле ее огорода, Катя случайно подслушала разговор Санькиного отца с таким же отвоевавшим мужиком без руки.

- Невидная, безрукая да безногая наша житуха.

- У кого она видная, ежели ты из бедного классу? Главное дело,

германца никак не осилим.

- Царь у нас никудышный. Вовсе плохонький царь... С эдакой головой не осилишь.

- Офицерье туда ж. Один к одному сволота.

Катя обмерла: ведь Вася-то, брат ее, - прапорщик!

Солдаты не заметили Катю. Не дождавшись Саньки, она умчалась домой.

Вот в какие неприятные случилось ей попадать положения. Ладно, что Катя довольно быстро о них забывала.

...Где же мама?

Окна в маминой спальне задернуты темными шторами. Кровать не застелена. На ночном столике огарок свечи в подсвечнике, куча окурков. И на полу окурки, пепел.

Катя обошла дом. Мамы нет. В кухне самовар холодный, не ставленный. Где она? Ушла к Ольге Никитичне? Едва ли, с Ольгой Никитичной у них близкого знакомства нет.

Катя съела булку и вдруг вспомнила вчерашнего воробушка. Утром она набрела на него у крокетной площадки. Он беспомощно лежал со сломанным крылышком. Катя подняла воробья, жалостно слушая, как колотится в ладони маленькое воробьиное сердце. Весь день выхаживала воробушка, кутала, поила, кормила, но он не пил и не ел и к вечеру умер. Катя спрятала его в коробку, там он и пролежал всю ночь. Сегодня похороны. Ни одного лета у нее не обходилось без похорон.

Воробушек за ночь окостенел, головка свесилась набок. Она вышла с ним в сад вырыть где-нибудь под кустами могилу. Тут как раз за садом на колокольне зазвонили. Медно ударял большой колокол, гудел, далеко разливаясь по полям и лугам, а малые колокола трезвонили наперебой, будто бегут вперегонки.

"Названивают, словно на праздник. Да и верно праздник, должно быть".

- Ты здесь зачем? - резко послышалось сзади.

Мама. Какой сиплый голос! Волосы растрепаны, подол юбки мокрый, видно, долго бродила по росистой траве.

- Живо домой!

Почему-то в это ясное розовое утро, когда она так печально любила воробушка, грубый окрик матери больно оскорбил Катю.

Но она и теперь ничего не сказала и пошла домой, понуриив голову, держа в руке птичку.

- Ты подавала им знаки, - сказала мать, входя в кухню.



- Кому? - испугалась Катя. Ужасно испугалась. Нет, она не может больше все это терпеть! Не может, не хочет. Она убежит.

В глазах матери стояла какая-то хитрость. Эта хитрость и было самое страшное, потому что ее нельзя было понять, и Катя не знала, что думать, что делать, и хотела спрятаться, куда-нибудь скрыться, чтобы не видеть выпытывающих и одновременно каких-то бездонно пустых маминых глаз.

- Ты подавала им знаки. Им. На колокольне.

- Мама! - взмолилась Катя.

- Молчи. Я все знаю. Давно за тобой слежу. - Пальцы цепко впились Кате в плечо. - Признавайся. Признавайся. Ну, призна...

Но на кухонном крыльце раздались шаги, кто-то взялся за дверную скобу. Мама мигом отпустила Катю, отскочила к стене, прижалась, словно хотела втиснуться в стену.

- Кто там?

Вошла Ольга Никитична. Ангелы в небесах услышали Катин ужас, прислали на помощь Ольгу Никитичну.

Всегда она бывала ровна и спокойна, а сейчас казалась озабоченной и заговорила с какой-то искусственной ласковостью:

- Александра Алексеевна, а у вас нынче вид посвежевший. Но доктора все же я к вам привела...

- Я здорова, - оборвала мама.

Старый доктор, с чеховским высоким лбом и пенсне, тот самый, из земской больницы, в дочку которого был влюблен Вася, пристально поглядел на маму и сказал, как Ольга Никитична, неестественно ласково:

- Здравствуйте, Александра Алексеевна. Оказия вышла в Заборье, дай, думаю, взгляну проведать.

- Я здорова, - повторила мать. И ровным голосом, словно о чем-то будничном, вовсе обыденном: - Я знаю, кто хочет меня отравить.

Ольга Никитична порывисто обняла Катю, привлекая к себе.

- Полноте, Александра Алексеевна, кому надо вас отравлять? - возразил доктор.

- Не спорьте. Я знаю, кому и зачем это надо, - ответила мать, и в глазах блеснуло то - непонятное, злое и хитрое.

- Идем, - позвала Катю Ольга Никитична. - Нечего здесь делать тебе.

Она крепко взяла ее за руку и повела из дому, как маленькую.

Катя несла воробушка.

З

Ольга Никитична жила в деревянном домишке, который только тем отличался в ряду деревенских изб, что в палисаднике было тесно и

празднично от толпы пышных георгинов и флоксов. Муж ее был фельдшером в той же земской больнице в пяти верстах от Заборья, но его тоже призвали в армию. Почти всех мужчин из деревень и сел в окрестности угнали на фронт.

Ольга Никитична учила в школе ребят и зимами жила одна, а на каникулы приезжала из города дочка Зоя, старше Кати, лет пятнадцати, тоже гимназистка.

- Пока побудешь у нас, а там видно будет, - бодрясь и словно стараясь скрыть что-то, говорила Ольга Никитична и тут же, среди бела дня, принялась стелить Кате постель в крохотном кабинетике фельдшера на его давно пустовавшей кровати.

- Пока с Зоей побудешь. Зоя тебя рукоделию научит. Она у нас мастерица. Что за барышня, чтоб иголку не умела держать? Ну, вот и готова постелька.

Ольга Никитична говорила без умолку о всяких пустяках вроде Зоиною рукоделия, казалось, боясь Катиных вопросов. Но Катя ни о чем не спрашивала. Кое-что уже сама поняла. Правда, не все.

Зоя вышивала гладью скатерку. Вечно вышивала, целые дни сидела за пальцами.

- Полюбуйся, Катя, кружев у меня на две дюжины полотенец навязано! Кончу гимназию, а приданого полный припас.

- По нынешним временам и с приданным девки с рук не идут. Женихов-то всех перебили, - вздохнула Ольга Никитична.

Катя глядела в окно. Виден их сад с темной зеленью сиреневых кустов, желтеющей березовой аллеей, пламенными кострами рябин. Вытопанная лужайка у церковной ограды. Белая колокольня умолкла - обедню отслужили. Позади усадьбы и церкви вправо и влево стройный порядок крестьянских изб.

Обычно села строятся вдоль реки, а наше Заборье перекинуло поперек Шухи мост и вытянулось в ту и другую сторону чуть не по версте. Зачем село ушло от реки? Может, приманили леса? Обоими концами Заборье упирается в леса. Там между шатровых елей путается орешник, жестко шуршат осины, чернотвольная ольха обступила болотца. Болотец у нас много, затянутых светлой ряской, веснами сотни лягушек задают концерты, на все село слышно.

"Что с мамой? Что с мамой?"

- Ольга Никитична, я пойду к маме.

- О маме не тужи. Есть кому о ней позаботиться, - тем же старательно-спокойным тоном ответила Ольга Никитична.

Катя глядела в окно. Виден их сад...

- Тогда сбегая к Саньке, - попросилась она.

- А это - сделай милость, беги.

Катя не оглянулась на Зою, отчасти она чувствовала себя по отношению к Зое изменницей, но не хочется сидеть над пальцами. И говорить с Зоей не о чем. Удивительно не о чем с ней говорить.

Она припустила бегом. Катя не любила тихо ходить. Ей нравилось мчаться и размахивать прутом, будто всадник на несущемся коне. Все это называлось мальчишескими ухватками, вовсе не идущими девочке, называлось дурными манерами. Наверное, так оно и было, и мама поделом бранила ее, но, вырвавшись из дома, Катя начисто о манерах забывала.

Санька мыла полы. Двое мальчишек, пяти и трех лет, на широченной, покрытой лоскутным одеялом кровати строили из чурок амбар. Третий, маленький, спал в зыбке, подвешенной к потолку на шесте, а Санька, домывая полы, скребла косарем у порога.

- Помочь?

- Вона помощница выискалась! - хмыкнула Санька. - Тряпку выжать и то небось не умеешь. Что долго не была?

- Мама не позволяла.

- Своей воли вовсе нету. Ох и подневольная ты!

Санька быстро управилась, краем кофтенки вытерла со лба пот, сполоснулась под глиняным ручкомойником, Кате приказала разуться, чтобы не наследить на чистом полу, вытащила ухватом из печки чугунок с пареной репой и кликнула братишек за стол. Маленький заворочался, просыпаясь, но Санька потрясла зыбку и мигом его укачала.

- Ой, - вспомнила Катя, - воробушка мертвого у Ольги Никитичны на окошке оставила. Похоронить хотела.

- Сиди. У Ольги Никитичны кот-ворюга. Небось давно твоего воробушка сожрал.

- Как тебе не стыдно! Какая ты жестокая, Санька.

- Ладно, не хнычь, - одернула Санька. - Мертвым не больно. Живых жрут. Ешь репу. Не хнычь.

- Как это живых жрут?

- Вот так.

Санька молча ела репу, мальчишки и Катя от ее строгости присмирели.

- Вот так, - распаяясь, продолжала Санька. - Наш тятка с войны на деревяшке вернулся, на груди "Георгий". "Георгия" зазря не нацепят, его за храбрость дают. А староста не поглядел на медаль, самую далекую да худую делянку тятке отмерил в лугах. Луга-то барские, ваши, миром у вас

арендуем. Вам денежки мирские беззаботно плывут, а над нами староста. По-божески это, что тятка на деревяшке за десять верст убирать сено хромает? По-божески это, что нынче праздник преображения господня, а тятка с мамкой чем бы праздновать или на своем дворе похозяйствовать - к чужим батрачить ушли?

- Чего они батрачат-то?

- "Чего, чего"! Овсы лошадным косят. Глянь во двор, есть у нас лошадь? Нету. Безлошадные мы. И землю староста тятке потощей выделяет. Сживает со свету тятку.

- За что?

- За то, что голова непоклонная, - сверкнув глазами, гордо ответила Санька и понесла чугуны на шесток. - Ребятишки, айда в огороды. Сядем там в холодку. Малого под лопухами пристроим. А мне маманя ребячьих портов собрала, в дырах все, латать надо.

Она расстелила дерюжку у куста бузины, маленького устроила под лопухами. И повеселела и принялась одну за другой нашивать заплатки на ребячьих штаны.

- А ты рассказывай, Катя.

Вот это-то Катя и любила! Любила Санькины горящие изумлением глаза, любопытство и сияние в них, как только начинался рассказ. Любила сочинять длинные-длинные истории, непохожие на Санькины сказки о ведьмах и чертях. В Катиных историях прочитанное мешалось с выдумками и речь шла о жизни. Вроде как о ее собственной Катиной жизни и совсем не ее, вроде как о ней самой и совсем не о ней. В ее историях происходили разные события, ее герои страдали, терпели лишения, страшные испытания валились на них, но конец был счастливым. И Санька благодарно вздыхала, ахала, охала, и ее глубокие переживания так вдохновляли Катю, что она придумывала все новые повести. Специально для Саньки. И для себя, разумеется. Всегда со счастливым концом.

- Беда-то! У нас на селе и не случалось такого! - долетело до них в разгаре Катиной повести.

Говорили у крыльца. Видно, вернулись с поля. Говорила Санькина мать:

- Да правда ли? Может, врут?

- Где там врут! - спорил другой женский голос. - Своими глазыньками видела, как она, бедная, билась. "Не хочу! - кричит. - Изверги вы". Даки они ей руки связали, Лександре Ляксевне, сердечной! Да силком на телегу. А она криком кричит: "Спасите, убивать меня повезли!"

- Боже мой! - простонала Катя. Вскочила. - Мама! Спасите ее! Не

убивайте ее!

Она выбежала из огорода к крыльцу. Там две женщины и Санькин отец на деревянной ноге. Замолчали. Испугались ее вида.

- Ты... деушка... - запинаясь, сказал Санькин отец, - с матерью твоей не того... худо ей... так ты, ежели вовсе не будет к кому прислониться... в случае... приходи.

И стал торопливо подниматься на крыльцо, стучая о ступеньки деревянной ногой.

- Усадьба у ней. Управитель найдется, - возразила Санькина мать.

- Я не про то. Ежели стоскуется. Вот я про что.

Деревяшка стукнула о ступеньку.

Наползавшая с востока туча завесила солнце, притемнила день.

Стая молодых галок снялась с колокольни и, звонко цокая, пронеслась над селом.

4

Спустя несколько дней у палисадника Ольги Никитичны остановился тарантас, запряженный парой. Приехала высокая пожилая дама, в шляпе из кремовой соломки, дорожном светло-сером платье и серой же, но потемнее, тальме со стоячим широким воротником, как, видела Катя, рисуют в иллюстрированном журнале "Нива" именитых особ старинных фамилий королевства Великобритании. Но не стоячий воротник ее тальмы, будто срисованный с иллюстраций из "Нивы", удивил Катю. Удивило, что приезжая старая дама (наверное, не меньше шестидесяти) казалась притом совсем не старухой. Статная, стройная. Поднимающиеся венцом вокруг лба блестящие, без седины волосы; темные, будто смотришь в колодец, глаза, светлая кожа с легким румянцем.

Величавая и праздничная, она неспешно оглядела Катю у окна, Зою за пальцами.

- Кто из вас Катя Бектышева?

- Я.

- Здравствуй. Я твоя баба-Кока.

Оторопь взяла Катю. Даже "здравствуйте" ответить не нашлась.

- Ксения Васильевна, наконец-то! Получили телеграмму? А я жду не дождусь, отчего задержка, разгадать не умею! - всплескивала руками и восклицала Ольга Никитична.

- В полчаса такой трудный шаг не решишь. Есть о чем подумать перелом жизни, не шутка, - медлительно ответила гостя.

"Какой шаг? Какой перелом? - пронеслось у Кати. - Зачем она приехала? А, знаю, знаю, ей меня отдадут. Ольга Никитична, не отдавайте, я

к вам привыкла, вы добрая. Я не стала бы вам мешать, ведь недолго осталось. Кончится же война, вернется Вася. Ольга Никитична! Не отдавайте меня!"

Но Катя молчала. Почему? Почему в самые решительные моменты жизни она тушевалась? События шли своим чередом, она не противилась. Слушалась.

Впрочем, приезжая дама в тальме пока ничего дурного Кате не сделала. Напротив! Изредка откуда-то из Москвы приходила на Катину имя по почте посылка. Кукла в желтых кудряшках и гофрированном платье. Или "Отверженные" Виктора Гюго в дорогом переплете.

Однажды пришла необычная по виду посылка - что-то длинное, узкое. Оказалось, зонтик из розового муслина, с кружевной оборкой. Во всем Заборье ни у одной девчонки ничего подобного не было. О летних зонтиках от солнца, тем более с кружевными оборками, в деревне не слыхивали. Кто здесь от солнца хоронится?

Катя примчалась к Саньке. Был вечер. Стадо уже пригнало, пыль от копыт на дороге улеглась. Воздух снова стал чист. Катя раскрыла зонтик. Санька так и присела.

- Батюшки светы! Щелк, и раскрылся!

Пылая от счастья, Катя позвала Саньку прогуляться по деревне под зонтиком. Из всех изб сбежались девчонки и мальчишки. За зонтиком следовало шествие, как за иконой в престольный праздник.

- Приятно, даже и нет солнца, а как-то приятней с зонтиком, верно?

Санька только молча кивала. Такой удивительный сваливался иногда на Катю сюрприз.

И три слова на почтовом листке: "Целую. Баба-Кока".

..."Что со мной будет?" - сжимая холодные пальцы, думала Катя, убежав в палисадник, пока Ольга Никитична повела бабу-Коку вымыться и переодеться с дороги.

Ксения Васильевна, мамина тетка, была крестной Васи и Кати. Это было при отце. Отец и назвал ее бабой-Кокой. Так с тех пор и пошло. Говорят, баба-Кока дружила с отцом, во всяком случае, находила общий язык. С мамой у них общего языка не было. Поэтому, когда отец расстался с семьей, баба-Кока не появлялась в их доме. Оттого Катя и не знала ее. Отца она тоже не знала. Отец - Платон Акиндинович - полковник в отставке. И все. А где он? Какой?

Иногда услышит от Татьяны: "Обходительный был, весельчак. С мамашей твоей характерами уж больно несхожи. Да еще попивал..."

Иногда из разговора мамы с Васей: "О чудачествах занимательно в

романах читать, но терпеть рядом, каждый день?.."

Должно быть, по этой причине мама не терпела и свою тетку Ксению Васильевну. Про Ксению Васильевну говорили, что она прожила жизнь сумасбродно.

Однажды Вася получил письмо, передал маме:

- У бабы-Коки снова перемены.

Мама прочитала небольшую, мелко исписанную страничку, холодно бросила:

- Очередное чудачество.

- Невинное. Даже душеспасительное, - сказал Вася.

"Что там? Какие перемены? Какое чудачество?"

Но Кате не разрешалось любопытствовать. Задавать вопросы нельзя. Вмешиваться в разговоры старших нельзя.

\*

И вот из-за маминой болезни предстояла ей новая жизнь. Несло, как ветром былинку. Куда?

Накануне отъезда все пришли в их бектышевский сад. Дом заперт. Заколачивали окна. Санькин отец, хромая на деревяшке, стучал молотком, прибывая крест-накрест доски.

- Словно гроб заколачиваем, - всхлипнула Ольга Никитична.

Санька кинулась Кате на шею:

- Подруженька, век помнить буду! Катя, и ты меня не забудь.

Солнце зашло, когда они уходили. Полный печали, спустился бесшумный вечер.

Катя оглянулась от калитки. На клумбе в глубокой тишине клонили пестрые шапки осенние астры.

5

- Станция Александров! Остановка пять минут. Поезд следует до Москвы. Александров...

В черной тужурке с блестящими пуговицами, мягко ступая по ковровой дорожке, проводник шел коридором второго класса, деликатно постукивая в двери купе, где приказано разбудить. Стукнул Ксении Васильевне, но они с Катей были уже готовы.

- Носильщика, и поскорей, - распорядилась Ксения Васильевна.

- Эй! Носильщик, сюда.

Рысью подбежал немолодой, слабосильный на вид мужичок в белом фартуке, с бляхой на груди, суетливо подхватил чемодан, саквояж, набитый постелью, и перевязанный ремнями портплед - все Катино имущество, - и через минуту они оказались на утренней малолюдной платформе, где

дворник поднимал метлой тучу пыли. Носильщик проводил пассажиров на привокзальную площадь к извозчикам. Катя думала, они едут в Москву, а ее привезли в Александров. Только улица, по названию Московская, длинно тянулась от вокзала из конца в конец города.

Что за город!

Что за город по сравнению с тем, в котором Катя жила раньше? Там липовый тенистый бульвар выведет на высокую набережную, и откроется тихая, вольная Волга, утекая в туманную даль, и всю тебя обоймет непонятное счастье. Там на центральной площади известный всей России театр, с колоннами, огнями, афишами. Когда Катю брали на спектакль, это был праздник надолго-надолго. Там нарядные улицы, каменные дома, витрины с игрушками, у которых можно простоять час или два, замирая от восхищения, любуясь, особенно куклами.

Нужно признаться, Катя везла свою единственную куклу на новое местожительство, тайно ото всех затискав в чемодан. Куклу, как и муслиновый зонтик, когда-то прислала из Москвы баба-Кока.

В желтых кудряшках, кисейном розовом платьице, с растопыренными розовыми ручками, круглыми, как пуговички, голубыми глазками, кукла была модной барышней. А Катя в это именно время читала "Отверженные", обливаясь слезами над страданиями несчастной Козетты, ненавидя разряженных дочек трактирщика. Кукла в кисейном туалете напоминала тех злых модниц. А Кате хотелось, чтобы она была забитой, оборванной, чтобы можно было спасти ее, приютить, пожалеть.

Она порвала на кукле наряд, взлохматила волосы, измазала щеки. Кукла стала Козеттой. Катя страстно любила Козетту, покрывая поцелуями ее чумазое лицо.

- Дикарка какая-то со своими дурацкими фантазиями. Нелепый ребенок! сухо заметила мать.

Но не отобрала куклу.

Катя делилась с Козеттой всей своей жизнью. Козетта знала ее беды и радости. Неужели бросить ее в заколоченном доме? Надо совсем быть бездушной. Налетят сырые осенние ветры. Увянут астры. Осыплются листья берез. И никто, ни один человек не придет в голый сад, к забытому дому.

"Все-таки куда мы приехали?" - разгадывала Катя, трясаясь вместе с бабой-Кокой по булыжной мостовой на извозчике. По сторонам стояли в ряд деревянные одноэтажные домики. Заборы, заборы. Домик - дощатый забор. Домик - забор. Крылец не видно. Крыльца за воротами. Только деревянные кружевные узоры на карнизах и окнах веселили Московскую



улицу. Правда, иногда среди простеньких домов-близнецов выделялся особняк-купчина, даже каменный, и по балкончикам, башенкам и всяким другим украшениям можно было понять, как он богат и доволен собой.

Правда, увидела Катя красное кирпичное здание с высокими окнами и вывеской над подъездом: "Мужская гимназия". И магазины, мелочные лавчонки на Торговой площади. А за площадью снова одноэтажные аккуратные дома и заборы.

- Мы здесь будем жить? - спросила Катя.

- Здесь, да не совсем. Удивишься, где мы жить будем.

Катя вздохнула. Последнее время часто приходилось ей удивляться.

Ударил колокол к обедне. Не как в Заборье, дребезжаще - блям, блям, а могучий хор колоколов, больших, средних, малых, многоголосо гудящих, поющих и торжественно возносящихся к небу.

И стал виден монастырь на обширном зеленом холме. Отделяла его от города река Серая, что кружила поперек и вдоль улиц, осененная серебристыми сводами ив.

Белые стены обнесли монастырь. По углам сторожевые башни. Сверкали синевой и золотом церковные главы. Легко и изящно высились шатры колоколен.

Извозчик обернулся:

- В обитель прикажете?

Баба-Кока кивнула.

"Что такое?" - не поняла Катя. И вдруг поняла. Так вот то чудачество, душеспасительное, о котором когда-то она услышала разговор мамы с Васей. Значит, ее привезли в монастырь? Да, в монастырь. Не со многими девочками такое случается.

Что до Кати, она настолько всем происходящим с нею была озадачена, что не знала, огорчаться или радоваться. Чему уж тут радоваться! Известно, в монастыри испокон веку ссылали неугодных государям людей и даже цариц и царевен. Все знают, сестра Петра Великого Софья так и зачахла за монастырской стеной.

- Что ты молчишь? - удивленно заметила баба-Кока.

Приученная дома о своих переживаниях помалкивать, Катя и тут не ответила.

Белокаменные, с прихотливой резьбой и яркими куполами и крышами церкви; три липовые аллеи с трех сторон ведут к собору в центре обители; подстриженные барбарисы окаймляют лужайки; дорожки посыпаны гравием или желтым песком; разноцветные флоксы и георгины на клумбах; прячутся в зелени сиреневых кустов нарядно покрашенные флигеля -

монашеские кельи, как после Катя узнает; все ухожено, чисто. И на фоне этих радостных красок черные силуэты монашенок, которые, казалось, не шли туда и сюда, а бесшумно скользили с опущенными головами в черных клобуках.

- К главному келейному корпусу, - распорядилась Ксения Васильевна.

Келейный корпус, двухэтажное белое каменное здание, едва не полверсты тянулся вдоль монастырской стены и вместе с ней под прямым углом поворачивал.

"На букву "Г" похоже", - подумала Катя. И не ошиблась: главный корпус в монастыре так и называли Глаголем.

- Вот мы и дома, - сказала Ксения Васильевна.

А домом была келья. Высокий сводчатый потолок, как в часовне. Узкие окна. Зажженная перед иконой лампада.

...После Катя оценит книжные полки, свежий номер журнала "Русская мысль", газеты, а сейчас ее грудь стеснили страх и тоска. Неужели ее, как царевну Софью, заточат здесь навсегда за монастырской стеной?

- С приездом, матушка Ксения Васильевна! - раздался звонкий девичий голос.

Из-за перегородки вышла тоненькая девушка, одетая в черную рясу до пола и черный платок. Монашенка! Да разве бывают такие молоденькие монашки, с лукавым, смеющимся взглядом?

"Хорошенькая... - ревниво подумала Катя. - Да, особенно по сравнению со мной".

К своей внешности Катя относилась, быть может, излишне критически, не раз слыша мамины суждения: "До чего долговяза, суцая цапля" или: "Не вертись перед зеркалом, красивей не станешь".

А у этой монашки такое белое личико, пухлый рот, короткие, темные, будто удивленные, бровки.

Она сложила на животе руки, всунув в широкие рукава рясы, и низким поклоном до пояса поклонилась Ксении Васильевне. Кате не так низко, с острым любопытством быстро ее оглядев.

- Что прикажете, матушка Ксения Васильевна?

- Здравствуй, Фрося. Как ты здесь без меня? Сварика нам кофею, да топленого молока подай, да калачей с маслом, - приказала Ксения Васильевна. - Ну, Катерина Платоновна, располагайся на житье. Привыкай.

Так, хочешь не хочешь, было суждено Кате Бектышевой расположиться на житье в Успенском первоклассном девичьем монастыре, образованном на месте Александровской слободы, где в далекие времена много лет жил и властвовал со своей опричниной царь Иван Грозный.

В первый же день Фрося повела Катю поглядеть монастырь. Хотелось ей похвалиться. Правду сказать, было чем. Что Троицкий спокойно-торжественный древний собор, что Распятская церковь "иже под колоколы", то есть под колокольней, что другие храмы и звонницы - все поражало благолепием, и невольно почудится, что за каждым твоим шагом и мыслью неусыпно следит божье карающее и милующее око.

Однако Фрося беспечно болтала о том о сем и, лишь когда издали увидит черную фигуру монахини, умолкнет и, вложив руки в широкие рукава, низким поклоном приветствует встречную.

Показала она Кате церкви и звонницы, святые врата и трапезную, просвирню, где пекут просфоры, и даже квасную, где варят вкусный монастырский квас. Показала три ведущие к собору аллеи. Аллея Свиданий, аллея Мечтаний, аллея Разочарования.

- Мирские эти прозвища, - осуждая, качнула головой. - В наши божьи храмы полгорода ходит. Барышни с кавалерами сговорятся заранее да перед всенощной и гуляют аллеями. А то и после всенощной, пока монастырские врата не запрут. А еще покажу я тебе...

И она привела Катю в страшное место. Вернее, страшное место здесь было когда-то, а сейчас раскинулся обыкновенный, засеянный газоном лужок.

- У нас об этом молчат, - говорила Фрося. - Мне Ксения Васильевна из книжки читала, а ты никому не сказывай, ни единой душе. Ты, о чем узнаешь, молчи.

Вот что Катя узнала.

Давно, три с половиной века назад, когда Русью правил царь Иван Грозный, на месте монастыря была царская слобода, обнесенная стенами, земляными валами и рвом, до краев наполненным водою.

Дивные царские дворцы и хоромы стояли в слободе, а простому народу сюда доступа не было. Даже и птица не залетит в слободу, где жил царь со своей кромешной опричниной.

Царь был лют. Всюду чудились ему враги и измены. По приказу цареву в слободе устроили пыточный двор - здесь сейчас трава зеленеет, цветочки цветут, а тогда людей жгли на кострах, подымали на дыбе, рвали ноздри, клеймили раскаленным железом. Сажали в подвалы на цепь, годами гноили.

Стынет сердце, представляя эти адовы муки!

- А вот погляди...

Фрося привела Катю к невысокому каменному зданию, по-старинному

его называли палатой, на самом же деле это была тюрьма, специально построенная для сводной сестры Петра Первого Марфы. За слушание сослали ее, тут она и померла "в печалях и болезнях".

- Да что, разве царевна Марфа одна? Здесь не одну запирали!

Стало Кате не по себе. Конечно, и раньше слышала о ссылках и пытках, но когда увидела своими глазами, постояла перед каменной, низкой, с крохотными оконцами "палатой", где захла в неволе царевна, - потускнели в глазах монастырские клумбы, и лужи, и церкви с золотыми куполами.

- Наша обитель святая, святой и пребудет вовек, - тоненьким голоском зачастила Фрося, увидев появившуюся вблизи монахиню, отдавая ей низкий поклон.

Монахиня проплыла мимо, перебирая на ходу четки. Фрося, пока она проплывала, не подняла головы. А когда из виду скрылась, шепотом:

- Злюка. Губы-то поджала, заметила? Ходит, высматривает. Чуть что не так, сейчас на послушание.

- Это что?

- За грех работой наказывают, да потрудней, потяжелше. А то на всю ночь поставят поклоны бить. На каменном полу на коленках.

- Зачем же ты... - Катя запнулась, - почему ты так с ней?

- Прислуживаю? Здесь без этого нельзя. Заклюют.

- Значит, плохо тебе? - хмуро спросила Катя.

Фрося фыркнула, но тотчас прихлопнула ладонью рот, ибо в обители надлежит пребывать смиренно, тешить бесов смехом грешно.

- Я за Ксенией Васильевной как в раю здесь живу! Я о лучшем-то и думать не думаю. Каждый день за Ксению Васильевну молюсь, что из пропасти вытащила.

Конечно, Кате захотелось узнать, из какой пропасти вытащила Фросю Ксения Васильевна.

...Неужели никто и не протянул бы руки и пропала бы девочка, если бы в цветущее яблонями и вишенником, богатое село Медяны на берегу живописного озера не приехала пожилая дачница с мужем!

С давних пор в Медяны приезжали дачники из разных городов, однако на этих двоих все поглядывали с необычным интересом. На нее особенно. И обходительна, и хороша, волосы убраны надо лбом, как корона, но в годочках порядочных, муженек-то лет на пятнадцать моложе и все что-то пишет ученый, видать. Пускай себе пишет, да невенчаны живут - вот в чем загвоздка!

Глядело все село на Ксению Васильевну с удивлением, а отчасти и с

жалостью.

А Фросе Евстигнеевой вольно жилось в доброй семье. Одно плохо: брата женили, и вошла в дом невестка. Неласковая, на шутку обидчивая. А Фрося любила пошутить. Чего не шутить, когда единственной дочкой у тяти и мамы растет. Мамонька то и глядит, как побаловать: и поспать подольше даст утром, и кусок получше подсунет, а в престольный праздник узорчатый полушалок из укладки вынет на выбор: форси.

Невестка все примечает. Молчит, а копит в уме.

Однажды в праздник Фрося на завалинке щелкала с подружками семечки, когда по деревне с воем пробежал мужик, волоча багор:

- Караул! Евстигнеевы тонут. Спасайте!

Все село, свои и дачники, с плачем и криками побежали к озеру. Фрося вырвалась вперед.

- Тятенька! Матушка! - кричала, кидалась в воду. Ее держали. Фрося билась, вопила: - Тятенька! Мама!..

Они уехали в лодке на остров за сеном. Может, и лишку нагрузили, пожадничали, да не в том одна причина: внезапно - у них нередко такое случалось на озере - поднялся ветер, резкий, крутой, вздыбил волны, погнал завитые белыми гребнями валы; лодку захлестнуло, перевернуло стогом набок, и на глазах онемевшей толпы все ушло под воду. Весь народ видел, как Фросин отец спасал мать, как она раза два взмахнула руками и скрылась из глаз. А потом поплыл, качаясь на волнах, один отцовский картуз. И когда подоспели соседские лодки с веревками и баграми к месту беды, только волны, завиваясь белыми гривами, гуляли на угрюмом просторе.

Так в полчаса стала Фрося круглой сиротой.

А хозяйкой в доме Евстигнеевых стала невестка.

И припомнились Фросе шутки и смех, и утренние, сбереженные матушкой сны, и цветастые полушалки из матушкиной укладки.

Изменилось все. Жизнь стала сиротской.

Нр ведь не всякая сиротская жизнь облита дни и ночи слезами? Ведь бывает, и чужие люди душевно живут?

Нет, слишком уступчив был Фросин брат, слишком подчинен молодой жене, а скорее, недалекого ума был мужик: верил всем ее злым наговорам.

- Ты зачем про нас по селу языком подлым чешешь? Ты почто на весь мир нас срамишь?

- Братчик, родненький, не срамлю я.

- Врешь.

И стегал вожжами, пока с ног не свалит.

- Забьют девчонку, - поговаривать стали на селе.

Но в чужие семейные дела не вступались. Кому охота из-за сиротки врагов наживать? Иная баба из жалости сунет кусок, потихоньку на ходу приласкает. Фрося только голову ниже опустит. И молчит, вовсе стала молчунья.

Как-то раз, когда Фрося одна оставалась в избе, вбежала старая нарядная дачница с затейливой прической. Фрося сидела на лавке, усохшая, с безжизненным взором. Ксения Васильевна схватила ее худенькую девчоночью руку.

- Слух идет, тебя бьют?

- Нет, нет, барыня, ради Христа, и не говорите такого! - испугалась она.

Ксения Васильевна приподняла линиящую юбочку на Фросе, увидела иссеченные синими и багровыми рубцами ноги.

- Изверги! Сейчас же идем.

И потянула Фросю бегом, позади огородов, на дальний конец села, где возле самого озера снимала у старой бобылки, бабки Степаниды, избу под дачу.

Долго ли все длилось потом или нет, Фрося не помнит. Наверное, недолго. Ксения Васильевна и ее невенчаный муж наняли тарантас, и вороной жеребец умчал их с Фросей из Медян.

Фрося боялась, не верила, плечи тряслись от рыданий.

Они не утешали, дали ей выплакаться, а между собой обговаривали, куда ее деть. На фабрику? Тяжело. Двенадцать часов в сутки стой у станка. Без солнца, без воздуха. Не выдержит. В прислуги? Избитая, вся в синяках, глаза одичалые, кто такую возьмет?

Оставалось одно. У Ксении Васильевны был внесен в Александровский монастырь порядочный вклад и пожизненно откуплена келья. На случай, если останется одинокой под старость, будет где приклонить много испытавшую голову. Так оно и случилось, и скоро...

Сюда привезла Ксения Васильевна Фросю. Поклонилась игуменье матери Тамаре, важной и властной, ценившей светские связи.

Так стала Фрося послушницей Александровского первоклассного девичьего монастыря.

Постепенно рубцы на ногах отошли, стала затягиваться душевная рана, любопытством и жизнью заблестели глаза.

7

Начался учебный год. Баба-Кока посетила начальницу Александровской женской гимназии, и Катю Бектышеву приняли в

четвертый класс.

Ровно полчаса девятого она вышла из монастырских ворот. Несколько девочек в коричневых платьях и черных передниках собрались здесь и крестились на образ богоматери, врезанный в каменную кладку монастырской стены.

- Матерь божия, дай, чтобы ученье шло хорошо, - громко и весело молилась коренастая, крепкая девочка, с широким лбом, широко расставленными светло-зелеными глазами и толстой русой косой. Новенькая? - увидела Катю. - Девочки, у нас новенькая, хватит молиться.

Видимо, она была командиршей, все сразу ее послушались.

- В монастырь на квартиру поставили? - расспрашивала она Катю. - Мы тут тоже углы у монахинь снимаем. О тебе как условлено? С поломытьем? Воду будешь таскать? Нет? Девочки, слышали, она без полов, без воды, не жизнь, а масленица. Как звать? А меня - Лина Савельева.

- Акулина, - жиденьким голоском поправила белобрысая, остроносая девочка, вынырнув из-за чьей-то спины.

- Выскочка! - обрезала Лина. И Кате: - Поп, верно, Акулиной окрестил, а я желаю быть Линой. У тебя кто отец?

Когда ее спрашивали про отца, Катя терялась и мучилась. Отец есть, но где? Кто? Какой? У них дома даже карточки папиной не осталось или так далеко упрятана мамой, что не найдешь. Среди одноклассниц она была единственной девочкой, которую бросил отец и ни разу не вспомнил, ни разу не захотел на нее поглядеть.

Стыдно? Кто скажет? Ей стыдно. Она вся сжималась, когда среди подружек заходила речь об отцах. Как не хотелось ей врать! Она не любила врать. И врала. И никогда никому не признается в правде.

- Кто отец? Папа полковник. Командует полком в действующей армии.

- Их ты! Девочки, слышали? Полковник, немцев лупит на фронте.

- Девочки, девочки, у ней отец полковой командир! - послышались со всех сторон возгласы.

- А еще кто у тебя есть? - допрашивала та, что назвалась Линой.

- Брат Вася. Прапорщик. Тоже воюет в действующей армии, освобожденно вздохнула Катя.

- Их ты! Девочки, слышали? И отец и брат. Значит, с матерью живешь?

- Как же с матерью, когда в монастыре на квартире? - снова высунулась белобрысая.

- Да ведь верно. А мать где? - допрашивала командирша.

Катя замерла. Больно съежилось сердце. Она была диким зверьком, пойманным в клетку. Чужие девочки. Толпа чужих, насмешливых,

любопытных девчонок, которые желают все знать о новенькой: как определили на квартиру, откуда приехала, кто родные, где мать?

- Мать тоже в действующей армии. Сестрой милосердия, - сказала Катя спокойно. Но губы дрогнули. Глаза сузились и глядели холодно, боясь встретиться с другими глазами, и видели осеннее светлое небо. И облако...

Гляжу я на синее небо,  
Синий большой океан,  
Плывет на нем облако-парус  
Одно. Из каких оно стран?

Однажды, когда было грустно, она сочинила эти стихи.

- Девочки, у нее и мать в действующей армии, сестрой милосердия, о-го-го! - уважительно протянула Лина.

Что тут поднялось! Все что-то говорили, ликовали.

Так с ликованием и ввели Катю Бектышеву в гимназию и доставили до четвертого (так называемого параллельного) класса, на втором этаже, около лестницы, где в дверях поджидала воспитанниц классная дама средних лет, в синем платье, сухощавая и подтянутая, как и следует быть.

- Людмила Ивановна! У нас новенькая, Катя Бектышева. У нее вся семья в действующей армии: и отец, и брат, и мама сестрой милосердия. Людмила Ивановна, посадите ее со мной.

- Нет, со мной!

- Нет, со мной!

Катя в глубоком реверансе опустилась перед классной дамой. В прежней гимназии в губернском городе было принято приседать, а здесь, в провинциальном городке, о таких церемониях не слышали.

Фурор был необыкновенный! Толпа на площадке перед четвертым параллельным росла. Новенькая с первого дня сделалась известной личностью.

Ее посадили с Линой Савельевой.

"Давай дружить, со мной все дружат, а она - Акулина, солдат в юбке из деревни Серы Утки", - сунула Кате записку белобрыся Клава Пирожкова.

Первым уроком был закон божий. Легкой походкой вошел молодой законоучитель в темно-вишневой рясе на атласной подкладке, с большим позолоченным крестом на груди. Он был похож на Иисуса Христа, как обычно рисуют его на иконах. Продолговатое лицо, прямой нос, задумчиво-добрые глаза и разделенные пробором темные, до плеч, завивающиеся на концах волосы.

- Отец Агафангел, у нас новенькая, Катя Бектышева!

- Пастырь радуется новой овце, приставшей к стаду, - произнес отец



Агафангел.

- Ученый, страх! А ничего, добрый, - шепнула Лина.

"Неужели и он будет расспрашивать?" - подумала Катя.

- Отроковица Бектышева, богослужения посещаешь усердно?

- Да, - не поднимая головы, ответила Катя.

- Гляди очами открыто, ибо в страхе и потуплении не таится ли ложь?

Катя выпрямилась и с отчаянием ждала. Что будет? Он угадал ее ложь.

- Видимость твоя снаружи приятна, - продолжал отец Агафангел.

Однако истинная красота наша внутри нас, и надобно заботливо ее в себе сохранять, как садовник в саду оберегает цветы. Произнеси, Бектышева, молитву, коя твоему сердцу особливо дорога.

- Отче наш, иже еси на небеси, да святится имя твое... - зачастила Катя.

Он прохаживался по классу, слушая ее тарактенье с легкой улыбкой.

- Разъясни нам, Бектышева, каким русским словом обозначить можем славянское "иже"?

Вот так да! Катя тысячи раз слышала и знала наизусть молитву, но в голову не приходило задуматься, что значит маленькое словцо "иже". В самом деле - что?

- Смятение твое, Бектышева, тебя обличает. Сколь легковесно возносишь ты господу богу словеса молитвы, не разумея их смысла... Отроковицы, понятно ли вам мое наставление?

- Понятно! - хором ответил класс.

- "Иже", слово сие означает, - продолжал отец Агафангел, - означает по-русски "который".

Он начал урок, вернее, рассказ:

- И вот настал вечер. Пламенный круг солнца опустился за горизонт, краски потухли, на земле стало темнеть, подул ветер, неся прохладу и свежесть разгоряченной земле. А ученики все ждали Учителя. Но Учитель не шел. "Где ты, Христос, сын божий?" - тревожились ученики. Но он все не шел.

Отец Агафангел неслышными шагами приблизился к Кате и положил руку на ее голову. Широкий рукав рясы опустился ей до плеч. Она вдыхала что-то душистое и теплое, лица ее касался шуршащий шелк подкладки, было темно у него в рукаве и таинственно.

- "Где ты, Учитель?" - слышала Катя.

Наступила безмолвная пауза.

Отец Агафангел оставил Катю и, бесшумно ступая между партами, накрыл рукавом чью-то другую девичью голову и рассказывал дальше:

- И ученики вошли в лодку и поплыли. А ветер усиливался, поднялось

большое волнение на море. Лодку качало. Ученики испугались. Но на берегу появился Иисус. "Это я, - сказал он. - Не бойтесь". И не велел им плыть к берегу, а сам пошел к своим ученикам по водам. И сразу ветер уменьшился. И волны смиренно, как утомленные овцы в полдень, подкатывая к его ногам, улегались и утихали. И он шел по водам. Ибо может все наш господь. Он все знает и видит. Помните, всякий наш грех ведом ему. Милостив и вселюбив господь, но всякий да убоится обманывать бога.

Зазвенел колокольчик с урока и застал в классе тишину. Катя была вся захвачена уроком. Образ идущего по волнам молодого, похожего на отца Агафангела бога представлялся ей таким прекрасным, наверное, он простит ее ложь, ведь понимает же он...

- Зачем ему водами-то надо идти, шел бы, как все, по земле, - сказала Лина.

- Ах, да что ты! Ну что такое ты говоришь! - возмутилась Катя. Пойми, как это хорошо! Как волны у его ног улегались...

Лина пожала плечами и ушла на перемену в коридор, а белобрысая Клава Пирожкова торопливо сказала:

- Видишь, видишь, какая она! Акулина - Акулина и есть. Ей все нипочем. Она тебя в омут затянет.

Дома, вернувшись с уроков, если было чем поделиться, Катя делилась с Козеттой. Мама не интересовалась Катиными гимназическими делами. А Козетта была внимательной слушательницей. Ей можно было шептать час или два обо всех происшествиях, ее красивые стеклянные глазки не мигали, только разве положишь на спину, тогда ресницы захлопывались.

И здесь, придя из гимназии, Катя вспомнила о Козетте, но баба-Кока позвала:

- Иди-ка сюда. - Указала на низенькую скамеечку возле кресла: Садись.  
- И сама уселась поудобнее в глубокое кресло у столика, заваленного книгами и журналами, и с интересом спросила: - Выкладывай. Да без пропусков, все.

Катя замечала, баба-Кока приглядывается к ней день ото дня внимательнее, будто читает в ней что-то.

Катя смущалась. Ей привычнее было ютиться в стороне, не на виду. А баба-Кока настойчиво, хотя и осторожно, вникала в Катину жизнь, допытывалась до малейших подробностей.

- Выкладывай. Какой класс? На каком этаже? Какие учителя? О чем говорили с подружками?

Тут Катя на мгновение запнулась и утаила, что подружки интересовались папой и мамой и вообще всей ее жизнью. Зато про отца

Агафангела рассказала подробно.

Отец Агафангел самый интересный учитель, остальные учителя довольно обыкновенные, таких Катя встречала и раньше, а отец Агафангел... А красивый!

- Красивый, ничего не скажешь, - усмехнулась баба-Кока. И с той же неясной усмешкой: - Проповедник вне конкуренции.

- А служит-то как! - подхватила Фрося. - Отец Агафангел священнослужитель в нашей обители. А я кадило ему подаю. То другие послушницы, а мой черед придет, тогда я...

8

- Баба-Кока, можно, я задам вам один вопрос?

- Можно. Если не глупый.

- Щекотливый.

- Скажите пожалуйста!

Ксения Васильевна кипятила кофе. Кофейник похож на маленький самоварчик с трубой. Вдувают угли в трубе. Вода закипит, заваривайте кофе - минута, и крепкий, упоительный запах разольется по всему помещению. У бабы-Коки и чашечка для кофе специальная есть, крошечная, из тончайшего фарфора. Пьет маленькими глотками и наслаждается.

- Спрашивай. Только, чур, или правду отвечу, или откажусь отвечать.

- Что такое счастье? Баба-Кока, вы были счастливы?

Ксения Васильевна отставила чашечку, побарабанила по столу. Пальцы у нее длинные, тонкие. Она носила кольца. Много, с разными камнями. Баба-Кока называла их самоцветами. Катя с удивлением узнала - камни живые. Вот изумруд. "Взгляни, его цвет, - показывала Ксения Васильевна продолговатый камень в кольце, - нежно-зеленый, свежий, молодой. Как весенний березовый лист. Есть поверье - не поверье, а правда: если утром, проснувшись, любовно на него поглядеть, весь день для тебя будет светлым и ясным. И еще изумруд исцеляет. Целебен от разных недугов и отгоняет тоску. Полюбуйся, зеленый с золотистым отливом. Изумруд! Жизнерадостный камень". У Ксении Васильевны к каждому камню было свое отношение. Бирюзу она пренебрежительно называла глупенькой. "Голубая, наивная. Наивность всегда глуповата". Она снимала кольцо с бирюзой и бросала в ящик бюро из красного дерева.

- Что такое счастье? Не знаю. У каждого, наверное, свое. Нет для всех одного, общего счастья. Да, конечно... Вот я, например, никогда не работала.

Она обратила на Катю темные и вместе ясные глаза и как бы в

недоумении качнула головой.

- У меня не было своего труда. Своего места в жизни. Хотя бы маленького, ну, быть бы учительницей или фельдшерницей... Впрочем, об этом я не тоскую. Но ведь бывают великие актрисы, музыкантши. Бывают ученые женщины. Например, знаменитая, первая в мире русская ученая женщина-математик Софья Ковалевская. Отними у них творчество - и нет счастья. Или другое. Слышала о революционерках? Наверное, настоящее счастье - это то, что у тебя есть большая цель, без которой не можешь жить, всю себя ей отдаешь. Что, Катя, молчишь?

- Слушать интересно.

- У меня ничего этого не было... - Баба-Кока повертела на пальце кольцо с рубиновым камнем, фиолетово-красным. Улыбнулась как-то непонятно, сожалеюще. - У меня свое было счастье. Находила - теряла. Вновь находила, снова теряла. Кануло все. Ничего не осталось. Воспоминания. Единственный мир, из которого мы не можем быть изгнаны. - Она помолчала. - Иди, Катюша, учи уроки.

Она укутала плечи паутинным оренбургским платком, взяла книгу.

Катя отошла.

Келья бабы-Коки со сводчатым, как в часовне, потолком делилась легкой перегородкой на две половины: спальню Ксении Васильевны, без окна, и общую комнату, где у одного окошка расположилось глубокое кресло перед столиком, - это кабинет бабы-Коки. В ее кабинете до потолка книжные полки. Вся стена в книгах. У другого окна - квадратный стол, он и обеденный, он и Катин для приготовления уроков, возле него на диване Катя спала, и в изголовье ногами горела перед иконой лампада.

В порядке разложены на столе учебники, тетради и дневник, где усердно записано заданное на завтрашний день, - прилежная ученица из четвертого параллельного устраивается готовить уроки.

Баба-Кока поднялась, надела ротонду и меховую шапочку, - ранняя снежная зима уже прикатила, пышные сугробы встали вдоль соборных аллей и монастырских дорожек.

- Про счастье точно не знаю, - проговорила баба-Кока, - а что несчастье, скажу. Одиночество, особенно в старости, - вот что несчастье.

Она ушла. Катя поглядела в окно. Баба-Кока в длинной ротонде медленно шла снежной дорожкой, статная и прямая, высоко неся голову.

Катя достала тетрадь, разделила пополам. Начинался творческий процесс. Обычно он начинался с того, что тетрадка делилась на две половины, затем одна складывалась вчетверо - и перед вами книжечка. Катя всю ее исписывала сразу набело, узкими строчками, нанизывая букву на

букву. Таким образом, тетрадки хватало на две, а то и три повести.

Катя задумалась. Самое трудное - придумать заглавие. Но сейчас, под впечатлением разговора с бабой-Кокой, название явилось само собой: "Одинокая".

Катя писала повесть о бедной девочке, которую никто не любил, хотя она была и добра, и хороша, и умна. Нельзя понять, почему ее не любили. Ей плохо жилось на свете, но она не теряла своей доброты. Никого не судила, всем прощала, удивительно была хорошая девочка! Когда другие девчонки веселой толпой убегали в лес по грибы или ягоды, она одиноко брела сторонкой, вдали ото всех. Но однажды молния ударила в дом и убила всех, живым остался лишь малый ребенок. Одинокая бесстрашно кинулась в пылающий дом. Огонь ее охватил, она задышалась...

Катя хотела бы описать другой подвиг, не такой избитый, но ничего оригинального не получалось.

Известно, Катины повести всегда кончаются счастливо. Так и здесь. Ребенок спасен... Все обнимают и благодарят Одинокую. Все оценили ее благородство и...

- Катя, ты совсем заучилась, - заметила Ксения Васильевна.

Она вернулась с прогулки и перебирала за столиком какие-то старые письма, кипу писем в длинных глянцевитых конвертах. Письма хранились в шкапулке, баба-Кока держала ее запертой.

- Кончай, Катя, уроки. Ученье - свет, однако во всем нужна мера.

Катя затиснула в сумку учебники, не успев ни в один заглянуть. Голова пылала, сердце полно счастья и слез.

- Что с тобой? - удивилась баба-Кока.

Катя молча обняла ее и поцеловала. Она впервые сама поцеловала бабу-Коку, потому что, хотя писала восторженные повести, показывать свои чувства стеснялась. А тут вдруг поцеловала. Да еще и еще. Что такое с ней происходит?

И чтобы не проговориться, что под подушкой лежит новая повесть, скорее нырнула в постель, укрылась с головой и под одеялом еще долго любила, жалела и восхищалась своей "Одинокой".

Все же Лине на следующий день дала почитать.

- Ой, что делается! Она еще и писательница! - с каким-то почти благоговением воскликнула Лина и на уроке читала, пряча под партой, Катину повесть. - Девочки, наша Катюшка Бектышева - писательница.

Все перемены девочки читали Катину повесть. Успех был полный, шумный!

И весь этот удивительный день Катю сопровождали удачи. Ни на

одном уроке ее не спросили, кроме последнего. Учительница географии вызвала к карте и, вручив указку, предложила рассказать и показать и... естественно, поставила двойку. Первая, увы, как потом оказалось, не последняя Катина двойка. Эта маленькая неприятность сегодня для Кати не имела значения. У нее кружилась голова от славы и общей любви.

Надя Гирина, высококоньякая капризная девочка, дочь богатейшего в городе купца, которую возили на уроки в пролетке, хотя гиринский особняк отстоял от гимназии в десяти минутах ходьбы, девочка, которая на большой перемене вынимала из сумочки бутерброды с розовой ветчиной и, чуть надкусив, брезгливо бросала в корзину для мусора, эта "княжна", усвоившая, видимо, по наследству от отца торговую жилку, поманила Катю:

- Мне очень понравилось твое произведение, ты можешь его мне уступить?

- Как уступить?

- Очень просто, в обмен. Принесу тебе завтра ленту. Красную, синюю, какую захочешь. Десять аршин разных лент. Согласна?

- Нет.

- Двадцать аршин! - уговаривала Надя Гирина.

- Ты ведь можешь еще написать, - вмещалась, вытягивая руки и прося, Клава Пирожкова, так распалила ее воображение эта сделка.

Конечно, Катя могла написать еще повесть. И не одну и не две. Она могла писать постоянно, каждый день. Но почему-то не хочется отдавать "Одинокую" в обмен на ленты. Хотя соблазнительны ленты. Подумайте, двадцать аршин!

Но все-таки нет!

Надя Гирина вспыхнула и отошла. Клава Пирожкова в изумлении выкатила светлые бусинки:

- Дура! Ты могла бы и тридцать аршин запросить, ой, дура! Ведь Наденька Гирина единственная, у них лучший галантерейный магазин в городе, а она единственная у отца с матерью, ей все, что захочет, дозволено. Она меня в гости принимала, изо всего класса - меня! Ой, видала бы! Залы, гостиные, горничные в белых наколках, и все: "Барышня, что изволите? Барышня..." Подарила бы повесть и тебя позвала бы. Теперь не позовет, не добьешься.

- Подумаешь! И не надо! - дерзко ответила Катя.

И подарила свою "Одинокую" Лине Савельевой.

9

Катя любила в бабушкиной келье стену, сплошь уставленную

книжными полками. Тесные ряды пестрых корешков манили. Толстые, тоненькие. Корешки читанных и нечитанных книг, каждая - целый мир.

- Последняя радость, оставшаяся мне, - говорила баба-Кока.

Кате нравилось рыться в книгах. Вытащить, полистать, запомнить название. Какую-то отложит читать. Другую вытащит. И другую.

Бабушкины книжные полки больше пробуждали в ней охоту узнавать, чем уроки в гимназии. Там все было полезно, необходимо, но почти все довольно-таки скучно.

Баба-Кока позволяла Кате рыться в книгах сколько душе пожелается, но говорила - не наставительно, она не привыкла наставлять, - просто делилась:

- В твои годы я хватала подряд, что попадет. Иной раз на такой романчик наткнешься, после никак мусор из головы не выветришь. Надо находить и ценить талантливую, умную книгу. Не все книги равны. Вот, например... Ты вот все повести пишешь, - сказала баба-Кока, и Катя, стоявшая к ней спиной на стремянке, доставая с верхней полки том истории Ключевского, в ожидании замерла.

Она привыкла к славе. На нее из других классов приходили глядеть, вот до чего дело дошло! Она раздавала свои повести девочкам, в первую очередь тем, кто громче восхищался ее творчеством. У Лины Савельевой целая библиотека скопилась Катиных повестей.

- Ты тут оставила одну, а я познакомилась, - сказала баба-Кока и громко, с выражением стала читать: - "В черном небе сверкали зловещие молнии и грохотал гром, похожий на рыкание льва. Девочка в бархатном платье с кружевным воротничком стояла у окна. У нее были голубые, как фиалки, глаза. Локоны опускались на плечи..." Фу-ты! - шумно вздохнула Ксения Васильевна, кладя Катино произведение на стол, отодвигая дальше от себя уничтожающим жестом. - Чего не нагородила! И локоны и фиалки! Откуда только взялось? Вздор сочиняешь, мать моя. Героини твои разнаряженные, красавицы, а ни жизни, ни живого словца. Выдумки все. Бросила бы ты свои выдумки.

Стоя к бабке спиной, Катя леденела от ужаса и чувствовала: щеки пылают, уши пылают, вся горит на костре.

- Знаю, неприятно. Одних приятностей от жизни не жди. Да слезь ты с вышки своей, подойди, - велела баба-Кока.

Катя слезла со стремянки. Баба-Кока указала на низенькую скамеечку для ног возле кресла.

- Сядь.

Катя села.

- Если уж терпения нет, охота писать, - сказала бабушка, пригляделась бы к жизни, рисовала бы жизнь. Писательница! - безжалостно усмехнулась она. - А что вокруг разглядела? О чем поразмыслила? За Фросей ничего не заметила?

- А что?

- Какая-то стала погашенная.

Верно, Фрося последнее время не та. Фрося именно стала погашенной. Как точно подметила баба-Кока! И ходить стала к ним реже. Прибежит, натаскает из колодца воды, истопит печку, вымоет пол, принесет из монастырской трапезной обед. Без слов, без улыбки, с потупленным взором, будто прячась и страшась разговоров, и ускользнет в церковь или в келью для послушниц, где жила.

Куда делась ее лукавая веселость и ласковость? Куда делась прежняя Фрося?

- Если уж очень великая охота писать... - продолжала раздумывать вслух баба-Кока. - Может, где-то и тлеет талант, глушить тоже грешно... Но мастерству учиться надо, всю душу ему до конца отдавать, всю жизнь. Это - как подвиг, когда настоящее...

В тот для Кати нерадостный вечер Ксения Васильевна рассказала историю. О таланте и подвиге.

При Иване Грозном это было. Монастыря девичьего тогда в помине не было, жизнь в Александровской слободе шла и разгульная и государственными делами исполненная. Иноземные послы наезжали в цареву слободу на поклон и для переговоров с великим государем Руси. Принимали послов в дворцовых палатах. Царь сидел на позолоченном троне. Бояре, цветно и пышно одетые, в безмолвной спесивости восседали на скамьях вдоль стен. Множество стрельцов с оружием и телохранителей в красных кафтанах выстроилось от входа в кремль до дворца. А в версте от царского города стоял караул. Хватали каждого, кто по неведению забредет близко к государеву жилью. Пытали, вырывая под пытками, за каким делом идет, да куда, да к кому, не изменник ли?

Иноземные послы царя Ивана глупым не звали. Никто не скажет, что неумен. Речи царицы остры и находчивы. Мыслью быстр, сердцем вспыльчив и гневен. Грозным звали его. Шепотом, при закрытых дверях. А летописцы тайно записывали в летописях. По деревням и городам шло да шло и до наших лет дошло - Грозный.

Но ученый. Изрядно ученый. Богатейшее у грозного царя было в Александровской слободе книгохранилище, где сберегались древние книги, редкие письмена, драгоценные рукописи.



Может быть, об этом-то, об учености Грозного, о его почитании книг и услышал один боярский холоп, смысленный, до отчаянности смелый Никитка. Он был молод, и в голове его толпились дерзкие мысли: не спал, дни и ночи лелеял небывалую, даже страшную выдумку. И втайне мыслил: "Придется по сердцу государю, ведь во славу Руси я свою затею готовлю, мудрый у нас государь, к наукам приверженный".

Словом, Никитка надеялся на поддержку и одобрение царя. Впрочем, когда целиком предался своему делу, и о царе позабыл и о славе не думал, а трудился, трудился, трудился с мучением и радостью, как бывает это у великих талантов.

Делал Никитка летательный аппарат. Хотел лететь. Слыхано ли, чтобы человек полетел? Богом создано: рыба плавает, птица летает, человек идет по земле. Нельзя нарушать божий закон. Покарает за дерзость господь. Но ведь изобрели люди корабль и плавают по рекам и морям, и бог не карает...

А если изобрести крылья и полететь, как птица, реять в небе и сверху, оттуда, с неба, окинуть взглядом землю? Какая она, родимая, если с неба глядеть?

Долго трудился Никитка над летательным аппаратом. Обдумывал, высчитывал, строил, ломал, плакал... Снова строил.

Весть о мечтаниях и изобретении Никитки долетела до Грозного. И среди иноземцев пошли любопытство и толки. И бояре узнали.

- Дьявольское наваждение, бесы в парня вселились, порченный, на дыбу его, - говорили одни.

Другие ждали, что скажет царь. Царь молчал.

Вот летающая птица готова, Никитку привели к царю. Царь тощий, сутулый, нос отвислый, редкая бородка торчит, как пучок конопли, и белесые, будто и не человечесьи, очи не верят, пытаются.

Никитка упал в ноги царю. Царь концом жезла его тронул:

- Не осрамишь наше государево достоинство перед чужеземными гостями да посланниками и перед недругами нашими?

- Верь, великий государь!

- Ино завтра лети.

Настало завтра. По всей слободе из дома в дом передавалось в смущении и страхе: со звонницы крылатый человек полетит. Звонница эта, с которой, по преданию, при Грозном русский Икар совершил первый полет, и сейчас стоит, а под ней церковь, по названию Распятская. Художники и архитекторы приезжают, любуются.

Никитка поднимался по каменной узкой лестнице. Шагал - и слабел, и слабел. Страшно первому начинать новое дело. Не знаешь, что тебя ждет.

Уверен, а не знаешь... Смел, а боишься.

Он забрался на звонницу и увидел синие цепи далеких лесов, розоватый снег на утреннем солнце, увидел такую чистоту и красоту, такой прекрасный, сверкающий мир, что смелость вернулась к нему и сердце заколотилось в восторге.

Внесли аппарат, похожий на птицу с широкими крыльями. Никитка поглядел вниз. Толпы народа стояли в глубокой тишине. Царь, опираясь на жезл, сидел в отдалении на красном кресле, в шубе и куньей шапке, окруженный опричниками и стрельцами.

Никитка влез в летательный аппарат, оттолкнулся. Толпа ахнула. Он полетел. Плавно, как птица, реял его аппарат с распростертыми крыльями и тихо, будто в раздумье, стал опускаться. И невредимо опустился в сугроб.

К Никитке подбежали люди, принялись развязывать веревки, которыми он был к аппарату привязан, помогали вылезти. Вокруг стояли гул и смятение.

Но вот толпа стала постепенно стихать и редеть. Никитка заметил: помогавшие ему люди отошли от него. Скоро и вовсе рядом никого не осталось.

Издали Никитка разглядел уходящего царя. Царь ступал тяжело, спина согнута, голова втянута в плечи.

Холоп Никитка остался возле аппарата один. Растерянный, в недоумении, один. Поднял взор к небу и словно очнулся. И вновь восхитился синевой и сиянием неба. Гордостью блеснули глаза: "Я летал!"

За ним пришли. Куда его поведут? К царю?

Его привели не к царю. Втолкнули на пыточный двор. Связали за спиной руки. И пыточный дьяк в кафтане, забрызганном кровью, прочитал Никитке царский указ:

"Человек - не птица, крыльев не имать. Аше кто приставит себе аки крылья деревянна, противу естества творит, за сие содружество с нечистой силой отрубить выдумщику голову. Тело окаянного пса смердящего бросить свиньям на съедение, а выдумку после священные литургии огнем сжечь".

10

В воскресные дни Успенская церковь монастыря бывала полна. Сходились купчихи, чиновники, служилый люд разного звания, учителя и учащиеся. Особенно гимназистки в белых праздничных передниках, с белыми лентами в косах любили молиться в Успенской церкви. Не в Покровской или Троицком соборе, а именно в Успенской, где служил отец Агафангел. Расшитая жемчугом и золотом риза, епитрахиль в крупных

дорогих камнях - вся его церковная одежда блестела и переливалась многоцветными красками.

Гимназистки плавно склонялись, когда он обращался кадилом в их сторону. А Катя восхищенно наблюдала за Фросей. В черной ряске, с матово-белым лицом, она подносила отцу Агафангелу кадило. И удалялась, тоненькая, будто без веса, будто скользила по воздуху.

Каждое воскресное утро Катя наблюдала это пышное представление: выходы на амвон священника и дьякона, открывание и закрывание царских врат, хоры монахинь в мантиях и клобуках с вуалями, бархатный голос отца Агафангела, скольжение Фроси при подавании кадила.

Лина, больше занятая рассматриванием публики, толкнет в бок:

- Ух ты, нашей Надьки Гириной мамаша как вырядилась! А наш отец Агафангел гляделками на нее своими стреляет. Кадилом машет, а сам пялится, вот это да! А вон, к клиросу ближе, гимназистик, лопухий чуток, знала бы, что он мне нынче сказал!

Прыснет в кулак и, чтоб отвести глаза классной даме, быстро закрестится, и, конечно, Людмила Ивановна, сопровождавшая воспитанниц на воскресные службы, не разобравшись, кто прыснул, почему-то на Катю направит строгие стекла пенсне. Катя склонит голову.

Но молитвы не идут на ум. Уже надоело наблюдать за открыванием и закрыванием царских врат и кадилом отца Агафангела. Душно от ладана.

Вдруг представится Кате, как славно сейчас в зимнем лесу. Снегу по пояс. Веселой стежкой вьется заячий след. Пушистая белка пролетит поверху леса, стряхивая иней с макушек деревьев. Откуда-то выпорхнут и усядутся на ветвях снегири. Катя любила красногрудых веселых пичуг. Они и в монастырь прилетают и рассаживаются грациозными группками в сиреневых кустах под окошками келейного корпуса: Катя с Фросей любовались их прилетом и хлопотливой, радостной жизнью...

- Быть бы птичкой, петь бы да петь, - скажет Фрося. Вспыхнет. И что-то загадочно-тайное промелькнет в ее светлой улыбке...

Катя поискала глазами Фросю у алтаря, но последнее время она не прислуживала отцу Агафангелу. Другие послушницы прислуживали, а Фроси нет в церкви. Отчего ее нет?

В остальном это воскресное утро было таким, как всегда. Впереди большой свободный день! Чем бы поинтереснее заняться? Побегать с Линой на каток? Или нет, дома ждет начатая книга, "Поединок" Куприна. Живо домой!

А дома ждало другое. Ждало нежданное.

За их обеденным столом, заставленным разными кушаньями вроде

маринованных грибов, селедки с горячим картофелем, белых монастырских калачей и прочего, возле бабы-Коки сидел...

Кто мог представить! Кто мог поверить! На мгновение Катя застыла у порога, слезы хлынули, и она подбежала и повисла у Васи на шее.

Целовала, всхлипывала, смеялась. Трогала на плечах погоны, желтые пуговицы военной гимнастерки и даже кобуру револьвера. А он глядел на нее с той любимой, единственной Васиной улыбкой, которую она так знала, так знала! Он был по-прежнему хорош. Война не изменила его. Смуглый румянец на щеках, чистый лоб, высокая шея, прямая осанка и Васин голос, родной.

Кажется, стал немного постарше. В военной форме. Катя не видела его в военной форме. Как хорош! Где Фрося? Поглядела бы на Катиного брата, прапорщика Василия Платоновича Бектышева! Где Линка Савельева? Влюбилась бы с первого взгляда.

- Ты надолго, Вася? Хоть недельку погостишь? Сколько мне надо тебе рассказать обо всем! Баба-Кока, не отпускайте его. Хоть недельку погости у нас, Вася!

- Какое недельку! Катюша, один день остался мне отпуску.

- Один день? Почему?

- Ведь я на военной службе, Катя.

- Ну и что? Неужели тебе так мало дали отпуску? Один день остался. Остался? Ты где-нибудь был? Где ты был?

- А неважны, господа военные, ваши дела, - сказала баба-Кока, не слыша или не понимая Катиной мольбы или намеренно переводя разговор на другие рельсы. - Совсем плохи дела. Подай, Катя, газету.

Газету "Русское слово" баба-Кока читала ежедневно, иногда и Катю с Фросей посвящая в некоторые политические новости, но в вопросах политики ее собеседницы были не очень сильны, вернее, совсем непонятливы.

Баба-Кока читала без очков.

- "Наши части, перейдя в наступление, сбили противника, но затем под натиском немцев отошли в исходное положение". Ну? Что скажешь?

Вася пожал плечами.

- Война.

- Слушайте дальше, господин прапорщик. "На восточном берегу реки... наши части, ведя упорный бой, продвинулись на полторы версты, но затем контратакой противника были вынуждены отойти на исходное положение". Ну? Что скажешь? Третий год воюем. Что наше победоносное православное войско?

Вася нагнулся к бабе-Коке и негромко, но внятно:

- Нашему победоносному православному войску до чертиков надоела война.

- Что ты! Что ты?! - испуганно замахала на него баба-Кока. - Мы должны добиться победы. Срам будет нам перед народом, если мы...

- Кто мы? Вы, баба-Кока? - спросил Вася, и Катя увидела насмешливый огонек у него в глазах.

- Что-то не пойму я тебя, Василий, - проговорила Ксения Васильевна, медленно разглаживая скатерть по сгибу стола.

- Народу дела нет до нас с вами. И солдатам от победного конца прибыли нет. Солдаты о доме соскучились, им земля мерещится.

- Не пойму. Да ведь это изменой зовется, Василий, - упавшим голосом произнесла баба-Кока.

- Это зовется честным взглядом на жизнь. Армия распадается, генералы бездарны, в ставке разлад, у солдат неверие...

- Василий, опасное ты говоришь.

- На позициях за такие речи расстрел. Но ведь я в вашем доме, баба-Кока.

- Вася, откуда у тебя трудные мысли такие?

- Оттуда. С войны.

Они говорили о войне, только о войне. О каких-то генералах, из-за чьей глупости полегли полки наших солдат. На фронтах усталость, отчаяние. В царя не верят. Фабрикантов и помещиков ненавидят.

- Значит, и нас? - спросила Ксения Васильевна.

- За что нас любить?

- Разве мы делали кому-нибудь худо?

- А хорошее делали?

- Хорошее - да.

- Может быть, изредка, но... но вот у нас с Катей триста десятин земли остается в наследство, а я косы в руки не брал, а Катя снопа сжать не умеет. А у Саньки - твоей, Катя, подружки, - у Санькиного отца наберется ли в Заборье три десятины?

- Погоди, погоди, значит, ты хочешь, чтобы поровну, что ли? удивленно вскинула брови баба-Кока.

- Я о солдатских и мужицких мечтах говорю.

- Вон у вас что-о там, - все более дивясь, протянула Ксения Васильевна.

- Вы в монастырских стенах заперлись, баба-Кока. Ничего не видите, не знаете, кроме того, что скажет "Русское слово". Газета умеренных

взглядов, и то каждый день колонка или две пустые. Это что значит? Значит, цензура вымарывает. Чего народу знать не положено, вымарать, вон! И чтоб интеллигентным дамам нервы не портить. Впрочем, кому по нынешним временам интеллигентные дамы нужны?

- А теперь в грубость пошел.

- Не сердитесь, баба-Кока.

Он поцеловал ей руку, а она его долгим поцелуем в лоб.

Так они сидели за неубранным столом и говорили до сумерек, когда снег поглубел за окном.

Позабыли обедать. На столе почти нетронутые оставались закуски, по военному времени довольно обильные.

Вася ел неохотно, выпил несколько рюмок настойки и все вспоминал о фронте.

- А во дворце что творится! Пьяный мужик Распутин вертит всей царской фамилией, в сущности, правит страной. Стыд, позор.

Прикрыл ладонью глаза. Отдернул руку.

- Да, время настало, надо решать. Нельзя плыть по течению. Надо решать свой путь.

Неожиданно бабе-Коке пришла мысль прогуляться. Надела ротонду и меховую шапочку и оставила Катю с Васей одних.

- Поговорите тут, а я погуляю.

Странно. Утром не пошла к обедне, сказала нездоровой, а тут вдруг гулять. Скорее всего, она знала, что утром приедет Вася, поджидала его, хотела встретить без Кати, одна. Конечно, конечно! Но почему? Непонятно. Они что-то скрывают от Кати.

- Вася, ты сказал, надо решать путь. Какой путь, Вася? Как решать?

Он ласково потеревил ее волнистые волосы.

Несколько времени они сидели молча, а за окном снег все голубел, ближе подплывали сумерки, в комнате стало темно, но лампу зажигать не хотелось.

- Милая моя сестренка, нам повезло, что мы встретили бабу-Коку.

- Вася, а мама... что с мамой?

Он крепко обнял ее и отпустил.

- Ты спрашиваешь, какой путь?

Да и об этом. Но ведь еще она спросила о маме?

- Вечерним поездом мне уезжать, - говорил Вася. - Снова позиции, окопы, грязь, вши... А путь? Знаешь, сейчас появились новые люди, большевиками их называют. Не слышала? Нет, конечно, не слышала. Большевик. Тайное слово, мятежное. Говорят, означает оно - борец за

справедливость и счастье народа. Поняла?

- Поняла. Ты большевик?

Вася закурил папиросу, встал, прошелся по келье. Стемнело совсем. Катя смутно видела его лицо и, обхватив коленки и дрожа от волнения и какой-то новой, восхищенной любви к брату, ждала.

- Сложно все. Не сразу разберешься. Большевики борются против царя, царского строя, фабрикантов и помещиков. А ведь я помещичий сын.

- Ну и что, Вася? Ну и что?

- Солдаты не обязаны верить мне на слово.

- А ты за большевиков?

- Не знаю. Что знаю о них, их программе, мне убедительно, но я не все знаю... Но я ненавижу распутство Распутина и весь наш николаевский строй... А! Что говорить! Если встречу большевика настоящего, не побегу, пригляжусь внимательнее. Катюша, говорят, за ними сила. И правда.

- Они тебя примут, Вася. Увидишь, примут.

- Одного я хочу, об одном мечтаю - чтобы скорее окончилась война, бессмысленная, гнусная бойня! Хочу снова ходить на лекции в институт, учиться, читать, слушать музыку, по-человечески жить, наконец!

Вернулась баба-Кока. Наступил час отъезда. Странный день кончился. Фрося не приходила. Со стола не убиралась посуда. Все были печальны и взволнованны и так откровенно и долго говорили о жизни, а о чем-то важном осталось не сказано. О маме. Катя поняла: Вася и баба-Кока намеренно о маме молчат. Плохо. Настал час ему уходить. Катя и баба-Кока проводили Васю до монастырских ворот. Ворота уже заперты на ночь.

- Матушка, Ксения Васильевна, - с поклоном сказала вратарница, ежели угодно до станции внушка проводить, извозчика кликнуть можно, ежайте, а вернетесь - пушу.

- Дальние проводы - лишние слезы, - отказалась Ксения Васильевна. До свидания, Вася. Как бы там что бы ни было, защищайте Россию.

- Спасибо вам, баба-Кока, за Катю.

Катя молчала. Никогда никого не любила она с таким восторгом, такой пронзительной нежностью, как брата! Больно в груди, так она любила его! Мцыри. Вот он кто, Мцыри, свободный, вольный.

"Скорее бы кончилась война, будем вместе, никогда не расстанемся, пусть он женится на докторской дочке, все равно мы всегда будем вместе, Вася!"

Он ушел. А баба-Кока почему-то позвала Катю в церковь Успения. Ту самую церковь, где утром отец Агафангел отправлял воскресную службу. Вход в эту церковь не закрывался круглые сутки. С вечернего часа и всю

ночь там читали псалтырь.

Почему баба-Кока, вовсе не богомольная, проводив Васю в действующую армию, привела Катю в Успенскую церковь слушать псалтырь?

Холодный мрак в церкви. Посреди высокая узкая тумбочка, как сказали бы дети, незнакомые с церковными обрядами и утварью, но Катя-то знала, что это не тумбочка, это аналой, и на нем тяжелая, в бархатном переплете с золочеными застежками книга - псалтырь.

Темно, мрачно в церкви. Гулко отдается эхо шагов. Входят баба-Кока и Катя.

Перед аналоем монашенка в черном. Кольшется слабый огонек длинной свечи, пахнет растопленным воском. Холодно. Монашенка протяжно читает псалтырь. Сменщица ее, также вся в черном, неслышно прикорнула у стены на скамейке.

Монашенка читает псалтырь:

- "Душа наша уповает на господя: он помощь наша и защита наша. О нем веселится сердце наше, ибо на святое имя его мы уповаем..."

Катя поглядела на бабушку. Она стояла не склонив головы, не молясь, в глубокой задумчивости. Как печально лицо!

11

Вася сказал: они с бабой-Кокой не видят жизни, отгороженные монастырской стеной. Должно быть, да. Вот, например, только теперь рядом с афишей, где конный казак в папахе набекрень прокалывает пикой немца, Катя заметила на заборе другую афишу.

Воззвание Московского митрополита Макария:

"Бога бойтесь, царя чтите, а с мятежниками не сообщайтесь, каковых ныне много развелось на русской земле. Они снуют среди народа, чтобы обольщать его разными несбыточными обещаниями. Не слушайте их!"

Катя долго вчитывается в митрополичье воззвание.

Нехотя шагает в гимназию. Очередь у булочной, длинный хвост женщин, укутанных в шали. Хлеб выдается по карточкам. Но иной раз простоят много часов, иззябнут, измучаются - и зря. Не хватило на всех. Полхвоста разойдется ни с чем.

Раньше Катя не замечала всего этого: очередей, истомленных женщин, укутанных в шали. Им с бабушкой хлеб выдавали из монастырской пекарни. Фрося сбегает, принесет сколько надо.

Мясная лавка. Отчего нет очереди? А, вон что. Объявление на двери:

"Сегодня, во вторник, а также в среду, четверг и пятницу мясных продуктов в продаже не будет по случаю правительственного закона о



мясопустных днях".

Монастырскую трапезную мясопустные дни не заботят. Там кушают рыбу. Мороженой, вяленой, копченой, соленой рыбы в монастырских кладовых и погребях припасено на год, а может, и два.

У монастыря огороды с выкопанным для поливки прудом. В погребях выстроены в ряд десятки бочек с квашеной капустой, солеными огурцами, мочеными яблоками, маринованными маслятами и рыжиками; на жердях висят пахучие связки сушеных белых грибов.

Монашенки любят вкусно покушать, и наливочки в потаенных шкафах по кельям хранятся, а для официальных угощений, когда прибудет к игуменье архиерей или иной чин из духовного начальства, тут уж достают из подвалов жбаны с крепкими старыми винами - от одной рюмки такое пойдет кружение голов, что... Впрочем, Катя знает все это понаслышке, своими же глазами на монастырском дворе она видит черные фигуры, бесшумно движущиеся, с постными лицами, опущенными взорами - что в них закрыто, не угадать.

Между тем дни идут своим чередом.

Позади и крещенские морозы, и сретенские, февраль в разгаре. Метели свищут в полях, скрипят растревоженные ветрами монастырские березы и липы, вдоль стен навалило сугробов аршина в три высотой, дорожками идешь, как по траншеям.

За гимназической партой Катя забывала о тяготах жизни, тем более что ей-то не приходилось стоять в очередях и голода испытывать не случалось. Разумеется, первой ученицей Катя не стала, но училась довольно прилежно, не отвлекаясь, как раньше, на сочинение повестей.

Критика бабы-Коки отбила охоту писать. Может быть, слишком скоро Катя сдалась? Значит, не хватает таланта. Талант требует подвига. Видно, Катя не способна на подвиги.

Она задумалась об этом на уроке рисования, закончив срисовывать с природы глиняную копию древнегреческой вазы, которая в тетрадке ее получилась такой кособоккой, что едва ли и на тройку потянет. Ах, отметки по рисованию мало беспокоили Катю. Художницей ей тоже не быть.

Хотя иногда вообразится что-то щемяще-красивое - тропа в ржаном поле, синие васильки, курчавые облака в небе. Или ночь и звезды над темным садом, когда Вася, вернувшись со свидания с докторской дочкой, влезет в раскрытое окно и тихо играет на пианино. А скособоченную вазу перерисовывать неохота. Скучно.

От скуки все и случилось.

Впереди сидела Клава Пирожкова и не скучала. Напротив, рисовала с

необыкновенным усердием, что учителю-новичку, только со студенческой скамьи, конечно, нравилось. Она всю старалась показать, как увлечена рисованием. Покачивала головой, наклоняла то вправо, то влево, ее беленькая косичка тоже качалась вправо и влево, и вдруг Катя ни с того ни с сего, не отдавая отчета, что делает, взяла беленькую косичку и опустила кончик в чернильницу. Клава мотнула косичкой, чернильные брызги разлетелись в стороны, жирно шмякнулись на тетрадь соседки. Та заревела. Учитель приблизился к Катиной парте с испуганным и несчастным лицом. Бедняга, у него не было педагогического опыта, пуще всего он боялся уронить авторитет и оттого не осмелился вступить в объяснения с нарушительницей спокойствия в классе, а только тихо вытянул палец:

- К стене!

Зато после Людмила Ивановна обстоятельно занялась ее воспитанием.

- Ведь ты из хорошей семьи, твою бабушку знают в городе, она образованная и обеспеченная дама, желает, чтобы ты была подготовлена войти в порядочное общество. - Поблескивая пенсне в золотом ободке, классная дама со вкусом рассуждала о порядочном обществе. - Ведь у тебя папа полковник.

Вспомнила и Катин реверанс - Катя купила ее реверансом. Людмила Ивановна знала и о Катиних повестях и вопреки бабушке одобряла Катин талант. В общем, она распекала провинившуюся Бектышеву не так уж сурово. Только под конец обратилась к Клавиной косичке и записала Катин проступок в дневник.

Необходимые воспитательные меры были приняты по отношению к Кате, она возвращалась домой, осознав свою вину, поэтому не было смысла рассказывать бабе-Коке о происшедшем.

Тем более, баба-Кока сегодня уезжала в Москву по делам на три дня: "Денежный вопрос надо выяснить".

Катя оставалась одна. Не совсем одна, Ксения Васильевна позвала домовничать Лину.

Безнадзорная, вольная жизнь! Делай, что хочешь. Гимназия остается, правда, за ними. Но после гимназии живи, как знаешь, делай, что хочешь. Пожелаешь - обедай, а не пожелаешь - пей чай с вареньем. Беги на каток или до вечера валяйся с книгой на диване. Три беспечных, самостоятельных дня!

Они улеглись спать с Линой вместе на бабушкиной широкой кровати, под ее пуховым одеялом, теплым, как печь. Темно, только в переднем углу кельи тихо светит лампада, узенький синевато-желтый огонек виден поверх невысокой перегородки бабушкиной спальни.

- Давай разговаривать.

- Давай.

- О чем?

- О любви.

Лина любила говорить о любви. Она постоянно в кого-то была влюблена, всякий раз на всю жизнь.

- Ну, познакомились, ходим по аллее Свиданий. Ну вот, первый день ничего. Второй - ничего. А на третий зовет: идемте на Серую, я там знаю одно прекрасное место под ивами. Я, конечно, - нет. А он молит, слышала бы - дрожь по телу, так молит. Я все - нет. Гордо. Знаешь, как гордость завлекательно действует! Скажи только "нет", ни за что не отступит. Томила-томила, под конец согласилась. Идем к Серой. А там ивы. Густые. Сели под ивами, все равно как под волшебным шатром, а речка журчит, и он берет мою руку, вот эту, левую, робко... Катька, неужели ты никогда не влюблялась?

Кате интересно, непонятно, ново и трепетно. В темноте виден блеск Лининых глаз. В темноте глаза у нее блестят, как у кошки или, если подыскать сравнение поэтичней, как светляки в ночном лесу.

- Не влюблялась? Никогда? Чудеса! Ты просто дура. И не целовалась? Ни с одним мальчишкой? Ни разу?

- Ни разу, - признавалась Катя шепотом, потому что эти сладкие и чем-то немного стыдные - может быть, своей тайной - слова о поцелуях и любви, не той любви, какой она любила Васю, а совсем другой, неизвестной, манящей, пугающей, слова эти радовали и мучительно смущали ее.

- Лина! Где ты встречаешь их?.. В монастыре мальчиков нет. В гимназии тоже нет.

- Ой, уморила! Ой, от смеха умру! - изумлялась неведению подружки, визжала Лина, подпрыгивая на бабушкиной мягкой перине, тузя кулаками подушку, не зная, что еще выкинуть от избытка жизни и юности. - Да на обеднях и всенощных ты разве мальчишек не видишь? Неужели ни единого в церкви на службах не высмотрела? Рыба ты, Катька, вот ты кто. Только дуры да рыбы не влюбляются, знай.

- Не хочу тебя слушать.

Катя поворачивалась к Лине спиной. Но слушать хотелось, и через минуту они мирились, и Лина посвящала Катю в свои пылкие чувства: ревности, разочарования и вновь очарования. Только имя поклонника оставалось в тайне.

- Катя, Катя, неужели тебе недоступна любовь? А ведь ты хоть и рыба,

а глаза выразительные! И волосы волнистые, мне бы такие. А косы нет, чудно! Ни одной девчонки у нас в классе нет стриженной, одна ты, всё у тебя не как у других, какая-то ты ни на кого не похожая. И отчего это тебя ни один мальчишка не выберет?

Сон смаривал их на полуслове. Они засыпали. Им снились счастливые сны.

И вот за эти три дня отъезда Ксении Васильевны, когда у Кати все шло так легко и беспечно, случилось несчастье.

До устали наговорившись и намечтавшись вчера, подружки проснулись в воскресенье поздно, встали не сразу, а вставши, поделили хозяйственные дела: Кате жарить на керосинке яичницу, Лине идти за водой на колодец.

Она вернулась тотчас, с громом швырнула пустое ведро.

- Катя! Фросю увозят.

- Кто? Куда? Почему?

Черная толпа послушниц и монахинь безмолвно стояла у крыльца келейного корпуса. Седая от мороза лошадка, запряженная в розвальни, старательно хрупала в холщовой торбе овес. Юркие воробьи отважно ухватывали мимо лошадиной морды из торбы овсинки. Стайка снегирей перепархивала в кустах. Все мирно, обычно.

Но тишина! Неясная, гнетущая тишина черной толпы. Руки, всунутые в рукава зимних шуб-ряс, смиренно сложены на животе, глаза прикрыты, ни шороха, ни слова, ни скрипа снежка под ногой. Все ждут, и что-то нечистое в смиренности лиц, рук, опущенных глаз.

И вот появилась на крыльце келейного корпуса Фрося.

Смутное движение прошло по толпе. На секунду. И еще немее молчание.

Катя привыкла видеть Фросю в ряске, стройную, легкую, что-то возвышенное в ней было. А сейчас? В короткой не по росту, замызганной дубленой шубейке, холщовой юбке до пят, голова обмотана серой шалькой. И согнутые плечи и дрожащие губы.

"Фрося! Что с тобой, Фрося?"

- Простите, сестрицы и матушки! - срывающимся голосом выговорила она, кланяясь глубоко на все стороны.

Никто не ответил. Не отозвалась ни одна сестрица и матушка.

Довольно молодой еще мужик, в шапке, надвинутой низко на лоб, с перекошенным в какой-то презрительной ухмылке лицом, вынес Фросин сундучок и узел с постелью. Бросил в сани.

- Садись.

Она стояла, жалко уронив руки. Невыносимая тоска и отчаяние трепетали в каждой черточке ее бледного лица, мертвенно-бледного, кажется, уже неживого. Катя протолкалась сквозь толпу монахинь к саням.

- Почему вы ее увозите? Фрося, Фросечка, зачем тебя увозят?

- Затем, что выгнанная из монастыря твоя Фросечка.

- За что? Фрося! Ведь ты монашенка, Фрося.

- Не монашка она, а гулящая девка, брюхатая. Ну, ты, стерва, садись, вот кнутом огрею.

Мужик замахнулся. Фрося упала в сани.

Черная монашеская толпа стояла без движения, без шороха. Мужик тронул лошадь. Фрося рывком поднялась, села. Новое - злоба и ярость кипели во взгляде. Губы дергались.

- Вы... ты... ты... ты... - задыхающимся голосом твердила она, указывая на кого-то, на одну и на другую в толпе монашек. - Прощенья прошу? А за что? Вам, что ли, меня прощать? Знаю про вас, распроведала! Блудливые вы, как кошки. А потаенные, хитрые. Все у вас шито-крыто.

- Молчи! - рявкнул мужик, дергая вожжи.

- Не умею, как вы, не хочу! - кричала Фрося. - Я-то верила - святая обитель!.. Ох, и обманули ж меня, ох, обездолили...

Она зарыдала, падая лицом в узел. Мужик дернул лошадь, ткнул кнутовищем Фросю:

- Молчи!

- Не смейте ее бить! - кричала Катя и бежала рядом с санями. - Не смейте!

- Опозорила нас. Погодь, в Медяны приедем, смерти запросишь, бесстыжая.

Катя стиснула ладонями лицо: не слышать, не видеть. Ворота открылись, пропустили сани, закрылись, и Катя, плача, поплелась домой.

Черная толпа у Фросиноного крыльца поредела, но не растаяла. Стояли кучками, шептались лбом ко лбу. Лины нет.

Катя вернулась в келью, легла на бабушкину постель. Черные монахини стояли в глазах. Безгласные. Ни у одной не дрогнуло сердце. Что же это за цепи, что вас сковали так намертво? Что Фрося кричала: все у вас шито-крыто? Значит, ложь, ложь! А Фрося... любила кого-то? Где он? Почему не прибежал ее защитить? Фрося, родная, вот отчего ты погасла... Фрося, зачем ты скрывала от нас свое горе, что он бросил тебя?

Лина явилась домовничать только под вечер, вся взбудораженная. Весь день бегала по монастырю и подругам, выведывала, что было, как было.

- Катя, с ума сойти, не поверишь!

Она выкладывала узанное, полная возмущения и в то же время довольная, что первая принесла новости, - ведь всегда хочется первой узнать о чрезвычайном событии и поразить, как поразила она Катю.

- Это мы с тобой вороны, все проворонили, а многие знали, и в городе и монахини замечали, догадывались, только сказать вслух боялись, огласки боялись, вот и тянули, не открывали, что Фросю отец Агафангел сгубил.

- Неправда, что отец Агафангел, сейчас же признавайся, неправда! - в ужасе закричала Катя. Вскочила, топая ногами. Схватила какую-то книжку, швырнула. - Неправда! Неправда! Врешь.

- Вот как раз и не вру. Не кипятись, слушай. Не вру. У отца Агафангела жена затрапезная, ни интереса, ни завлекательности, пироги только печь и умеет. Ясно, Фрося ему приглянулась. А она не устояла, Фросенька наша, перед его красотой. В него за одни проповеди влюбишься. Фрося и поддалась. Теперь ее за позор и в деревне со света сживут.

- Лина! Почему родить ребенка позор?

- Спрашивает! Вот еще божья коровка! В церкви обвенчаться надо.

- Фросе без венчания позор, а отцу Агафангелу не позор?

- Родить-то ей, а не отцу Агафангелу. А еще скажу тебе, ахнешь! почему-то перешла на шепот Лина. - Кто им встречи подстраивал? Сама мать игуменья. После церкви отец Агафангел к игуменье чай пить, а Фросю кликнут, будто стол собирать, а на самом-то деле... У игуменьи комнат небось десять, целый этаж...

...Весь день прошел в тоске и несбыточных планах спасения Фроси. Безутешный, нескончаемый день. Нескончаемый вечер. Поздняя ночь. Лина давно сладко похрапывала, уткнувшись в подушку, а Катя металась. Ломило голову, все тело, словно ее заодно с Фросей избили кнутом.

Изредка доносились со двора мерные гулкие удары колокола. Это назначенные на ночное послушание монахини вызванивали на колокольные часы. У запертых ворот дежурят вратарницы. В Успенской церкви до утра читают псалтырь.

12

Гимназия шепталась, шушукалась. В коридорах и классах обсуждалось вчерашнее монастырское происшествие.

- Девочки, девочки, ведь ей еще и восемнадцати нет. Помните, кадило отцу Агафангелу подавала?

- А я тогда еще поняла: что-то тут есть. Вся так и сияет, кадило подает и сияет. А хорошенькая! Жалко-то как!

- Девочки, значит, он соблазнитель? Священник - соблазнитель. Как же это? Теперя отчислят его из священников?

- Держи карман шире. Мать игуменья горой за него.

- Почему?

- Потому. На его службы в храм не пробьешься. Все богачихи со всего города на отца Агафангела в колясках съезжаются. За одну обедню или всенощную больше чем за неделю в монастырскую кружку нажертвуют. Согласится мать игуменья из-за девчонки знаменитого священника из монастыря отчислить? Как бы не так!

- Девочки, а по-моему, Фрося сама виновата, - сказала Клава Пирожкова.

- Что? Клава, что ты? Девочки, что она говорит!

- Станет отец Агафангел на вашу Фроську внимание обращать! - фыркнула Клава. - У нее другой кто-то был.

- Клавка Ах бессовестная, бессердечная, вруша!

Клаву Пирожкову стыдили и ругали за вранье и бессердечие, пока не увидели в дали коридора сухощавую фигуру в синем платье, с золоченым пенсне на близоруких глазах.

- Тише, тсс... Людмила Ивановна на горизонте.

Закон божий в четвертом параллельном был последним уроком. Неужели будет все, как всегда? Как он войдет? Как станет их учить? Ведь он говорил, что бог все видит и знает Он учил их божьим заповедям.

Зазвенел звонок и не успел отзвенеть, девочки сидели на местах, затаив дыхание. Отец Агафангел вошел. В рясе вишневого цвета на атласной подкладке, стройный, степенный и в то же время по-молодому подвижный.

Девочки поднялись. Неужели он не услышал эту полную горя и недоумения казнящую тишину класса?

У отца Агафангела была своя метода ведения урока.

Он начинал с какой-нибудь истории, притчи, какой-нибудь подходящей к случаю проповеди, а уже затем спрашивал заданное.

И сейчас, как обычно, неспешно прохаживаясь между партами, отец Агафангел начал без вступления и, рассказывая бархатным голосом притчу, по обыкновению протянул руку положить на чью-то девичью голову. Он привык как бы всегда благословлять, не замечая, кого, чью голову ненадолго отечески накроет широким рукавом, шуршащим атласной подкладкой.

Катя сжалась. Атласная подкладка мягко коснулась лица. Она почувствовала тепло его белой руки. Она задохнулась и, мучаясь отвращением, впилась ногтями в теплую, мягкую, душистую руку.

Он не удержался, отшатнулся, вскрикнул. Все произошло мгновенно,

но весь четвертый параллельный увидел, как потерялся отец Агафангел, багровые пятна растеклись по его бело-розовому лицу, он поправил крест на груди, почти шепотом спросил:

- Ты больна? Тебе плохо?

Может быть, она верно больна, со вчерашнего дня у нее разламывается голова, ноги тяжелые, будто привязаны гири.

- Мне противно, что вы меня тронули, - сказала Катя.

Наступило молчание. Долгое, жуткое. Девочки не смели пошевелиться.

Тяжело ступая, словно на десять лет постарев, отец Агафангел прошел к учительскому столу, сел, вырвал из записной книжечки листок, что-то написал, со скорбным лицом, придерживая золоченый крест на груди, как бы ища в нем поддержки и силы пережить оскорбление.

- Выйди вон из класса, Бектышева, и отнеси записку начальнице.

У Кати отдавался в ушах стук своих башмаков, такая тишина провожала ее, будто на похоронах.

Коридоры пусты. Катя шла пустым коридором, неся начальнице записку. Остановилась. Позвала негромко:

- Бог! - Негромко, чужим, странным голосом: - Бог! - Прислушалась, в висках бьет набат. - Отец Агафангел учил... нет, он не отец, он поп... поп Агафангел учил, ты все видишь. Ты увидел, что он сгубил Фросю? Фрося на тебя уповала. Я слышала тогда с бабой-Коккой, монашка читает псалтырь: "На твое имя мы уповаем". Где ты, бог? Ну? Ну? Отвечай. Тебя нет. - Катя в ужасе смолкла. В висках бьет набат. В коридоре пусто, тихо. Лишь монотонный доносится из ближнего класса голос учителя. Пусто, тихо. Катя ждет. Тихо. И, белея от потрясения, от того, что ей так вдруг бесповоротно открылось, она выговаривает внятно: - Тебя нет. Поп Агафангел тобой пугает, тобой прикрывается. Тебя нет.

Приемная начальницы - тайное тайных. Гимназистки вступали сюда лишь в экстренных случаях, хотя моложавая пышная начальница гимназии с ямочками на щеках и ясными глазами слыла доступной и справедливой. Ту приласкает, не считаясь, из бедной или богатой семьи гимназистка, ту похвалит за отличные успехи в ученье. Ту накажет. Не зря, по заслугам.

- В чем виновата? - спросила начальница, догадываясь: по пустякам, да еще во время урока, никто не явится к ней. - Записка?

Как разом все в ней изменилось! Где ямочки на щеках? Где ясность глаз? Где певучий, приветливый голос?

- Ты посмела? У тебя повернулся язык оскорбить пастыря, выдающегося умом и талантом законоучителя? Ты посмела?



Неумолимость глядела на Катю из светлых заледенелых глаз. Пощады не жди. Дрожь охватила Катю. Она не могла унять дрожь. Нет, не смельчак Катя Бектышева, ее бунт был ей нелегок, очень был труден.

- Он обманул Фросю, а еще пастырь! А где бог? Что он смотрит, если он бог?

- Не смей богохульствовать! - шлепнув ладонью по ручке кресла, почти визгливо повысила голос начальница. И, помолчав, обдумав: - Скажешь бабушке, чтобы немедля явилась.

- Бабушки нет, уехала в Москву.

- Бабушки нет. Отца нет. Матери нет...

- Какое вам дело? Вас не касается. Какое вам дело!

- Мне до всего дело в стенах учебного заведения, вверенного моему попечению, - с неожиданным спокойствием, становясь оттого еще беспощадней, сказала начальница. - Екатерина Бектышева, ты исключена из гимназии. Когда бабушка вернется, пусть придет. А сейчас ты исключаяешься. Не смей приближаться к порогу гимназии. Иди.

Зазвенел звонок к концу уроков, двери классов распахнулись настежь, коридоры наполнились шумом и топотом. Катя спешила, не поднимая глаз. Никого не видеть, не слышать, не делиться ни с кем.

В вестибюле у вешалки Клава Пирожкова суетилась возле Нади Гириной, помогала одеваться, держа Надину сумку с книгами, и громко, взхлеб возмущалась:

- У нее и бабушка безбожница. И отец бросил. У нее вся семья... Она таковская, я давно раскусила.

Катя скорее шагнула за дверь.

Все в ней окаменело. Она шла равнодушно домой. Исключение из гимназии не беспокоило Катю. Больше она сюда не придет, даже книги оставила в классе. Лина захватит. Наверное, осталась после уроков раз узнавать новости, жить не может без новостей.

Трудно шагать, еле двигаются ноги, тяжелы, как тумбы, и вся Катя себе тяжела.

Дома одиноко. Бабушки нет. Фроси нет.

Не сняв шубы, Катя подошла почему-то к креслу бабы-Коки, села. Что делать? Дождаться возвращения бабушки? Баба-Кока, возвращайтесь скорее!

Горят глаза. Больно глазам. Голову ломит. Что с ней? Холодно и горячо, сухо во рту.

На столе газета "Русское слово". Вчерашняя. Почтальон принес ее еще вчера, а Катя положила на столик. Вернется баба-Кока, прочтет. Катя не

читала газет. Политика была ей скучна. Она закрыла глаза. Кажется, заснула. Проснулась. Где баба-Кока? Да, ведь она в Москве, по делам...

Машинально, неизвестно зачем, Катя развернула газету. Все делала она сейчас машинально, неизвестно зачем.

На последней странице мелкими буквами напечатан столбик:

...Сведения Главного штаба.

От Особого отдела Главного штаба

о потерях в действующих армиях.

Убиты: Капитан...

Подполковник...

Прапорщик...

Буквы подпрыгнули, выросли. Острые, как колья. Огромные, черные. Закачались:

"Прапорщик... Бектышев... Василий Платонович..."

Вася.

13

Мчатся красные тучи. Разве бывают красные тучи? Мчатся, мчатся. Огненные клубы пышут зноем в лицо. Жарко. Спасите!.. Горю... Теперь я знаю, какой ад. За что вы меня мучаете? Что я вам сделала? А! Вы мне платите за отца Агафангела.

Тучи унеслись, запылали костры... Еще жарче. Вася! Это ты, Вася? Они говорят, ты убит. Я знаю, ты жив. Тебя не убьют. Вася, уедем в Заборье, позовем бабу-Коку, вместе уедем, мы защитим тебя, там тебя не убьют. Не хочу, не хочу, чтобы тебя убивали!

Дайте воды! Зачем вы меня отослали в Сахару... солнце как желтая дыня. Как жжется песок...

- Катенька, детка, очнись! - молила Ксения Васильевна.

Много ночей провела она без сна у Катиного изголовья, меняя холодные компрессы на ее горячем лбу. Палата большая, восемнадцать коек. Стоны и бред доносятся из разных концов. Тифозная палата. Возвратный тиф оттого и называется возвратным, что возвращается. Коварная болезнь. Шло на поправку, после пяти недель Катя начала подниматься, вдруг снова жар, озноб, головные боли, беспамятство. Хуже, чем было. Вся пышет огнем, вся сгорает.

- Острый рецидив, - сказал доктор.

- Доктор, очень опасно?

- Не буду скрывать. Сердце ее мне не нравится. Боюсь осложнений на сердце.

"Неужели я теряю тебя? - в тоске думала Ксения Васильевна. - Катя,

Катя! Не уходи, не оставляй меня, девочка".

Она не подозревала, как глубоко привязалась к этой длинноногой девчонке-фантазерке, смешливой и диковатой, наивной и умненькой.

Между тем догадки врача подтвердились - после возвратного тифа осложнение на сердце. Из тифозной палаты Катю перевели в другую, громадную, как сарай, тесно заставленную койками. Ксения Васильевна дневала и ночевала у Кати. Нянь и сиделок не хватало в больнице. Ксения Васильевна заделалась и сиделкой и няней. Меняла больным белье, ставила градусники, слабых кормила с ложечки. Свою Катю кормила.

Температура упала, а сил нет. Совсем нет. Не поднять руки. Даже головы не повернуть к окну. А за окном весна. Какое весна! Там давно уже лето, нежаркое, дождливое лето. В день по многу раз набегали на небо одна за другой быстрые тучки. Набежит, завесит солнце, прольется мелким дождем, и мокрые листья берез под окошком повеют прохладой.

Снова напасть - плеврит. Да не простой, экссудативный. Снова компрессы, банки, шприцы. Снова на ниточке жизнь.

"Я проглядела. Дожди, а у меня окно не закрыто. Простудила ее. Старуха, из ума выжила!" - казнилась Ксения Васильевна.

Не отходила от Кати, боялась на час оставить одну.

Долго-долго не отступала болезнь. Медленно-медленно возвращалась жизнь к Кате. Тихая, грустная лежала она. Ксению Васильевну вдруг одолевал приступ кашля, и она кашляла в платок, задыхаясь, пряча слезы.

Настал наконец день, когда Катя сказала:

- Хочется есть.

- Милочка моя, оживаешь, - обрадовалась Ксения Васильевна.

"Оживает?!" - радовалась она, когда Катя попросила однажды:

- Баба-Кока, расскажите что-нибудь.

Рассказать было что. За Катину болезнь порядочно накопилось рассказов.

Катя металась в бреду, когда в феврале по городу шли манифестации с красными флагами. Флагами, музыкой, песнями. Царя свергли. Царь отрекся от престола. В России революция. Бескровная, мирная. Теперь осталось расправиться с немцами и начать жить по-мирному.

Временное правительство объявило: война до победного конца! Свобода, порядок, победа над врагами отечества.

Ксения Васильевна с подъемом рассказывала все это Кате. Она не любила царя - маленький человечиска! - а лозунги Временного правительства о победе над немцами и порядке привлекали Ксению Васильевну, были ей по душе.

Катя слушала молча, тихо. Так слаба она была, даже удивляться нет силы.

Только в июле Ксения Васильевна повезла Катю домой. Они ехали на извозчике Московской улицей, как в день первого Катиного приезда в город, и, как тогда, навстречу сверкал позолотой церковных глав и белизной стен монастырь. Первоклассный девичий...

- Баба-Кока, неужели вы хотите всегда жить в монастыре?

- Сначала надо тебя на ноги поставить, а там поглядим, - уклончиво ответила Ксения Васильевна.

Держась от слабости за стенку, Катя тихо вошла в дом, в монастырскую келью. Вон там за столиком она увидела тогда в газете черные буквы, острые, как колья: "Прапорщик... Бектышев".

Теперь Катя знала: мама тоже умерла. Она догадывалась об этом еще раньше, когда Вася к ним приезжал, но гнала прочь страшную мысль. "Нет, быть не может", - гнала она мысль о маминой смерти. Теперь точно известно. Умерла ее странная, несчастная мать.

- Располагайся, месяц мой ясный, - с тревожной радостью хлопотала баба-Кока. - Приляг на диван. Да она качается, что вы скажете, ее ноги не держат! Мигом ложиться! Итак, открывается новая страница нашего жития-бытия!

- В чем же новое? - улыбнулась Катя.

Неестественной получилась улыбка. Она сама чувствовала, какой натянутой получилась улыбка, голос неверный.

- В этом хотя бы, - заявила баба-Кока, повязывая косынку и надевая передник. Засучила рукава.

Катя не видывала, чтобы баба-Кока занималасьстряпней. Батюшки! С каким удовольствием принялась разделявать цыпленка, резать на мелкие ломтики морковь и разные овощи, готовить диетический суп. И при этом делиться:

- Времена несуразные! Царя прогнали, а порядка что-то не видно. Прислуги не найдешь, провизии нет. Деньги падают. Что думает новый министр финансов Терещенко? Своими миллионами распорядиться умеет, а государственную казну упустил. Вовсе обесценились деньги, керенок каких-то напечатали. На базаре крестьяне на керенки эти и глядеть не хотят: подавай им за цыпленка материю. Нынче, радость моя, провизию раздобыть куда труднее, чем решить уравнение с двумя неизвестными.

- Вот поправлюсь, буду, как раньше Фрося, из трапезной обеда носить, - сказала Катя. - Баба-Кока, ведь вы им платите деньги?

- Нынче им наша плата не надобна, не пустят нас в трапезную.

- Почему?

- Трапезная для сестер и монахинь, а мы с тобой миряне. Мы в монастыре посторонние, случайные личности.

- Как же раньше?

- Раньше ты отца Агафангела подлецом не звала.

Вот оно что! Несколько минут Катя лежала молча, не мигая глядела в потолок. Мать игуменья наложила на них наказание, вот оно что! Встала перед глазами черная толпа монашек возле Фросиных саней. "Потаенные, хитрые!" - кричала Фрося.

- Баба-Кока, что вы считаете самым большим в человеке пороком?

- Лицемерие. От него на свете все зло, - без раздумий ответила Ксения Васильевна.

- Баба-Кока, можно я...

- Спрашивай, спрашивай! - обрадовалась Ксения Васильевна. Веселило ее, что возвращается прежнее - этот любопытный расширенный взгляд, неожиданные вопросы.

- Баба-Кока... - помедлив, с запинкой сказала Катя, - почему вы выбрали для житья монастырь?

- Гм... - Ксения Васильевна недоуменно, а может, презрительно пожала плечами. - Думаешь, твоя баба-Кока ни одной глупости за целую жизнь не сотворила?

- А им зачем это нужно?

- Как зачем?! Они пожизненно кельи продают. Умру, снова их собственность. Снова продавай, наживайся. А покупателей только старых находят, чтобы недолго на этом свете задерживались. У них все по расчету.

- А вам какой расчет?

- И я не без расчетца, - со свойственной ей откровенностью призналась Ксения Васильевна. - Тут тебе и прислужат. Тут тебе и питание готовое.

Катя помолчала.

- Нам без трапезной будет труднее. Баба-Кока, вы сердитесь на меня?

Ксения Васильевна обернулась от керосинки. В одной руке картофелина, в другой - широкий, остро отточенный кухонный нож. Пристально как-то, почти строго поглядела на Катю:

- Я, Катерина, тебя уважаю...

Кровь часто застучала у Кати в висках, румянцем бросилась на щеки.

- Тебе румянец к лицу, - заметила баба-Кока. - Полтора месяца каникул осталось, надо тебя до гимназии откормить хорошенько, чтобы щеки потолстели, подрумянились лучше.

- Я не пойду в гимназию, баба-Кока.

- Что так?

- Не пойду. Ненавижу отца Агафангела. Ненавижу начальницу. Не хочу учиться в гимназии.

- Вот это новость, - протянула Ксения Васильевна и принялась молча чистить картофель.

Смолоду Ксении Васильевне хозяйством заниматься приходилось не часто. Совсем не приходилось. Естественно, чужое дело само в руки не шло - то вырвется нож, то убежит молоко, то разобьется тарелка или сковорода подгорит - мучайся, чисти. Но Ксения Васильевна не роптала на судьбу, что к старости привела ее в кухню.

"Надо хозяйничать, не разгибая спины, или что там еще надо для Кати все буду делать, не охну. И улыбаться буду".

Сняла кольца - до колец ли, когда на руках кожа потрескалась от мытья посуды?

Давно не вспоминает Ксения Васильевна легенды и поверья о самоцветах, что раньше так любила рассказывать. Или просто любила рассматривать камни в кольцах. Если долго смотреть на алмаз, увидишь сначала сияние, будто все солнце отразилось в капле воды. И вдруг вспыхнет синий огонь и перельется в оранжевый, и вдруг какая-то грань засветится розовым, и запоют, заиграют все цвета радуги. Алмаз спасает жизнь, отгоняет тяжелые мысли...

Давно позабыла Ксения Васильевна разглядывать свои самоцветы. Много забыто из прежнего.

Одна привычка оставалась прочно. Настоявшись в очередях за хлебом, осьмушкой сахара и полфунтом крупы, натоптавшись у керосинки, Ксения Васильевна под вечер варила в старинном кофейнике - теперь ни за какие деньги не купишь - душистый черный кофе и, выпив чашечку-две, с довольным вздохом брала книгу. И уж непременно всякий день газету, свое "Русское слово".

А Катя? Катя читала. В чтении состояла теперь вся ее жизнь. Лина уехала на каникулы домой в деревню. Фроси нет. Никого - баба-Кока и книги. Ей нравились толстые старые книги. Чтобы день или несколько дней плакать и радоваться, делить чьи-то горести и чьи-то надежды. Любить. Ах, как любила она Наташу Ростову и Андрея Болконского - ах, как любила! Она сама была Наташей Ростовою. Зачем Наташа изменила Андрею? Как могло это случиться? Нет, она не нашла счастья с Пьером Безуховым. Пьер благородный, но Катя навсегда оставалась верна Андрею Болконскому.

А "Русские женщины"?

"Далек мой путь, тяжел мой путь, страшна судьба моя..."

Дни были долгие, полные ярких чувств и боли. Но отчего-то горе, испытанное над книгой, озаряло душу светом. Достоевский мучил. Она страдала. Уйти нельзя. Надо все пережить, все до конца. Десять жизней, двадцать, сто... И вдруг Марк Твен. Она хохотала до слез.

- Читай все, - разрешила баба-Кока, - у меня на полках стоящие книги, слезливых Чарских не водится.

Баба-Кока намекала, что Чарская - кумир гимназисток. Чарская была и Катиным кумиром, пока книжные полки бабы-Коки не открыли настоящую жизнь.

Интересно было узнавать эту настоящую жизнь!

Длинная, с огромными от худобы глазами, остриженная после болезни наголо, повязанная платочком, Катя до ночи сидела с книгой; если дождь на крылечке под крышей, если солнечный день - в тени отцветшей сирени, куда зимой празднично слетались снегири, а в июле чирикали стаи непосед воробьев.

Монахини, изредка проходившие мимо, не замечали ее. Опустив головы в черных клобуках, перебирая быстрыми пальцами четки, они скользили бесшумно и призрачно. Мать игуменья запретила монашкам посещать келью Ксении Васильевны.

- Живем, как на острове, - посмеиваясь, говорила баба-Кока. Впрочем, у нее и раньше не водилось среди монашенок приятельниц. - Ханжи, лицемерки. Тебя, Катя, посвящать в монастырские скверны не буду. Что знаешь, и того хватит, чтобы на всю жизнь от их святости отворотить. Чистая душа была Фрося. Сломали.

О Фросе они вспоминали с грустью и горем. Ксения Васильевна забрала бы ее снова к себе, но мать игуменья властвовала в монастыре безгранично: в монастырские стены Фросе вход был закрыт. Ксения Васильевна послала в Медяны письмо. Нет ответа. Второе письмо. Опять без ответа. Сгинула Фрося. Загубят ее.

Жизнь между тем становилась все беспокойней. В хлебных очередях передавали шепотом: солдаты из действующей армии бегут. За дезертирство Временное правительство ввело смертную казнь. Но все равно бродят вокруг города по лесам дезертиры. Власть главы Временного правительства Керенского не слаще царской. Видно, простому народу от Временного правительства доброго не приходится ждать.

И все чаще стало слышаться новое: большевики.

- Что за большевики? Чего им надо? Зачем воду мутят? И без них худо-прехудо, - говорила баба-Кока, начитавшись "Русского слова".

Катя взяла газету. Что о них пишет "Русское слово"?

Целый столбец печатался в газете под заглавием: "Большевики". Крупный такой заголовок, чтобы бросалось в глаза. Каждый день: большевики.

Кто они? За кого? Против кого? Чего добиваются?

Газета "Русское слово" писала: большевики смущают солдат, разлагают войска; большевики против народа и родины.

- Баба-Кока, это неверно.

- Откуда ты знаешь?

- Вася сказал.

- Э! Вася и не то проповедовал. Как о войне рассуждал? С победой или нет - кончай. Разве солдат такими призывами годится смущать? А то вот еще пишут, Ленин из-за границы явился. Главный у большевиков, а сам немецкий агент.

Да, о Ленине "Русское слово" писало почти в каждом номере. Что главный у большевиков и немецкий агент.

Вася не называл Ленина. Вася ни слова о нем не сказал. Но если Ленин большевик...

- Баба-Кока, вы верите Васе? Он говорил о большевиках - хорошие люди, большевики за народ.

- Поживем - увидим, - вздохнула Ксения Васильевна.

14

Хотя они и жили, как сказала баба-Кока, "на острове", вести о бурных событиях в мире проникали через монастырские стены. Все та же излюбленная бабой-Коккой газета "Русское слово" ежедневно сообщала наводящее страх. Нагнетала тревогу, пугала.

- Послушай, Катя, что твои большевики вытворяют! - негодовала Ксения Васильевна. - Что пишет "Русское слово"! Военный бунт в Петрограде. Бунтуют заводы. Большевики призывают: вся власть Советам! Нынешнее правительство, выходит, долой?

- А правительство что?

- Как ты думаешь - что? Если до бунта дошло, что прикажете делать правительству? Ужас!

- Стреляли? Я думала, только на войне убивают.

- Не пойму я, Катерина, тебя. Защищать революцию надо? А у них, большевиков, видишь ли, лозунг: долой министров-капиталистов! Сами рвутся под пули. И народ под пули ведут. Положеньице! Иди разберись.

Ксения Васильевна откинулась на спинку кресла. В глазах стояла растерянность, так ей чуждая раньше. Раньше она точно знала, что хорошо, а что плохо. Теперь все смешалось, перепуталось, и революция, которой



Ксения Васильевна поначалу обрадовалась, одобряя свержение плохонького царя Николая Второго со всеми его продажными министрами и развращенным двором, теперь вроде вовсе перестала быть революцией. Ничего не менялось. Все оставалось по-старому - что при царе, что без царя. Вместо царских министров - другие, такие же.

Бунта дождались. Как при царе.

...Знойные июльские дни. В поле, должно быть, жнут рожь. В березовой роще за городом лиловые колокольчики нежно высятся среди тонкой травы. Уйти бы в березовую рощу, упасть на траву и дышать, и пусть ветер веет в лицо и лазурное небо льет свет.

А в Петрограде убивают своих. Большевики агитируют: долой министров. Министры - долой большевиков. Кто прав?

Поскольку у Ксении Васильевны не было других собеседников, Катя теперь постоянно втягивалась в обсуждение политики.

"Русское слово" ежедневно разоблачало большевиков, но как ни поддавалась его внушениям баба-Кока, у Кати было свое мнение. Большевики хорошие люди. Чем доказать? Только той Васиной задушевной беседой. Вася словно бы оставил ей завещание.

Однажды Ксения Васильевна в необыкновенном возбуждении вернулась из города, покрасневшая, с крупными каплями пота на лбу и пустой сумкой, хотя не меньше трех часов выстояла в очереди. Полагалось на июльский талон по фунту крупы, а очередь вытянулась чуть не в версту - привезенного запаса хватило едва на пол-очереди, баба-Кока вернулась ни с чем.

Но не это разволновало ее.

Ксения Васильевна так и рухнула в кресло. Сумку кинула в сторону, стащила соломенную, с букетиком ромашек, широкополую шляпу, вытерла потный лоб не платком, как требует приличие, - прямо ладонью, и задыхающимся голосом:

- Видела бы, Катя, я ведь на митинг попала!

Наверное, даже в их небойком уездном городке, где ни единого крупного завода, а небольших заводиков - раз-два и обчелся, наверное, и здесь где-то большевики вели свою деятельность и агитацию против правительства министров-капиталистов, но Ксения Васильевна не подозревала об этом, потому так ее поразило увиденное.

Лавчонка, где ей было положено выкупить по июльским талонам на себя и Катю два фунта крупы, лепилась в ряду других лавок на базарной площади. Сюда в базарные дни съезжались из окрестных сел и деревень на подводах крестьяне, больше солдатки, а теперь, к концу третьего года

войны, и отвоёвавшиеся инвалиды с медалями. В базарных рядах всегда стояла толкотня, какая-то непонятная Ксении Васильевне торговля, когда крестьяне, и дамы в шляпах, и простые женщины в платочках что-то тайком совали друг дружке, осторожно оглядывались, хотя запрета на торговлю не было.

После-то Ксения Васильевна поняла: не только в магазинах - и на крестьянских возах провизии мало. Ухватить не поспеешь - мимо тебя другому достанется.

Деньги не в цене. Купля-продажа велась не на деньги. Городские жители несли на базар одежду и обувь, лишние и нелишние вещи. Деревня хватала все, а хлебом платила скупно, с расчетом.

На углу площади стоял газетный киоск. В этот день киоск что-то был долго закрыт. Много позже срока появился газетчик. С ним солдат. В потрепанной солдатской шинели, с широкой бородой и кустистыми бровями над маленькими серьезными глазками. Весь серьезный и строгий.

Газетчик нес в сумке обычный товар: "Русские ведомости", "Русское слово"... У солдата своя ноша, тоже газеты, но другие. Ксения Васильевна заметила: поменьше форматом, что-то новенькое.

Газетчик открыл киоск, принялся раскладывать на прилавке обычные газеты. А солдат, не заходя в киоск, вскинул над головой газетный лист из своей пачки и громко, на всю площадь, закричал:

- Граждане, товарищи! Слушайте, что в Петрограде было. Рабочие вышли на улицы сказать Временному правительству, что не желаем мы больше войны. Долой войну! Долой буржуйскую власть! Вся власть Советам рабочих, крестьянских, солдатских депутатов! Товарищи, граждане! Зачем нам министры-капиталисты? Они о своем богатстве заботятся. Зачем нам война? Хватит, навоевались. Рабочие Петрограда без оружия, мирно на демонстрацию шли, а правительство Керенского расстреляло их, безоружных. Так нас расстреливал кровавый царь Николашка...

Базарная площадь умолкла. Люди побросали куплю-продажу и бежали к киоску. Бежали от лавчонок и крестьянских возов. Обнесли газетный киоск, как забором, тесной толпой. В толпе Ксения Васильевна с пустой сумкой, соломенная шляпа с ромашками сбилась набок.

- Товарищи, граждане! Была у нас наша газета большевистская "Правда". Открывала нам правду про буржуазную власть. Обозлились буржуи, редакцию "Правды" разгромили. На коленки нас хотите поставить? Не поставите. Шиш вам! Большевики не сдаются. Разорили нашу "Правду", а мы вместо нее "Листок Правды" выпустили. Вот он. Читайте.

Передавайте другим. Граждане крестьяне, середняки и бедняки, здесь и про вас. О земле. Берите. Читайте. Узнавайте, как большевики защищают простой народ от миллионеров Гучковых, да князей Львовых, да Керенских...

Резкие свистки заверещали в разных концах площади. Откуда-то появились конники. Ксения Васильевна не поняла, кто они. С шашками наголо, как жандармы. Ведь жандармов нет. Временное правительство разоружило жандармов. Откуда же эти, с шашками? Ксения Васильевна видела, подскакали к киоску. Толпа шарахнулась. Конник занес шашку над бородатым солдатом. Солдат поднял свою пачку, с размаху швырнул всю в толпу, газетные листы полетели. Люди ловили, хватали, прятали.

Каким-то чудом и Ксении Васильевне достался газетный лист.

Вынула из-за корсажа помятый, наполовину изорванный.

- На, Катя, читай.

Катя разложила на столе газету, выпущенную в Петрограде 19 июля 1917 года, в четверг. Разгладила.

**Л И С Т О К П Р А В Д Ы**

Не имея возможности выпустить сегодня очередной номер "Правды", мы выпускаем "Листок Правды".

**РАБОЧИЕ! СОЛДАТЫ!**

Демонстрация 3 - 4 июля закончилась.

Вы сказали правящим, каковы ваши цели...

Темные и преступные силы омрачили ваши выступления, вызвав пролитие крови. Вместе с вами и со всей революционной Россией мы скорбим о павших в эти дни сынах народа...

Товарищи рабочие и солдаты! Мы призываем вас к спокойствию и выдержке!

...Вся жизнь действует за нас. Победа будет за нами.

15

- Баба-Кока, можно задать вам вопрос?

- Давай спрашивай.

Ксения Васильевна отдыхала в своем кресле после трудового дня над остывающей чашечкой кофе, но без книги: на улице вечерело, в узкие сводчатые окна свет падал слабо, полумрак окутывал комнату, а зажигать лампу рано, керосин давно продают по карточкам, в обрез. Приходилось экономить.

Катя сидела возле кресла на низенькой скамеечке, обхватив колени, и в упор глядела на бабу-Коку. Странная была у нее привычка: в трудные моменты не потупляла глаза, а, напротив, вовсе вытаращивала, хотя и

обливалась краской смущения.

- Что мнешься? Спрашивай.

- Кто мой отец?

- Знаешь ведь.

Если бы Ксения Васильевна умела хитрить, прятаться, убегать от опасных вопросов и, скрывая правду, говорить полуправду, могла бы таким ответом отделаться. Но Ксения Васильевна не любила хитрить. Особенно с Катей.

- Тебе надо знать, не кто отец, а какой?

- Баба-Кока, вы с ним дружили?

Баба-Кока не сразу ответила. Видимо, взвешивала, сама не знала - да или нет?

- Дружбой не назовешь, а знакомство вели. Даже приятельство было. Как с семьей расстался, сколько тому... восьмой, верно, год, так и наше приятельство врозь. Неладно у него с личной жизнью. А передо мной неохота несчастливцем казаться. Слабовольный Платон Акиндинович, хотя и военный. Какой он военный! Не знаю, пальнул ли из боевой винтовки разок. В интендантстве служил... Катенька, тебе ведь другое надобно. Хочется услышать об отце, что большой человек, характера крупного?

Она замолчала. И Катя молчала. Впервые заговорила об отце. Никого, даже Васю, ни разу не спросила о человеке, которого называла ли когда-нибудь папой? Если и называла, так это было давно, что не помнит. Не помнит. Забыла.

- Героя хотела?

- Героя?! - гневно вскинулась Катя. - Хорош герой! Бросил маму.

- То дело двоих. Не нам судить, кто прав, кто виноват, - возразила Ксения Васильевна.

- Бросил нас.

- Вас не бросал. Мать не отдала.

- Вы не любили маму.

Ксения Васильевна не ответила, и это значило: да, не любила.

Внезапно протяжный колокольный звон вошел в келью и всю заполнил ее. Раньше с колокольным звоном на душе поднималось что-то певучее, печальное, важное. Сейчас колокола говорили Кате другое: унылость, безрадостность, ложь...

- Есть присловье: "По отцу и сыну честь", - послушав звон, сказала Ксения Васильевна. - Однако не все пословицы - мудрость. Что до отцов: оставили детям славное наследство - спасибо. А нет? Сам добывай. Кто тебе мешает? Завоевывай и почет и славу... А главное, Катя, чтобы смысл в

жизни был...

- Смысл жизни в чем?

- То и загадка: в чем?

Вопрос, заданный самой себе, повис без ответа. Ксения Васильевна в задумчивости глядела на Катю.

Не странно ли, столько прожито лет, столько пережито счастья и горя, утех и утрат, а когда-нибудь ты задумывалась о смысле жизни, Ксения Васильевна? Цель высокая была у тебя? Любимое дело, такое, чтобы всю душу отдать? Нет. Жила в свое удовольствие, и ничего более. И ничего выше. И все увлечения твои были не вечны. Минучие были и любви и привязанности. Что же это? Ведь таких людей небокоптителами называют, Ксения Васильевна. Или вот еще писатель Тургенев о таких, как ты, словечко изобрел: "лишние люди". Язвительно сказано. Будто выстрелом в самую точку.

Так раздумывала Ксения Васильевна, серьезно и строго, в то же время иронически посмеиваясь над собою: "Пустилась ни с того ни с сего философствовать, старая".

Но ирония была для нее защитой, в действительности же Катины вопросы разбередили, подсказали что-то.

Катя, Катя - любовь к Кате, так нежданно и властно заполнившая все ее сердце, - вот что было единственным содержанием теперешней жизни Ксении Васильевны.

"И прожила бы небокоптителем, - думала Ксения Васильевна, - если бы не эта девчонка, в которой вроде ничего и особого нет, а жизнь стала из-за нее драгоценной, и цель есть, и смысл есть, и хочу жить, жить!"

А девчонка, не решаясь отвлекать бабу-Коку от раздумий, мотнула стриженной головой в ситцевом платке, пересела со скамеечки на свой обжитой, со вмятинами и выпиравшими кое-где пружинами диван и целиком ушла в книгу. Вернее сказать, впилась в роман Диккенса "Давид Копперфильд", где тоже действовала и играла исключительно важную и благородную роль полная причуд и странностей бабушка, где мальчик Дэви, поначалу такой несчастный, нашел большую дорогу, где события следовали одно за другим, стремительно мчались, одно другого неожиданней и интересней.

Катя еще менее Ксении Васильевны склонна была философствовать. Настолько была обыкновенной девочкой, что даже не задумывалась: "Зачем я живу?" Жизнь дана, и живу.

16

К ГРАЖДАНАМ РОССИИ!

Временное правительство низложено...

Дело, за которое боролся народ: немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над производством, создание Советского правительства, это дело обеспечено.

Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян!

25 октября 1917 г.

10 ч. утра.

"Рабочий и солдат", No 9

Орган Петроградского Совета Рабочих и Солдатских депутатов.

No 9.

26 октября 1917 г.

**РАБОЧИМ, СОЛДАТАМ И КРЕСТЬЯНАМ!**

Второй Всероссийский съезд Советов Рабочих и Солдатских депутатов открылся.

Съезд постановляет: вся власть на местах переходит к Советам Рабочих, Солдатских и Крестьянских депутатов...

Солдаты, рабочие, служащие, в ваших руках судьба революции и судьба демократического мира!

Да здравствует революция!

"Рабочий и солдат", No 10

27 октября 1917 г.

Постановление об образовании рабочего и крестьянского Правительства.

Всероссийский съезд Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских депутатов постановляет:

Образовать для управления страной, впредь до созыва

Учредительного собрания, временное рабочее и крестьянское

Правительство, которое будет именоваться Советом Народных Комиссаров.

Председатель Совета

Владимир Ульянов (Ленин)

- Бог ты мой! - восклицала Ксения Васильевна. - Рабочие и крестьяне у власти. Катя, да разве рабочие справятся с властью? А председателем Ленин. О нем месяца три подряд что нам долбили?

- Баба-Кока, кто долбил?

- Ты большевичка, Катя. Где только заразилась, не знаю. Кто долбил? Вот кто? Вот кто глаза на действительность нам открывал.

Она подняла со стола пачку газет.

- Читай. Вслух, громко.

- "Русское слово", 25 октября 1917 года, - громко прочитала Катя. Кошмарные дни. Кошмар большевистских выступлений продолжает душить страну. Мы живем в ожидании погромов, грабежей и убийств..."

- Другую читай.

- "Русское слово", 26 октября 1917 года. На развалинах..."

- Стоп! - перебила Ксения Васильевна. - Точный диагноз: мы на развалинах. К чему мы идем? Какой нас ожидает финал?

Она умолкла и некоторое время сидела с гневным выражением лица, прямая, не двигаясь, держась за подлокотники кресла.

- Немцы завоюют Россию, сядет нами править Вильгельм, тем все и кончится, - разом как-то вся угасая, внезапно заключила она.

Колокольный звон вошел в окно со двора.

На дворе мутный, насквозь вымокший день. Уродливо топорщатся голые, будто узлами перевязанные сучья сирени. Холодные дождевые капли висят на ветвях. А колокол гудит панихидно, тоскливо над сереньким днем.

- Молятся всё, - недобро промолвила Ксения Васильевна.

Приложила два указательных пальца к вискам. Начиналась мигрень. Раньше в таких случаях раздували угли в кофейной трубе, крепкий дух вкусно разливался по келье, черный напиток оживлял Ксению Васильевну голову. Но давно уже не вздувают угли в медном кофейнике, не булькает в носике, закипая, душистый кофе. Катя подала карандашик против мигрени, хранимый Ксенией Васильевной с давних времен. Переждала, пока баба-Кока потрет виски, посидит, прикрыв веки.

- Вы испугались революции, баба-Кока?

- Сроду пугливой не была, - не поднимая век, устало ответила Ксения Васильевна. - За тебя тревожусь. Тебе жить. Странное, мятежное время! Все неясно, тонет в тумане. Подружка твоя Акулина, или, как она там себя переименовала, Лина, прямоком пошагает в новую жизнь, а ты, Катя?.. Да и сбудется ли она, эта их новая жизнь, которую обещает Председатель Владимир Ульянов-Ленин, а "Русское слово" зовет кошмаром, катастрофой, агонией?..

### ДЕКРЕТ О МИРЕ

Рабочее и крестьянское Правительство, созданное революцией 24 25 октября... предлагает всем воюющим народам и их правительствам начать немедленно переговоры о справедливом демократическом мире...

Такой мир предлагает Правительство России заключить всем воюющим народам немедленно...

Доставать "Правду" было трудно, почти невозможно. Во всяком случае, старой женщине в черном драповом саке с бархатным воротничком, в фетровой шляпе, под отливающим мокрой лаковой чернотой дождевым зонтиком, с которого струями стекает вода, доставать "Правду", бравшуюся с бою в эти первые дни Октября, Ксении Васильевне, было бы совсем невозможно, если бы когда-то не пришлось участвовать на базарной площади в митинге. Она запомнила солдата, который, размахивая "Листком Правды", бросал в народ яростные слова о расстреле буржуазным Временным правительством мирных рабочих. Запомнила солдата и его рабочий листок.

И солдат заприметил пожилую особу буржуйского, не совсем обычного вида. Она кидалась к нему за "Правдой" даже из хлебной очереди. После ее не пускали в очередь.

- Ловчит! Не стояла, втирается. Не было тут ее, ступай, ступай, ишь в шляпу вырядилась...

Она не бранилась в ответ. Только молча вскидывала голову, отчего вид у нее становился еще более буржуйский и гордый.

Однажды солдат заступился:

- Товарищи женский пол, тиха-а! Пролетарским словом подтверждаю: стояла гражданка в очереди, имеет законное право.

С тех пор Ксения Васильевна была обеспечена большевистской газетой. Увидав ее, растрепанную и покрасневшую от толкотни, но не жалкую, не бедненькую, а чем-то достойную, солдат протягивал ей газету через головы.

- Эй, мадама старый режим, бери, просвещайся, выветривай из мозгов плесень.

"Декрет о мире. Если бы Вася дожил! Он ненавидел войну, - думала Катя. - Зачем мы воюем? Тысячи, тысячи убитых, калеки. Вася... Санькин отец... Зачем? Баба-Кока, зачем?"

Баба-Кока хмурилась. Гремела у керосинки кастрюлями.

Впрочем, Катя рядом с ней тоже гремела кастрюлями. Хватит быть белоручкой! Нет у нее чахотки. Доктора напрасно запугивали.

Катя здорова и не желает сидеть взаперти за монастырской стеной, желает жить, как все люди. Стоять в хвостах за хлебом и солью, добывать с бою, как баба-Кока, газеты, читать расклеенные на заборах новые законы, подписанные Лениным, и приказы уездного совдепа - видеть, слышать. И понять, и понять.

- Что касается мира, это они великолепно придумали! - сказала баба-Кока.



А давно ли агитировала: война до победного конца!  
Поняла, согласилась. Мир! Это и будет наш хороший конец, наша победа.

### ДЕКРЕТ О ЗЕМЛЕ

1. Помещичья собственность на землю отменяется немедленно без всякого выкупа.

2. Помещичьи имения, равно как все земли удельные, монастырские, церковные, со всем их живым и мертвым инвентарем, усадебными постройками и всеми принадлежностями переходят в распоряжение волостных земельных комитетов и уездных Советов крестьянских депутатов...

- Милосердный боже! - ахнула Ксения Васильевна.

Никогда раньше она не взывала так часто к милосердию божию.

В этот день у них с Катей подгорела каша, дочерна, до половины кастрюли. Кашу съедят кое-как, хоть и прогоркла, - голод не тетка, съедят, а кастрюлю не отчистить, пропала.

Катя догадывалась: баба-Кока потому так разгоревалась о подгоревшей кастрюле, что на ее старинном, красного дерева столике газета "Правда" огромными буквами объявляла: "ДЕКРЕТ О ЗЕМЛЕ".

Баба-Кока подходила к столику, а в кресло не опускалась уютно и довольно, как прежде. Читала этот декрет стоя, чуть издали. Несколько раз. Словно не верила глазам или хотела заучить наизусть... Но ведь в первый же день рабоче-крестьянской революции, в первом же выпущенном Советской властью газетном листке они с Катей прочитали об отмене помещичьих и монастырских земель...

- Да, но не верилось, думалось: так просто, мечта... - недоуменно говорила баба-Кока.

На лице ее появилось выражение растерянности и выжидания. А газеты каждый день сообщали новое, пора жающее, отчего Ксении Васильевне, как и Кате, хотелось идти туда, к людям, и кого-то умного, кто все понимает, спрашивать:

- Что это? Настоящее? Навсегда?

Каждый день Ксения Васильевна брала газету и с иронией, пряча под смешком настороженность, говорила Кате и себе:

- Ну, чем сегодня огорошат?

- "Декрет о восьмичасовом рабочем дне..."

- "Декрет об уничтожении сословий".

- "Декрет..."

Этот декрет не был еще опубликован, когда Ксения Васильевна

однажды, одевшись особенно тщательно, сменив кружевную вставку на шерстяном темно-зеленом костюме, раскрыв дождевой зонт, отправилась в банк.

И вернулась. Довольно скоро.

Утомленной, какой-то неверной походкой, позабыв раскрыть зонт, опираясь на него, как на палку, хотя колючий ноябрьский дождь со снегом хлестал в лицо и безжалостно мочил ее фетровую шляпу и пальто.

- Чашечку бы настоящего черного кофе, - грустно сказала Ксения Васильевна, садясь на первый попавшийся стул и без спора давая Кате стащить с себя мокрые от луж башмаки.

- Что-нибудь новое? - спросила Катя.

- Круто большевики забирают. Неслыханно... Спасибо, печка истоплена, на улице, брр, мерзость, слякоть. И так, Катя, банк не работает. Закрыли. Надолго? Насовсем? Мы с тобой без гроша. А слухов, а слухов! Говорят, нетрудовые доходы все реквизируются. У нас с тобой трудовых доходов нет. Поняла? - И тут она засмеялась. Как ни странно, она засмеялась каким-то сардоническим, если можно так выразиться, смехом: - Екатерина Платоновна, пролетело наследство, не пришлось стать помещицей!

- Мне все равно, - ответила Катя.

Верно, так оно и было, ей все равно. Практические вопросы не занимали ее. Возможно, оттого, что за свою жизнь Катя не знала нужды. И село Заборье так ушло далеко, старый дом заколочен, сыро, неприятно в саду, листья облетели.

- Так или иначе, вопрос пропитания сейчас для нас первейший и труднейший вопрос, - нахмурилась, сказала баба-Кока.

- Не только для нас, - возразила Катя.

И вдруг Ксения Васильевна задышала тяжело, потемнела.

- Если ты под моей крышей вырастешь бездушной и сухой, не видя и не понимая переживаний и чувств близкого человека, если тебе не хочется бежать на помощь, когда ему тяжело, если ты... если ты...

- Баба-Кока, не надо!

Ксения Васильевна утихла, провела рукой по лицу.

- Чашечку бы настоящего черного кофе!

17

- Отец Агафангел уволен! Отца Агафангела из гимназии выгнали. Долой буржуев, долой попов! Ура! Да здравствует Советская власть!

Так в один прекрасный день примчалась Лина Савельева. День был верно прекрасен. Стала зима. Нетоптанный снег сверкал мириадами

бриллиантовых звезд на просторах монастырских полян. В кустарниках алые грудки снегирей цвели, как цветы.

Лина выкладывала новости. Ворох новостей!

- Во-первых... Катька, ты писательница, сочиняешь повести, сочинила бы про моего отца, как он, весь покалеченный, из окопов пришел, живого места нет, четыре года отвоевал, а без единой награды вернулся, вот какова справедливость! Гимнастерка от вшей шевелится. Мать так и повалилась на лавку. Истопили баню. Одежду пожгли. Батьку вымыли, выпарили. А дальше? Дальше самая суть. Отец башковитый, в окопах наслушался правды, пришел на село Советской власти подмогой, выбрали секретарем партячейки, никого выше нет. Кто был ничем, тот станет всем. А кто был всем, тот стал ничем.

Ксения Васильевна приблизилась к дивану, где сидели Катя и Лина, молча опустилась рядом на стул. Слушала, крутя кольцо на безымянном пальце.

- Дальше рассказывай... Акулина.

- Баба-Кока! - отчаянно крикнула Катя.

- Поп Акулиной окрестил. Да еще отец Агафангел когда назовет с подковыркой, - меряя дерзким взглядом Ксению Васильевну, ответила Лина. Перекинула на грудь толстую косу, расплетала и заплетала конец. И все глядела на Ксению Васильевну.

- Ее зовут Линой, - сказала Катя.

Молчание.

- Подковырки я сама не люблю, нечаянно вырвалось, - трудно заговорила Ксения Васильевна. - А понимаю не все. Сознаюсь, не все понимаю. Рассказывай, Лина.

И Лина, легкий человек, забыла нависшую тучку, не казнила взглядом Ксению Васильевну и бойко тараторила:

- Во-вторых... Угадайте! Катька, не сился, не угадаешь, хоть лопни. В нашей бывшей женской гимназии...

Тут Катя и Ксения Васильевна, не веря ушам, услышали: нет больше в их городе женской гимназии. Вывеска скинута. А уж если вывеску свергли, значит, большевистская революция докатилась и до бывшей женской гимназии. На месте ее единая трудовая школа. Девчонки будут учиться вместе с мальчишками. Единая, трудовая, совместная!!

Дойдя до чрезвычайного пункта о совместном обучении девчонок с мальчишками, Лина с присущим ей темпераментом, позабыв о недетских уже годах, принялась подпрыгивать на пружинистом диване, всплескивать руками, хихикать, подмигивать.

К тому же в этой новой, только рождавшейся школе образован ученический комитет из учащихся, и членом комитета большинством голосов выбрана Лина Савельева. Члены комитета в курсе всей школьной жизни, всех реорганизаций.

Ре-ор-га-ни-за-ция! Слово-то какое! Небывалое.

И Катя решила:

- Теперь пойду в школу.

- Катька, Катька, а зачем я и прибежала к тебе!

Оказывается, Лина и прибежала затем, чтобы мобилизовать Катю в школу. Отца Агафангела вытурили, дорога открыта. Мы наш, мы новый мир построим.

- Она из формы выросла, а другой не достанешь, - неуверенно заметила Ксения Васильевна.

- Формы долой! Погоны долой, предрассудки, сословия, угнетателей, весь прогнивший царский режим!

Ксения Васильевна вздохнула. И сдержанно:

- Во-первых и во-вторых мы узнали... А в-третьих?

В-третьих было недоброе. В бывшей женской гимназии бушует классовая борьба, вот что оказывается!

- Уж это увольте! Это, сударыня, ты сверх мерыхватила, вам, большевикам, классовая борьба всюду мерещится, хоть в школу ее не притягивайте, не агитируй, не верю! - возбужденно заговорила Ксения Васильевна. - Классовая борьба в гимназии! Придумают небылицы.

Между прочим, если учителя не признают Советскую власть, объявили саботаж, не выходят на уроки, отказались учить, - это что? Классовая борьба, вот это что! Учителя - саботажники, отсталые, с контрреволюционными взглядами. Начальница во главе. Да, начальница, пышная, полненькая, с ямочками на щеках, - главный враг революции.

- Половина уроков пустые! Физики нет, математики нет! - выкладывала Лина, видимо не очень скучая без физики и математики. - Митинги, митинги! Пустой урок - сейчас митинг. Позор учителям-саботажникам! Несаботажники с нами. Их признаем, эти свои. Катя, придешь - увидишь, мы все на новый лад перестраиваем.

- Ох-ох! - вздохнула Ксения Васильевна. - Не знаю, Катя, уж идти ли тебе в эту вашу новую... трудовую...

Но назавтра поднялась ранним утром, тихонько вздула утюг, выгладила старое коричневое платье, едва прикрывавшее Кате колени, приметала белый воротничок. "Как вы там ни свергайте старый режим, а девочку оденешь гимназисткой - и будто не все прежнее рушилось, что-то

осталось..."

В бывшей женской гимназии заливался звонок. Клава Пирожкова шагала вдоль коридора, трезвоня над головой колокольчиком. Раньше к урокам звонил старый бородатый швейцар в зеленом мундире. Теперь Клава Пирожкова пронзительно выкрикивала:

- По классам! По классам! Первый урок.

Выписанный малиновой краской на серой оберточной бумаге плакат призывал: "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!"

Плакаты, объявления, газетные листы и рисунки залепили стены вестибюля и коридоров. Раньше коридоры были голы и пусты, теперь:

**ВСЕМ! ВСЕМ! СЕГОДНЯ ОБЩЕШКОЛЬНОЕ СОБРАНИЕ.**

**П О В Е С Т К А Д Н Я:**

1. О кухонных дежурствах.

2. О драматическом кружке.

3. О поведении учителя химии.

Все на собрание!!! Не опаздывать!

Революции дорого время.

"В труде и знаниях - сила рабочего класса!" - объявлял пестрый плакат, составленный из цветных букв разрезной азбуки.

Размашистыми крупными строчками кто-то веселый взывал:

Демьян Бедный,

Мужик вредный.

Просит

Братьев-мужиков

Поддержать

Большевиков.

- По классам! Первый урок! - звала Клава Пирожкова.

Девочки не спешили по классам. Там и тут стояли в коридорах. Торопливо прошагал длинноногий учитель рисования с красными пятнами на лице, вошел в пустой класс и, багровея от стыда и беспомощности, принялся расставлять на учительском столике никому не нужные глиняные вазы перед партами, на которых никто не сидел.

- Бектышева! - заметили Катю.

- Девочки, девочки! Катя Бектышева вернулась.

- А худая, длиннющая! Дылда!

- Девочки, у нее волосы колечками вьются.

- Не колечки, а стружка. После тифа волосы всегда стружкой растут. Девочки, она на Топси из "Хижины дяди Тома" похожа.

- Скажешь! Топси черная, негритянка. А она вон какая белая.

Подошла с колокольчиком Клава Пирожкова.

- Бектышева! Катя! Хорошенькая-то какая после болезни! Мне бы так побелеть. Катя, а отец Агафангел-то против Советской власти попер. Заберут его. Чека заберет. Ты верно его разгадала. Я тогда еще всем говорила: умная Катя. Умная, умная! Катя, а Надька Гирина, буржуйская дочка... Отец во Францию сиганул, и она с папенькой да его капиталами, ясно!..

- Катя, идем! - позвала Лина. - Садись со мной, на мою парту по-прежнему. Девочки, Людмила Ивановна на горизонте.

Людмила Ивановна, высокая, худая, в пенсне с золотым ободком, сменила синее форменное платье на темную юбку и светлую кофточку, желая, должно быть, тем показать свой разрыв со старым режимом.

- Людмила Ивановна, к нам! У нас пустой урок.

Она села, как учительница, за учительский стол. Классные дамы раньше за учительские столы не садились. Может быть, Людмила Ивановна стала учительницей? Какой урок она будет вести? Физику? Математику? Русский?

- Девочки! - сказала Людмила Ивановна. Поправилась, слегка покраснела: - Товарищи учащиеся!

Повертела пуговицу на блузке.

- Товарищи учащиеся, девочки! Любой власти и строю нужны просвещенные люди. Не будем заниматься политикой. Политика для мужчин. ("Мужчин" в классе не было, объединенная школа еще впереди.) Вы - будущие женщины, ваше богатство - изящество, хорошее поведение, скромность и чувства. Сегодня вам почитаю...

Она раскрыла книгу, довольно потрепанную, в переплете шоколадного цвета с прожилками.

- Иван Сергеевич Тургенев. "...Итак, это дело решенное, - промолвил он, глубже усаживаясь в кресло и закурив сигару. - Каждый из нас обязан рассказать историю своей первой любви".

18

День был морозный, ветреный. Мела поземка. Колючие струи снега неслись вкось монастырских троп и дорог. Страшно нос высунуть на улицу. В школу не хотелось идти. Тем более, по расписанию два первых урока алгебра и геометрия, а преподавателя математики нет, саботирует. Людмила Ивановна придет читать вместо алгебры и геометрии Тургенева. Потом в большую перемену продовольственная комиссия будет раздавать по классам кислые щи из селедки и по ломтику ржаного хлеба наполовину с овсяной, грубого помола мукой. Хлеб с колючками, клеклый, а все равно

съешь жадно, почти не жуя.

"К большой перемене пойду, а почитать можно и дома", - решила Катя и взяла с бабы-Кокиной полки недочитанную вчера Людмилой Ивановной "Первую любовь".

Баба-Кока со своим письменным столиком из красного дерева, со множеством ящичков, потаенных и явных, была погружена в занятие не очень для нее обычное. Баба-Кока оказалась по натуре новатором, постоянно осваивала какое-то новое дело. В это утро занималась шитьем. Швейная машинка фирмы "Зингер" годы бездействовала в высоком деревянном футляре с желтой, как в позолоте, ручкой. А теперь Ксения Васильевна водрузила машинку на свой письменный столик и перевертывала и перекраивала старые платья на новые, и, хотя и без практики, довольно искусно. Да еще ухитрялась приладить к месту где поясок, где оборку или бантик; таким образом, Катины туалеты были даже нарядны.

- Всякий портной на свой покрой, а мой и совсем неплохой, - хвалилась Ксения Васильевна.

Не любила она унывать. А Катю баловала, нередко нарушая наипервейшие педагогические правила. Например, вместо школы с утра расположиться на диване с книгой Тургенева - дело ли это? Конечно, не дело. Другая бабушка внушала бы внучке: долг, обязанности прежде всего; работе - время, потехе - час. И так далее.

А Ксения Васильевна поглядела в окошко, увидела снежную мглу и качающиеся от ветра кусты и не стала ничего внушать Кате.

Кстати, кроме поземки, грозящей разыгаться в пургу, Ксения Васильевна увидела в окошко черную фигуру монахини, которая, по всем признакам, направлялась к ее, Ксении Васильевны, крыльцу. Давно уже монашенки забыли к ней дорогу; понятно, Ксения Васильевна приостановила шитье и в удивлении ждала.

Так и есть, минутой спустя раздался негромкий стук в дверь.

- Войдите! - разрешила баба-Кока.

Монахиня вошла.

Вошла не простая монахиня. Не из тех, что при старом режиме делили время между молениями в храмах и стеганьем в кельях натянутых в пальцы от стены до стены атласных одеял для заказчиков. Нет, пришла монахиня из начальства, правая рука и советчица игуменьи, мать-казначей. Все монастырские приходы и расходы, денежные средства, церковная драгоценная утварь: золотые кресты, усыпанные алмазами чаши, золоченые оклады евангелий, расшитые жемчугами епитрахили, - все

огромные монастырские богатства состояли в ее ведении, под ее неусыпным контролем.

Вот каким важным в монастыре человеком была явившаяся к Ксении Васильевне в утренний час пожилая, степенная мать-казначей. Покрестилась на икону не поспешным крестом. Поклонилась не низким поклоном. Привыкла в сане своем не поспешничать.

- Уважаемая сударыня Ксения Васильевна, нашей смиренной монастырской обители великая до вас нужда.

- Догадываюсь. Без нужды не оказали бы чести.

- Об той великой, трудной нужде покорно прошу вас наедине поделиться, а внучке вашей...

- От внучки моей у меня нет секретов.

- По несовершеннолетию ее...

- Повторяю, секретов между нами нет. Сиди, Катя.

Мать-казначей потупила глаза, перебирая четки, видимо колеблясь, ища выход. Не нашла.

- Вас также большевики обидели, Ксения Васильевна.

- Не будем этот вопрос обсуждать, - сдержанно возразила Ксения Васильевна.

- Одному богу молимся, веру православную одну исповедуем...

- Давайте-ка, мать-казначей, поближе к вашей нужде.

- Ну тогда... ну, коли так... прикажите - паду на колени, - вдруг каким-то поднявшимся, надрывным голосом почти заголосила мать-казначей. До конца жизни всея святой обителью нашей молить всевышнего будем за вас, разумность и милосердие ваше, сударыня Ксения Васильевна, протяните помощи руку, господь вознаградит и внучке вашей удачи в жизни пошлет...

- ...в награду за что?

Мать-казначей оглянулась на дверь, возбужденно затеребила четки.

- Сударыня Ксения Васильевна! Вы благородного роду, вам от старого режиму вредного не было, а нынешняя власть милостью не пожалует, не для вас она, большевистская власть... Слушаюсь, слушаюсь, молчу о том, о деле буду. Зачем и пришла. Сударыня, вы у нас в обители с внучкой мирскими живете, на вас подозрение не ляжет... с обыском не нагрянут чекисты... Притесняют обитель. Какие кельи побогаче, стоят отдельными домиками, туда городских вселили. Грозятся и главный келейный корпус отобрать, слухи идут... Да я не про то... Реквизировали нас, достояния монастырские, трудом и дарами добытые, наполовину отобрали, грабеж, злодейство среди бела дня! Сказывали верные люди, снова придут, выметут все подчистую.



- Что же вам от меня требуется? - сухо спросила Ксения Васильевна. Но Катя догадывалась, бабе-Коке понятно, что им от нее требуется. И Кате понятно.

Вкрадчивый, сладкий, молящий и в то же время с властными нотками голос журчал:

- Сударыня Ксения Васильевна, припрячьте что по силе возможности. Не дайте святую обитель по миру пустить. Времечко-то, даст бог, переменится, перетерпеть бог велит. Припрячьте, Ксения Васильевна. Христом богом молим. Нынче ночью потихоньку к вам в подпол снесем да в яму и закопаем. Иконы-то в золотых окладах с алмазами, богатство-то! Божье, монастырское. Сделаем так, никто не унюхает, все шито-крыто, Ксения Васильевна, надежда наша...

Ксения Васильевна поднялась, бледная, с темным блеском нестареющих глаз.

- Вы решились ко мне прийти?

- Сударыня, милостивица Ксения Васильевна, - тоже вставая, но суетливо, потеряв степенность, заспешила мать-казначей. - Настоятельница передать наказали, слезно просим прощения, что с трапезной-то неловко тогда получилось, без ведома игуменьи, благодетельница Ксения Васильевна. Еще приказывали доложить: не задаром, Ксения Васильевна, вашей помощи ждем. Убережем добро, вашей милости по заслугам отпустим, жить-то надо, внучку кормить...

- Идите вон!

Баба-Кока стояла возле своего столика из красного дерева, где валялось скомканное шитье. Высокая, недоступная.

Мать-казначей как будто перевернулась: разом смыло умильность, лицо вытянулось, бледнее до зелени; пиявками кололи глаза, с дрожащих губ срывалось что-то безумное:

- Да будет проклята твоя окаянная жизнь, распутница, отступница от бога, пусть род твой истребится и имя твое, и муки адовы падут на тебя и внучку твою-у-у-у... Проклятье на вас, вся святая обитель вас прокликает!

И в этот миг, ах, могла ли Катя вообразить, чтобы в этот именно миг, когда на ее и бабушкину головы рушились проклятия монахини, открылась дверь, вкатились понизу клубы морозного пара, и в морозе и инее явилась Фрося с котомкой за плечами и увязанным в платки и одеяла... свертком, сказала бы Катя, если бы не догадывалась...

Не здороваясь, не видя никого, кроме матери-казначей, Фрося шагнула на нее.

- Ты, святая, ты и меня так кляла, - она кивнула на сверток, - за

Васеньку. Все ваше черное племя, губительницы вы, а не святые. Слышала я, на что ты подбивала Ксению Васильевну, за дверью твой голос узнала. Теперь я про тебя, святая, Советской власти все твои умышления выложу. Не смолчу, я тебя всю открою, что вражина ты. И все вы, монашки, только что без ножа, а убивцы...

Мать-казначей вдруг громко икнула, и Фрося умолкла, так это было странно и нехорошо. А мать-казначей неудержимо икала и всхлипывала. Грузные плечи тряслись. И с икотой и всхлипом ушла.

- Не хватило силенок до конца продержаться, - брезгливо поморщилась Ксения Васильевна. И Фросе: - Здравствуй, милая наша!

- Катенька, Ксения Васильевна, здравствуйте!

Иней на ресницах и платке у Фроси растаял, лицо было мокрое, с еще не остывшим от мороза румянцем, но такое худенькое, как бы все истончившееся, с глубокой грустинкой во взгляде.

- Здравствуйте!

И она тихо покачала головой. И видно было, как устала она, как забили ее невзгоды и беды.

- Ну-ка, быстрее знакомь, представляй своего сыночка, - говорила Ксения Васильевна оживленно и весело, чтобы не дать Фросе заплакать, и принялась разворачивать сверток, освобождая из одеяла и платков безбровое, курносое существо, которое, почувствовав себя на воле, зашевелило ручонками, открыло глаза и широко улыбнулось.

- Рад, что к хорошим людям попал, - шепотом, с нежностью промолвила Фрося. - Сынок уродился, полгода сровнялось, Вася...

- Вася? Он Вася? - удивилась и обрадовалась Катя.

- Катя, я его Васенькой в честь брата твоего нарекла. Ты отпиши Василию Платоновичу...

Фрося говорила, говорила, говорила, торопясь и дрожа от волнения, как в лихорадке:

- Выгнали меня из дому. Пропала бы я, да бабка Степанида приютила, бобылка Степанида, вы у ней, Ксения Васильевна, в то лето избу под дачу снимали. У ней и родила сыночка. Сами с ней зыбку смастерили, а на пеленки бабы тряпок да ношенных рубах нанесли. А в крестные матери ни одна не согласна. По нынешнему времени бога упразднили, можно и не крестить, а он поспешил, до Октябрьской родился. Поп с угрозой: "Ты зачем, такая-сякая, крестить не несешь своего?.." Хотел обозвать, да споткнулся, поп все-таки, в рясе, язык-то придерживать надо... Катенька, Ксения Васильевна! Нешто маленький мой виноват, что незаконно родился? А они его бранным словом... Ну, ладно. Я попу: "Не сыщу

крестных отца с матерью. Никто крестить не идет" А он мне: "Что заслужила, то и несешь. Поделом". Да как настрашает! "Гляди, - говорит, - помрет твой ребяенок, сгубишь некрещеную душу, обречешь на вечные муки в геене огненной". Как я на ногах устояла от угрозы такой! А бабка Степанида смыслена, уговорила пастуха. Пастух у нас пришлый, от села независимый. Постояли бабка с пастухом у купели... - Она замолчала. Крупная слеза покатила по щеке, она вытерла слезу рукавом. Ксения Васильевна, мы к вам, - робко проговорила она. - Бабка Степанида померла. Хотела я вам про свою жизнь отписать, сяду за письмо, слезами изойду, так и кину, не кончу. Боязно нам с Васенькой в пустой избе, да и ветхая, вот-вот потолок обвалится. Нынче по новым порядкам нас, чай, не погонят отсюда? Может, я Советской власти сгожусь, а? Ксения Васильевна?

- Сгодишься, - ответила Ксения Васильевна таким спокойно-уверенным тоном, как если бы выступала полномочным представителем самого Совнаркома. - Ты и твой мальчонка Советской власти не пасынки, а родные дети... Ну, давайте чаевничать. Для дорогих гостей у меня чайку и сахару хоть и небогато, а в запасе ведется. Я старуха экономная, научили большевики экономить. Катя, ставь самовар.

Часть вторая

В ДОРОГУ

19

Сельцо Иваньково сорок верст от города, двенадцать от разъезда. Дальний поезд мимо разъезда проходит без остановки. На товаро-пассажирский надежда плохая: вагоны забиты, люди стоят на площадках, виснут на подножках, лежат и сидят на крышах. Горожане едут в деревни менять одежду и всякую домашнюю утварь на хлеб.

В товаро-пассажирский не втиснешься, и пробовать нечего. Оставалось караулить в базарный день попутную подводку. Тоже непросто: на базар в страдную пору из деревень приезжают мало, - покосы, жнитво, молотба. Однако карауль, другого выхода нет.

Полгода назад Катя не подозревала о существовании сельца Иванькова. Какое полгода! Всего месяц и услышала о нем, а теперь, что бы ни делала, чем ни была занята, из головы не выходит мысль об Иванькове.

Они отправятся туда с бабой-Коккой, когда подстерегут на базаре подводку. Приказ унаробраза подписан, Катина судьба решена.

Как ни удивительно, главную роль в ее судьбе сыграла Людмила Ивановна.

Многое изменилось в судьбе и самой Людмилы Ивановны с того дня, когда она пришла в класс читать Тургенева вместо урока учителя физики,

который, как и некоторые его коллеги, недовольные Советской властью, объявил саботаж. Людмила Ивановна саботаж не объявляла. Не могла она бросить своих гимназисток, которые после революции назывались "товарищи учащиеся". Не могла разлюбить двухэтажное белое здание бывшей гимназии, а ныне единой трудовой школы второй ступени, длинные коридоры, классы, звонки, шумную толкотню перемен и различные события, которыми всегда полна школьная жизнь, а сейчас уж тем паче.

Необыкновенное событие произошло в один прекрасный день: Людмилу Ивановну вызвали в отдел народного образования. Она и раньше трепетала перед начальством - при встрече с пухлой начальницей гимназии вся обмирала - и тут пошла в гороно, трепеща, ожидая разноса неизвестно за что.

А там вместо разноса:

- Вы честно работаете в советской школе, товарищ, мы вам доверяем, а потому получайте командировку, чтобы глубже усвоить направление нашей политики.

И послали на трехмесячные курсы по переподготовке учителей. Наверное, не бывало на свете курсанта усердней Людмилы Ивановны. Она схватывала на занятиях каждое слово. До поздней ночи, не подняв головы, выучивала брошюры и лекционные записи и после трех месяцев неистовой, иступленной учебы вернулась в единую трудовую другим человеком. Вернулась учительницей литературы. Подготовленной, правда, наскоро, но воодушевленной, на крыльях. Бывшая классная дама, последнее лицо в гимназии, ниже ее разве швейцар да уборщицы, ей и за учительским столиком в классе не полагалось сидеть - сиди у стены, блюди дисциплину на чужих уроках. И вдруг...

Год за годом Людмила Ивановна довела класс до выпуска. В ее выпуске было шестеро мальчишек, появившихся в классе осенью восемнадцатого, когда, согласно декрету, женскую гимназию объединили с мужской и городским ремесленным училищем. Мальчишек Людмила Ивановна сторонилась, мальчишеская психология была ей чужда. Девочки ближе, даже нынешние девочки, вступавшие в новую, еще не вполне понятную Людмиле Ивановне жизнь.

Раньше просто: для большинства один путь - кончила гимназию, жди жениха. А нынче в вестибюле и классах плакаты и лозунги. Призывают ненавидеть богачей, с мировой буржуазией беспощадно бороться, дружными рядами идти в социализм. А один лозунг едва не аршинными буквами словно вколачивал гвозди:

"КТО НЕ РАБОТАЕТ, ТОТ НЕ ЕСТ".

Снова Людмилу Ивановну вызвали к начальству, теперь в унаробраз, что значит в переводе на нормальный русский язык: уездный отдел народного образования.

Снова страх: зачем? Для чего?

Зав. унаробразом, женщина средних лет, в солдатской гимнастерке и красной косынке, чадя из самокрутки махоркой, занятая по горло - звонил телефон, входила секретарша с бумагами, - зав. унаробразом, бегло их пробежав, размашисто, без долгих раздумий подписывала, а между тем, хрипло покашливая от табачного дыма, излагала Людмиле Ивановне суть дела.

- На школьном фронте в нашем уезде кризис. Видите карту уезда? Черные точки видите? Недействующие школы. Стоят на замке. Нет учителей. Сельская ребятня без учебы. И это когда товарищ Ленин на Третьем съезде комсомола призвал молодое поколение учиться! А мы? Белых гадов раздавили, интервентов отшвырнули почти отовсюду, конец войны видится, товарищ Ленин призывает к коммунизму и учиться, учиться, а у нас пол-уезда неграмотных. Позор! Делаем вывод: нужны учителя для села. Незамедлительно. Срочно. К концу уборки чтобы были на местах. Называйте, кто из девчат в вашем выпуске... Дур не надо. Давайте смысленых. Безусловно, советских.

Людмилу Ивановну кинуло в жар и холод от такой сложной задачи, поставленной без обиняков, напрямик. Такой безумной ответственности! Запинаясь, она стала называть своих девочек, стараясь каждую обрисовать всесторонне, ужасно боясь ошибиться. Эта с характером, не полюбится, пожалуй, детишкам... У этой развитие не то.

- Развитие не то! А вы где были? - стукнула кулаком по столу зав. унаробразом... - Э-э, может, вы их от трудового фронта скрываете?

- Да разве я посмею, товарищ заведующая?

- Так неужто ни одной бесспорной не вырастили?

Людмила Ивановна среди других назвала Катю Бектышеву.

Так на Катином горизонте явилось сельцо Иваньково, в сорока верстах от города, в глубинке уезда.

"Учили бесплатно? Обедрами в школе кормили? Постный суп из селедки да половешка непомасленной чечевичной размазни, сыт не будешь, но и ног не протянешь, и за то спасибо по нынешнему тяжелому времени. Обязана отблагодарить народную власть? Долг народу отдаешь, не милость оказываешь". В таком духе поговорили с Катей в уездном отделе народного образования.

Правда, не встретив просьб и отказов, помягчели, напутствовали ласково. "Товарищ Бектышева, вы молодая смена, на вас опирается партия в деле просвещения народных масс, освобожденных от власти капитала и гнета царизма".

Единая трудовая позади. За годы учения Катя и баба-Кока изголодались, обносились донельзя, почти до нитки распродали имущество. Письменный столик бабы-Коки из красного дерева с потайными ящичками, маняще толстые книги в академически строгих и цветных переплетах, диван, пуховое одеяло, перина, даже икона в золоченом окладе - все за три с лишним года уплыло в обмен на картошку, крупу и караваи хлеба.

Только две вещи берегла баба-Кока пуще глаза: швейную машину и шкатулку с нарисованной по черному лаку несущейся тройкой, распутившей по ветру гривы.

В шкатулке хранились письма любимых. Последним был тот нестарый, почти молодой ученый, рассеянный, весь ушедший в науку, вместе с которым Ксения Васильевна увозила Фросю из Медян.

Все реже открывалась шкатулка. Реже перечитывала письма Ксения Васильевна. И весь тот день была молчалива.

Стала она вообще молчаливее. Убавилось прежней уверенности в Ксении Васильевне, и той спокойной важности нет. Она скучала о многих милых привычках, отнятых суровыми обстоятельствами жизни. О медном кофейнике, бархатном кресле с высокой спинкой, в котором любила отдохнуть. За день натопаешься в очередях, настоишься у керосинки, и как приятно утонуть в мягком кресле, привычно потянуться за книгой и, еще не начав чтение, еще с прикрытыми глазами, посидеть, отдыхая, а уже хорошо на душе! Хорошо, что от кафельной печки тянет теплом. Что не ломит поясницу, не слепнут глаза. Что есть Катя...

Ксения Васильевна не признавалась, как страшит ее сельцо Иваново. Чужое, закинутое куда-то на край уезда. Темень осенних ночей. Зимние вьюги, вой ветра в трубе. Может быть, волчий вой... Нет! Она не отпустит Катю одну. Нет, нет! Но на сердце скребло. Слишком круто поворачивалась жизнь. С прошлым порывалась последняя нить - Ксения Васильевна оставляла свой кров. И что же оказывается? Эта сводчатая келья ей дорога. Особенно с тех пор, как приехала Катя, вернее, Ксения Васильевна сама ее привезла, еще не зная, что из этого выйдет...

Сюда привезла и несчастную Фросю.

Видно, пришла к Ксении Васильевне полная старость, воспоминания беспрестанно ведут ее в прошлое, а ведь это знак старости. Обрывки

давних дней стоят в глазах, волнуют душу когда-то пережитые чувства.

Да, Фрося... Униженная, нищая, прибежала с ребенком:

- Ксения Васильевна, примите!

Пережитые унижения долго не отходили, не отпускали обиды. Баюкая Васеньку, тихонько, как старушка, раскачиваясь взад-вперед, Фрося долго позабыть не могла постылые Медяны.

- Ой, лихо мне было! Ой, Катенька, Ксения Васильевна, лихо! Дивлюсь, как не померла. Бить не били, разве невестка науськает братчика под пьяную руку, а срамили, бесчестили на все село. Бабы сойдутся под окошком и слушают, а мне позоренье ихнее хуже смерти. Кабы не маленький, утопилась бы в озере, там и тятя с мамой могилу нашли, и лежала бы с ними под илом...

Через несколько месяцев Фросе дали ордер в особняк купцов Гириных. Октябрьская революция реквизировала особняк. На то и Советская власть, чтобы из дворцов богачей вон!

Понаставили перегородок в купеческих комнатах, поделили на клетки. Теснота в особняке! На общей кухне у плиты с утра до ночи споры и очереди сварить похлебку или вскипятить воды; в коридоре и на барских верандах играют, дерутся золотушные ребятишки, гам, шум. Но хотя Фросе с Васенькой отвели в особняке всего лишь чулан с крохотным оконцем под потолком - это был ее дом. Впервые у Фроси был свой дом, она в нем хозяйка, никто ее здесь тронуть не смел.

Ксении Васильевне не нравился Фросин дом. Теснота, за перегородкой галдеж, окошечко крохотное, высоко, неба не увидишь.

Уезжая в Иваньково, она решила переселить Фросю в свою келью апартаменты по сравнению с чуланом!

Еще таилась у Ксении Васильевны осторожная мысль: если придется из деревни вернуться, где приютишься? Фрося пустит, как когда-то Ксения Васильевна пустила ее.

Но хитрая комбинация такая не получилась по советским законам. Давно келья не была собственностью Ксении Васильевны и вообще перестала быть кельей. Не было больше ни келий, ни келейного корпуса. Была взятая на учет горсоветом жилплощадь.

Успенский девичий первоклассный монастырь закончил почти трехсотлетнее свое существование.

К ликвидации монастыря Ксения Васильевна отнеслась без сожалений. А на горсовет рассердилась.

- У трудящейся гражданки Ефросинии Евстигнеевой есть угол, - сказали ей, - другие и угла не имеют, надо тех в первую очередь обеспечить

жилплощадью.

Ксения Васильевна не согласилась с Советской властью в этом вопросе. Где это видано, чтобы угол считался устройством?

А слово "жилплощадь" прямо-таки возмущало ее.

- Все перекраивают, надо - не надо. Есть людские названия: квартира, комната. И называли бы так! Нет, изобрели словечко "жилплощадь". Не уродство ли? Только бы новшества!

Были, впрочем, новшества, к которым Ксения Васильевна относилась с сочувствием. Например, детская консультация "Капля молока". Такое гуманное новшество с трогательным названием, конечно, одобряла Ксения Васильевна. А Фрося заливалась слезами.

- О моем Васеньке кто бы позаботился так! Нищими стали в Медянах. Хозяйство у бабки Степаниды порушилось, корова пала, и дошли до сумы. Кусками только и жили. Бабка Степанида пойдет христарадничать и нас возьмет просить под окошком, с маленьким-то на руках больше жалеют. Ксения Васильевна, Катя, а стыдно!..

- Что было, то прошло, - строго останавливала Ксения Васильевна. Довольно себя жалеть, нажалелась, за дело приниматься пора.

В горсовете подыскали для Фроси подходящее дело: определили работать в "Капле молока" стряпухой.

20

Жнитво кончилось. Копали картошку. На гумнах молотили свежую рожь. Обозы, правда, недлинные - уезд не сильно был хлебороден, - свозили в назначенные места зерно по продналогу. Подводы тесно заставили базарную площадь. Пока мужики управлялись со сдачей, зерна, лошади хрупали сено, отмахиваясь хвостами от кусачих осенних мух. Город пропах деревенскими запахами, обещавшими хлеб. Но норма по карточкам оставалась ничтожной четверть фунта на человека.

...В хлебных местах, по всему Поволжью, с первого дня весны и до осени не выпадало дождей. За все лето ни тучки на выцветшем небе. Почва закаменела. Трещины глубиной в аршин изрезали твердую, как гранит, неживую, белесую землю. Листья увяли, травы высохли. На сотни верст выжженные солнцем поля. Голод. Безнадежный, неслыханный. Смерть.

В счастливых губерниях, не пораженных засухой, деревни понемногу оправлялись после пятилетней войны и разверстки, выметавшей хлеб и все продукты подчистую для фронта и города. Разверстку отменили - оживали деревни.

Как весело видеть выезжающие из сел обозы с красным флажком на переднем возу, подводы, нагруженные тугими мешками с рожью; весело



слышать сухой шорох зерна, струящегося в сусеки амбаров, - излишек, оставленный по закону на житье, на довольство; как весело было бы!.. Но перед глазами, казня и мучая, стоит образ Поволжья. Но на вокзалах снимают с поездов обтянутые кожей скелеты изможденных людей, тронувшихся из выморочных мест за куском хлеба неизвестно куда... Но в газетах, как набат: "На помощь, товарищи! Миллионы едят глину вместо хлеба. Погибают каждый день, каждый час. А впереди еще осень, зима и весна. Товарищи, на помощь, на помощь!"

...В конце сентября Кате дали знать: завтра чуть свет будет оказия.

Все лето ждала, а пришел день - и налетел такой страх, руки дрожат, вещи валятся из рук. Вот так трусиха!

Каждый день прибегала Фрося провожать. Суетилась без толку, собирала вещи, примеряла, как увяжется в узел постель. Глаза распухли от слез. Ксения Васильевна, чтобы заглушить беспокойство, томившее, чем дальше, все больше, отчитывала Фросю:

- Заливается! Словно в Америку провожает. Уйми слезы. Не на век расстаемся, увидимся. "Капля молока" Васеньке не даст умереть, и ты кое-как в стряпухах прокормишься. А у нас с Катей другого выхода нет...

Ксения Васильевна не договорила, что она, старая Катина бабушка, устала от нужды, очередей, добывания правдами и неправдами десятка картофелин и фунта крупы. У них с Катей ничего нет, решительно ничего, все распродали, выменяли, и как дальше бороться, как жить? Хоть ложись и умирай.

Вслух Ксения Васильевна не произносила такие невеселые речи: жалела Катю. Худенькая, как прутик, Катя замкнулась. Значит, нелегко на душе. О чем она думает?

"Я еду поневоле в деревню. Баба-Кока в городе не выдержит больше. Но я не хочу только спастись. Я еду в деревню, потому что должна платить долг. И хочу испытать, сильная или нет. На что я способна? А вдруг что-то большое, яркое ждет меня? Но что? Всё мечты. Жизнь - бедные будни. Мне надо зарабатывать на хлеб. Я должна кормить бабу-Коку, пришла моя очередь. Я должна и поэтому еду в сельцо Иваньково..."

Так рассуждала Катя, реально и трезво, без романтических грез.

Утром к крыльцу подъехала телега, запряженная жеребцом, тяжелым, широкозадным, рыжей масти, с белой метиной на лбу и черной бахромой над копытами.

Ксения Васильевна и Катя ожидали, готовые в путь. И Фрося с Васенькой здесь.

На этот раз в самом деле подвода, никуда не денешься. И Фрося

лихорадочно прижимала сынишку к груди, а Катя понимала, как грустно Фросе их провожать.

Послышались быстрые шаги по ступенькам, и решительным шагом вошел человек лет тридцати пяти, сероглазый, русоволосый, простецкой, ничем не выдающейся внешности. Синяя косоворотка на нем вся слинявшая, пиджак мышиноного цвета засален и вытерт, зато брюки галифе военного образца и начищенные сапоги, резко пахнущие дегтем, придавали ему молодцеватый вид.

- Здравствуйте, хозяйюшки! Сюда ли попал?

- Если вам нужна учительница Екатерина Платоновна Бектышева, значит, сюда, - ответила Ксения Васильевна.

- Она и нужна. Будем знакомы: иваньковский предсельсовета Петр Игнатъич Смородин. Войну с четырнадцатого года прошел, с германцами воевал, опять же с беляками в гражданскую. Год тому отозвали на трудовой фронт. Мирную жизнь налаживать надо, сама не наладится. Стало быть, так. Будем знакомы.

Он протянул Ксении Васильевне руку. Кате и Фросе бегло кивнул.

- Садитесь, - предложила Ксения Васильевна.

- И то сяду, - согласился он, опускаясь на единственный в комнате стул. - Совещание было в укоме по вопросам налога, а в отделе образования заодно бумагу с печатью вручили. Учительница в сельцо к нам назначена. Ждали-ждали, дождались. Раздобыл учительницу, от души отлегло. Иваньковская ребятня две зимы проболталась без школы. По революционному времени вроде бы и неловко в темноте прозябать, а что будешь делать? Наш-то добровольцем на гражданку ушел. По годам и уклониться бы можно, а совесть прятаться не велит. Школка Иваньковская при царском режиме церковноприходской была, поп командовал, наш Тихон Андреич за себя постоять не больно умел, в полном у попа подчинении. А тут будто подменили, откуда храбрость взялась! Вот как революционные идеи человека могут возвысить. Стало быть, Катерина Платоновна...

- Собственно, я... - хотела перебить баба-Кока.

- Стало быть, без лишних слов, вы хоть и староваты против учителя нашего, и он был в годах, а вы и вовсе ему в мамыши годитесь, однако грамотности, по всему видно, не занимать, а нам чего и надо... Одна запятая...

Предсельсовета оглядел келью, узкие окна с широченными подоконниками, сводчатый шатер потолка.

Медленно погладил усы.

- Запятая, гм... да... Договориться надо на первой встрече, чтобы после конфликта не вышло. Монастырский дух нам нежелателен. Божественное прочь, наотрез. Такие наши условия, Катерина Платоновна.

- Послушайте, вы ошибаетесь...

- Очень даже прекрасно, если ошибся. Условились, стало быть, так: жизнь наша в корне переменялась на новое. Главное дело, с Советской властью держать нерушимый контакт. Я вам затем объясняю, что в ваших летах пережитки прошлого, Катерина Платоновна...

Тут Катя встала. Она неслышно сидела в уголке. На месте ее уютного дивана теперь за отсутствием мебели водружен круглый чурбачок, накрытый пестрой тряпицей, - на этом чурбачке она и сидела, пока предсельсовета высказывался. Она встала для самой себя неожиданно. Что-то подняло ее. Баба-Кока увидела: бледна, губы вздрагивают, кулаки сжаты для смелости.

- Я Катерина Платоновна.

Председатель опешил. Оцепенение нашло на него. Не веря глазам, глядел на тоненькую девчонку, сердито насупленную, с двумя упавшими на плечи косичками. Короткие толстые косички на концах завивались в колечки.

- Я Катерина Платоновна.

Он молчал.

- Если я вам не гожусь, давайте бумагу, разорву - и кончен разговор.

Председатель молчал.

- Давайте вашу бумагу.

- Не моя бумага. Бумага не простая, с печатью.

- Пусть с печатью. Если я вам не гожусь...

- Гм. Наверно, и семнадцати нет?

- Скоро исполнится.

Председатель медленно гладил большим пальцем влево и вправо усы и мысленно обсуждал ситуацию: "Влип. Одна стара, вся в пережитках, но пережитки возьмем под контроль, справимся, зато образованность за версту видно. Другая... О чем говорить! Пигалица, длинноногая цапля, что еще в ней? Удружили в наробразе, спихнули с рук, им и горюшка мало".

- Ты хоть грамоту-то знаешь? - угрюмя брови, спросил он.

- Школу второй ступени окончила.

- Ну, а с ребятишками можешь... как это... если сказать по-научному, про педагогику чуток понимаешь?

Катя не ответила, а Ксения Васильевна, слушавшая его вопросы, то бледнея, то зло вспыхивая, вдруг превратилась в прежнюю гордую, даже

надменную даму.

- Вам, представителю Советской власти, следует знать, что учительнице не тыкают, если хотят, чтобы ученики ее уважали. И еще доложу, едем мы к вам с нелегким сердцем, а вы, чем бы встретить приветливо...

- И вы к нам в сельцо? - оживился он.

- Я бабушка Екатерины Платоновны и, конечно, ее не покину, тем более в таких трудных обстоятельствах.

- Каких таких обстоятельствах?! Надумают еще обстоятельства! - Он вскочил. - Посидели, обычай справили, время трогаться. Сорок верст дорога немалая. Имущество ваше все тут?

Он легко подхватил корзину и узел с постелью, задержался, еще раз испытующе взглянул на девчонку с очень уж строгим взглядом из-под сердитых бровей и двумя короткими толстыми косичками на плечах. Из-за этих косичек она казалась совершенной, совершенной девчонкой.

Вздыхнул. Ладно, хоть бабушка с ней. Уложил вещи в задок телеги. Подбил сено. Вынесли стул - посадить Ксению Васильевну. Катя без стула забралась.

- Но-о, Лыцарь! - тронул Петр Игнатьевич.

Катя и баба-Кока, прощаясь, замахали платками. Фрося за руку с Васенькой печально стояла на крыльце.

Слезы застилали Кате глаза, она видела всех, как сквозь туман.

21

Где-то горели леса. Сухой ветер налетал рывками, неся едкий запах гари. Сизая мгла завесила небо. Изредка сквозь мглу неясно выступал блекло-желтый круг солнца и снова тонул в серой пелене. Жаром дышало небо. Даже в лесу было душно. Облака сизого дыма, прилетавшего с ветром, висли между деревьями, цепляясь за ветки. Тревога сосет сердце от этой дымной мглы, угарного ветра и зноя. А ведь осень, конец сентября.

- От засухи горим, - сказал председатель.

Пошевелил вожжами. Жеребец легко шел укатанной дорогой среди сжатых полей. Позади телеги клубилась белая туча пыли.

- Нам сейчас засуха не гибель, с весны дожди прошли да и летом в норме выпали, - сказал председатель. - А в Поволжье беда. Страх, какая беда! - Он обернулся к примолкшим спутницам: - Народу повымерло - ужас! Стариков косой косит. И среднее население. А дальше еще похужеет, от зимы милости не жди, мужика лето кормит. Ребятишек жалко. В газете почитаешь, волосы дыбом...

- У вас дети есть? - спросила Ксения Васильевна.

- Троица. Старший нынче в школу пойдет, науки изучать у Катерины Платоновны.

Он с любопытством покосился на Катю. Тут бы ей и вступить в разговор и войти в отношения, во всяком случае как-то себя с положительной стороны показать, а она отвела глаза и сдержанно ответила:

- Наверное, не ваш один придет в школу.

- Гм! - неопределенно хмыкнул председатель. И подумал: "Не ловчит".

Он одобрял, что она не ловчит. Вообще председателю нравилось, что везет в Иваньковскую школу бабушку с внучкой. Не просто учительницу, положительную, в возрасте, как ожидал, как в других школах, а именно внучку с бабушкой. Причем бабушка, неспешная и важная, с высоко поднятой головой и темными невылинявшими глазами, особенно пришлась ему по душе. Жаль, что учительницей едет не она, а девчонка. Но он надеялся, что такая культурная, по всему видно, разумная бабка не даст девчонке сплеховать. Словом, предсельсовета считал себя в выигрыше.

- Но-о, Лыцарь! - подхлестнул вожжой жеребца.

И так как пассажирки помалкивали, что Петру Игнатьевичу было понятно - перелом судьбы, переживания, живые же люди! - беседу вел он. Не с каждым он так откровенно при первом знакомстве делился заботами своей нелегкой председательской жизни. Но Ксения Васильевна расположила его. Слушает хорошо. Участливо, а без жалости. С большим интересом слушает!

Что касается учительницы, ее коротенькие косички на плечах мешали Петру Игнатьевичу отнестись к ней всерьез. После, может, привыкнет, а пока, беседуя, обращался исключительно к Ксении Васильевне.

- Командировали, значит, из армии на трудовой фронт, как нужда подсказала. Спасибо, не на чужбину - на родину. Иваньковскую землю деды и прадеды пахали, здесь каждая межа и овражек знакомы, и пришло, значит, время налаживать жизнь. А она вся в разрухе. Хлеба не досыта, о прочем и говорить не приходится. Оборвалась деревня, голая, босая. Да разве об одежонке горюем! Инвентарь износился, вот нужда так нужда. Без плуга-то ступай попаши. Опять же колесам позарез нужен деготь для смазки. А его нет. Вы не судите, что у меня сапоги солнцем сияют. Авторитет требует. Председателю без авторитета нельзя. Ну, урвешь чуток дегтю от своей же телеги... А главное, что декретом ВЦИК 1 марта 1921 года Советская власть перевела деревню на налог. Чтобы народ обеспечить и государство поднять. Так товарищ Ленин на Десятом партийном съезде высказывался. Да что объяснять, небось в газетах читали, знаете... Кто не знает! Заграница и та подивилась. Дивись не дивись, а жизнь свое берет и

доказывает. Стало быть, до сей поры мы к задачам войны принаравливались. А теперь надо принаравливаться к задачам мирного времени. Верно Ленин подметил? На все сто процентов! На то он и Ленин, вождь революционного класса. Есть у товарища Владимира Ильича поперечники, речисты, только языками супротив дела спешат. Настоящий большевик не за теми, за товарищем Лениным следует... Теперь что же выходит? Опять же новая на деревню нагрузка в смысле изменения политики. Принаравливайся, Петр Игнатьич Смородин! Крути головой, как по справедливости на крестьянские дворы налог разложить. Не один Смородин мозгами раскидывает. Партийная ячейка и сельсовет целиком в это дело ушли, а ты все от заботы ночами не спишь... Опять же круговую ответственность закон отменил. Это как понимать? Так и понимай, что каждый крестьянин за себя отвечает, а ты, ежели ты Советская власть на селе, гляди в оба, чтоб государству сполна обеспечить налог, утечки чтоб не было. А не в каждом до конца созрела сознательность. Эх, молодо наше государство, делов-то, делов-то! Только бы покрепче на ноги стать, а тут напасть - половина губерний пропадает от голода. Задумаешься. Головой вроде все усвоил, а на практике не все как по маслу.

- Петр Игнатьевич! - сказала Ксения Васильевна. - На вас, я поняла, лежит большое государственное дело, и мы с Катей... Катериной Платоновной хотели бы помочь, но не умеем, горожанки, далеки от деревни. Но мы обещаем, за школу не беспокойтесь, да, Катя?

...А по сторонам дороги, то близко, то отступя к горизонту, светясь сквозь мгlistую дымку оранжевым светом, стояли леса. В торжественной осенней красе стояли леса. Черные жирные полосы пара перемежаются бархатной зеленью озими. Белеют высушенные солнцем, высеченные дождиком стерни. Пестрое стадо мирно пасется на выгоне. И жарко горят, огненными кострами пылают под окнами встречных деревенок рябины...

Русская деревенская осень! Даже когда дали завешены дымной мглой далеких пожаров, как полна ты очарования и прелести!

Телегу и на ровной дороге трясло, на ухабах и вовсе подкидывало. Катя с беспокойством видела: баба-Кока устала, а в лице умиротворенность, и, кажется, даже морщины разгладились.

- Но-о, Лыцарь!

До сельца Иванькова добрались поздней ночью. Смутно виднелись темные избы. Улица была широка, и деревня казалась пустынной, будто покинутой. Ни огонька.

К ночи мгла рассеялась или пожары остались в стороне - в черном бездонном небе светились звезды. Отчетливо опрокинулся ковш Большой

Медведицы. Серебряной пылью рассыпался Млечный Путь. Царственное небо высилось над ночным селцом Иваньковым. И тишина.

Впрочем, нет. Где-то во дворе брехнула собака. Как по сигналу, из десятков дворов хриплым и залихватым лаем отозвались разбуженные колесами псы. Ночь ожила. Но нигде не засветилось окошко. Избы по-прежнему стояли темно и безмолвно.

Посредине села в темноте белела церковь. Против церкви, чуть поодаль, также среди улицы, дом под железной крышей. Петр Игнатьевич остановил жеребца возле этого дома. Одиноко, по-сиротски глядел он, без двора на задах для скотины, как у всех изб; без кустов сирени или акации в палисаднике, только у крыльца как-то нелепо и странно высоко вверх вытянулась длинная тонкая береза с голым стволом и пучком ветвей на макушке.

Школа. Одна-одинешенька посреди широкой улицы, вдалеке от жилья. Петр Игнатьевич отпер замок на двери, взял с телеги пожитки.

- Входите.

Они вошли в сени. Не видно ни зги. Петр Игнатьевич чиркнул спичкой. На секунду осветились бревенчатые стены, щербатый некрашенный пол. Спичка погасла. Темнота стала черней.

- Шагайте, не робейте, не спотыкнетесь. Давайте-ка руку.

Петр Игнатьевич взял за руку Ксению Васильевну, она - Катю, и так на ощупь, шаря, ногами половицы, они вошли в какое-то другое помещение.

- Кухня, - сказал Петр Игнатьевич, - а по ту сторону сеней класс, завтра осмотрите. Тут в кухне русская печка. Натопишь - жарница. Нынче наверняка-то не ждали, не топлено. Из кухни в комнату ход.

Он ввел их в продолговатую комнату. Здесь было светлее от звезд. В три окна вдоль стены глядело звездное небо. Стены и здесь бревенчатые. Один угол занимала голландская печка.

- Стало быть, так, здесь будете жить, - сказал Петр Игнатьевич. Кровать одна. Учительницу одну ждали, узка, однако, будет для двоих. Нынче ночь перебьетесь, а завтра дам команду, топчан смастерят, железной кровати другой по всей деревне не сыщешь, и эту у попа реквизируют. На топчане тоже неплохо, сенник свежим сеном набьете, как хорошо! Поужинать запаслись? Вода на кухне. Дай-ка проверю, есть ли вода.

Он быстро вышел, что-то повалилось, загремело за стенкой; он тотчас вернулся.

- Цельное ведро. Вода у нас колодезная, считай, ключевая. Авдотья толковая деваха, хвалю - запаслась. Вот так. Чем богаты. Крыс в школе нет, не пужайтесь. И мышам поживиться нечем. Так что прощайте,

спокойного сна.

Он ушел, стуча сапогами.

- Но-о, Лыцарь! - слышалось с улицы.

- Катя! - позвала Ксения Васильевна. - Давай устраиваться, Катя. Господи, что же это?..

У нее сорвался голос. Катя в потемках шагнула, ощупью нашла бабу-Коку, уткнулась в плечо.

- Баба-Кока, что это, что это? Темно, холодно, жутко. Все чужое. А если бы вас не было? Если бы я одна?.. Не умею жить, не могу, не умею. Баба-Кока, зачем мы приехали сюда? В какое-то чужое далекое место! Бросили нас, никому до нас нет дела. Почему Клава Пирожкова осталась в городе, устроилась секретаршей с пайком? У них даже свет электрический есть. А Лина заведует красным уголком, но ведь в своем селе, дома, а мы?.. А Надька Гирина с отцом во Франции...

Она испуганно и жалобно плакала. Баба-Кока гладила ее растрепанные, спутанные ветром волосы и не отвечала, потому что боялась, голос снова сорвется. Как бы и ей не заплакать.

Вдруг под окошком раздалось громовое:

- Тпрр-у-у! Дурак стоеросовый, стой!

В комнату, стуча сапогами, вбежал председатель. Налетел на дверной косяк, чертыхнулся:

- Черт! Спички забыл вам оставить. У нас со спичками плохо, полкоробка как-нибудь выделю, зря-то не жгите, жалейте. А, да что говорить, ежели голова на плечах, соображаете сами... А еще... - Он покашлял, помялся. - А еще, позвал бы к себе ночевать, да положить негде, избенка тесна, пятеро нас, сами вповалку спим. Вы думаете, сельсоветом да крестьянским обществом управлять принцев из дворцов приглашают? Как же! Нужна Советская власть богачам! Советская власть есть диктатура пролетариата плюс крестьянская беднота. Бедней моей избы во всем Иванькове нет. Добавьте пролетарскую идейность - это я самый и есть! Значит, прочитана для ознакомления лекция. А вы духом не падайте. Приобьикнете, еще и полюбится. Завтра школьная сторожиха Авдотья к вам прибежит. Обижена девка судьбой, немая, убогая, а безотказная, за ласковое слово расшибется в лепешку. Ну, ночуйте как ужнибудь, с грехом пополам. Утро вечера мудренее.

И под окном бодро раскатилось на все ночное Иваньково:

- Лыцарь, но-о!

Некоторое время баба-Кока и Катя молчали.

- Где ты там? - позвала Ксения Васильевна.



- Не буду плакать, - ответила Катя.

- Францию вспомнила! - упрекнула в потемках Ксения Васильевна.

- Баба-Кока, не браните меня. Не браните, забудьте.

- Чего уж там! Давай на ночевку устраиваться; узел с постелью развязывай. Хлебца по кусочку на ужин съедим. Спички зря тратить не будем. Хныкать не будем. Крыша над головой есть? У Робинзона поначалу и крыши не было. Утро вечера мудренее. С новосельем, учительница!

22

Направляя Катю в Ивановскую школу, в уездном отделе народного образования, кроме напутственных слов, вооружили тоненькой брошюрой под названием "Религия - опиум для народа". Других пособий не было.

- Расхватили. Потянулась учительская масса к новому слову, добились перелома! - с гордостью сообщили Кате в унаробразе. - На данный момент центральной задачей поставлена партией перед профсоюзом, комсомолом и работниками просвещения - ликвидация неграмотности. Товарищ Бектышева, держите курс на выполнение центральной задачи. И всесторонне развивайте юное поколение крестьянского класса.

С таким напутствием отправили Катю в неизвестное плавание.

Кажется, ясно? Учи грамоте и развивай всесторонне. Но как? Вот этого и не объяснили в унаробразе. Непрерывно шли совещания, заседания, обсуждения планов, программ, и чего-то еще, и чего-то еще, а попросту рассказать новичку, как подступиться к уроку, не хватило догадки.

Как? Она перерыла школьный шкаф с учебниками. Бедный шкаф! Облезлый, без запора - приходилось всовывать меж дверцами закладку из газеты, чтобы не распахивались настержь. На пыльных полках два десятка задачник, букварей и книг для чтения Ушинского, несколько грифельных досок и тощая стопка тетрадей, выданных Петру Игнатьевичу в уоно по разверстке. Больше не будет, не ждите.

В тот сентябрьский день конца месяца, какой назначен был сельсоветом для начала занятий, Катя и баба-Кока проснулись, естественно, рано. Впрочем, сколько времени, неизвестно. Часов нет, еще в прошлом году обменяли на три фунта пшена.

Должно быть, солнце взошло недавно: на востоке рдела полоска зари, разливаясь выше нежно-розовым светом; голубизна неба была еще блеклой. Утро едва начиналось.

- Что ж, приспособимся узнавать время по солнцу, - неунывающе сказала баба-Кока.

Катя вышла на кухню. Там из окошка видно крыльцо. Так и есть, у крыльца, возле длинной, тонкой березки с золотой в луче солнца листвой

на макушке, собралась толпа ребятешек. Больше двадцати, бог ты мой! Солнце чуть встало, а они все уже тут.

Катя разглядывала их, прячась за оконный косяк.

Девочки в платках, немногие в ситцевых платьях, а больше в холщовых юбках и кофтах, с узенькой вышивкой красным и черным крестом. Мальчишки в холщовых портах, без ремней. Вместо ремня бечевка. А то просто навывпуск рубаха.

Надо отодвинуть в сенях дверной засов, не держать же их у крыльца.

- Здравствуйте, Катерина Платоновна!

Разноголосо, нестройно:

- Здравствуйте, Катерина Платоновна!..

Полные любопытства, они ожидали, что будет. За два года привыкли, школа стоит под замком, отпиравшимся только для сельских сходов или в каких-то особенных случаях.

Впервые школа открылась для них. Они вступали в класс тихо, робея. И садились, где скажет учительница.

Три ряда черных, облезлых парт. Класс большой, темный. Не располагающий к жизнерадостным мыслям.

Но у Кати продумано все. Обсуждено с бабой-Кокой каждое слово, даже запланированы шутки.

- Младшие сядут здесь, ближе к окнам. Здесь светлее, садитесь. Старшим ряд первый от входа. Средние в среднем ряду. Складно: средние в среднем?

Немудрящая шутка. Видно, они и не поняли. Без улыбки занимают места. Сидят. Как неживые. А ведь живые. По глазам видно - живые.

Уф! Начало положено. Смелей, Катерина Платоновна! Вглядишься, какие славные рожицы, пытлииво-внимательные! Не мигая изучают учительницу. Как идет, как стоит. Красива ли? В каком платье?

Платье шито-перешито бабой-Кокой из старого, а ничего, держится: темно-лиловое, с серым газовым шарфиком. Сущий пустяк этот шарфик на шее, а в нем самая необыкновенность и есть. И какие умницы они с бабой-Кокой: догадались изменить Кате прическу. Расплели косички. Волосы на затылке перевязали черным шнурком (ленточки нет) - пучок не пучок, гривка не гривка, во всяком случае, больше подходит учительнице, чем две короткие косицы.

Хотелось Кате перед встречей с ребятами поглядеться в зеркало, но зеркала тоже нет. Даже осколка нет.

Верьте не верьте, пришлось глядеться в ведро с водой, а это уж почти что из сказки об Аленушке или другой героине фольклора.

- Хороша! - одобрила баба-Кока.

Милые ребята! Неизвестно, как пойдет дальше, а начало обнадеживало Катю: дисциплина в Ивановской школе идеальная. Может быть, потому такими милыми ей и показались ребята?

Ужасно трудно: три класса в одной комнате. Сообрази, как их одновременно учить.

- Вы будете решать задачу номер сто тридцать два, - велела Катерина Платоновна старшим, раздавая задачки по одному на двоих. - Будете решать задачу в уме. Поняли?

Средним она дала старые газеты, собранные когда-то учителем Тихоном Андреевичем, слезавшиеся в шкафу до желтизны. Эта оригинальная идея пришла бабе-Коке.

- Голь на выдумки хитра, - заявила Ксения Васильевна и подсказала Кате газеты.

Это значит, средние будут отрывать от газет белые поля. Осторожно, осторожно. Заготовят полоски. Зачем? Как зачем? Вместо тетрадей.

Тетради лежали в шкафу. Чистенькие, в клетку и косую линейку. Аккуратная стопка. Довольно тощая стопка, едва ли хватит на ученика по тетрадке, но в целом - сокровище! У Кати дух захватывало при виде тетрадей. Как хочется взять в руки, открыть, разгладить по сгибу и писать на этой чистой, прекрасной бумаге!

О чем? Катя не знала. Что-то бродило в душе. Конечно, она не решится, никогда не станет писать дурацкие повести, какие без конца сочиняла в далеком отрочестве. Она не писательница. У нее нет таланта. Что же томит и тревожит ее? Печаль? Но о чем? Мечта? О чем я мечтаю? Чего хочу? Если бы знать!

Вон в бледном небе летит белое облако с розовыми кружевными краями. Что в этом облаке? Говорят, если долго глядеть, увидишь доброго волшебника в короне на седой голове. Или женщина в развевающейся одежде движется, скользит, ускользает. Или выплывет из синевы океана тяжелый и вместе легкий блуждающий айсберг.

Но сколько ни глядела Катя на облако, ни волшебника, ни айсберга не видела. Что же с ней? Почему она тоже летит? Кого-то любит. Над кем-то плачет. К кому-то тянутся руки...

Катя опомнилась. Куда ее понесло при виде тетрадей в школьном шкафу? Чуть не соблазнилась украсть ученическую тетрадку...

Младшие ждали. Первый день в школе. Учительница их оставила, листает у шкафа тетрадь. Наверное, так надо.

Они ждали.

Учительница вернулась к ним с какой-то смущенной и виноватой улыбкой. Качнула головой, словно прогоняя ненужную и напрасную мысль. Качнулась перевязанная шнурком у затылка волнистая метелка волос.

- Ребята, вы хотите научиться грамоте?

- Хоти-им! - несмело протянулось в ответ.

- Я научу вас читать и писать. Вы прочитаете много книг. Есть книги, где показана вся жизнь, вся! Вы узнаете умных и великих людей. И плохих узнаете. В жизни не только благородные люди, есть и плохие. Надо научиться узнавать людей. Книги научат вас любить и ненавидеть, чувствовать. Чувствовать! - выразительно повторила она. - Вы увидите разные земли и страны. И смешные книги бывают, обхохочешься! Но сначала надо потрудиться, одолеть грамоту и много еще. Согласны?

- Со-о-глас-ны-ы.

- Таким образом, - приступила Катя к уроку, - сегодня будем овладевать буквой "И". Почему буквой "И"? Ее легче писать. Начнем с легкого. Следите внимательно. - Пишу палочку, - говорила Катя ясным и нежным голосом, потому что сердце ее заливала нежность к малышам русоголовые, с выгоревшими добела бровками, круглыми носами в рыжих веснушках. Вон один - навалился грудью на парту, рот раскрыл, передних зубов нет. До чего смешон! - Тебя как зовут?

- Алеха.

- А фамилия?

- Смородин.

Батюшки мои, Алеха Смородин! Петра Игнатьевича старший. Беззубый. Волосы на макушке веерочком. Мужичок с ноготок. Юное поколение крестьянского класса.

- Будешь прилежно учиться, Алеха?

- А то!

- Итак, пишем палочку. Ведем сверху вниз. Внизу закругляем. Тянем тоненько вверх. Еще палочка. И еще закругляем. И что же? Перед нами буква "И", - радостно объяснила Катя. - Теперь пишите сами букву "И" на грифельных досках.

Младшие заскрипели грифелями. Довольная своим методом обучения, Катя пошла вдоль парт понаблюдать, как идет у малышей дело. Ахнула. Вот так караули!

- Стирайте сейчас же. Плохо написали. Пишите снова, еще!

Снова караули. Некрасивее, неуклюжее представить нельзя. Удивительные неумехи ее беззубые младшие! Бестолковые, может быть, просто тупые?

- Как ты держишь грифель? Нельзя держать в кулаке! Разве пишут кулаком? Так надо держать. Смотрите все. Вот так.

Она рассердилась. Они испугались, притихли, боялись дышать. Ей стало стыдно. Сама виновата: не сообразила научить сначала держать грифель. Ведь они первый день в школе. Однако хлопот с ними! Наверное, минут пятнадцать, а может быть, больше она учила их держать грифель.

Об остальных учениках она позабыла, все внимание ушло на младших, хоть бы с младшими справиться.

К счастью, дисциплина в Ивановской школе отличная. Все занимаются своими делами. Серьезно, истово. По сторонам не глазеют.

Ох, трудно овладеть буквой "И"! Ох, трудно держать как следует грифель маленькими, непривычными пальцами! Билась, билась Катя, а младшие так и не освоили букву. Палочки валились набок, нажима не получалось, получалось уродство.

Только одна девочка с бледным, тоненьким личиком, светлыми, как спелый лен, волосами, аккуратно заправленными за уши, без слова протянула грифельную доску показать ровные, даже красивые строчки.

- Молодец! - обрадовалась Катя, ласково погладив ее льняные волосики. - Как зовут?

- Тайка.

Наверное, пора отпустить младших на перемену, тем более что средние кончили заготавливать белые полоски из газет, а старшие решили в уме задачку.

- Упражняйтесь, - велела Катя младшим, не решаясь отпустить их на перемену, не зная, как они себя поведут на свободе.

Средние терпеливо ждали, когда учительница подойдет, но она притворилась, что не замечает их ожидания, и направилась к старшим. Пора проверить задачу.

Она вызвала ученика, не узнав имени, не разглядев даже как следует.

- Иди к доске ты.

Двое других подтащили доску ближе к старшим, к их первому от входа ряду.

Ученик писал на доске цифры, сложение, умножение и прочее, бойко постукивая мелом о доску. Видно, он был доволен, что вызвали, и готовился смело объяснить решение задачи. Катя присела на край парты. "Хорошо, хорошо, - радостно пело сердце. - Ничего, что малыши не овладели буквой "И", в конце концов овладеют. Зато старшие-то как здорово соображают!"

- Землевладелец продал пятьсот десятин земли, - заключая задачу,

стукнул мелом о доску ученик.

"Отжившее. Вздор! Какой-то землевладелец, где они, землевладельцы? Устарелый задачник. Надо сказать Петру Игнатьевичу: неужели нельзя раздобыть новый, советский?" - подумала Катя.

Она увидела протянутую руку. Кто-то из старших поднялся, стараясь привлечь внимание учительницы.

- Что ты? - спросила Катя, не чуя беды. Напротив, радуясь сообразительности и бойкости старших.

- Он неверно решил, - сказал мальчик. - Землевладелец продал четыреста десятин.

- Как четыреста! Что такое ты говоришь!

Катя почувствовала, сердце ёкнуло, заколотилось, в глазах зарябило, все задрожало внутри - так она растерялась. Она машинально следила, как ученик стучит мелом о доску, но не вникала в смысл действий. Доверилась ученику. Что он там нарешал? Неужели не пятьсот, а четыреста? Проклятый землевладелец! Неужели продал четыреста? Катя не понимала задачку. Что делать? Она погибла.

- Он решил верно. Землевладелец продал пятьсот десятин, - сказала не своим, казенным голосом.

Старшие принялись торопливо листать задачник, один на двоих, сверяясь на последней странице с ответом. А мальчик, первым поднявший руку, ткнул палец в страницу и, удивляясь и смущаясь, сказал:

- Здесь, в ответе, написано четыреста.

Тишина наступила в классе. Младшие, средние, старшие - все безмолвно уставили глаза на учительницу, ожидая развязки. Ужас, ужас! Что делать! Скорей найти выход, никто не поможет, спасайся сама.

- В задачнике неправильный ответ, - сказала Катя, не видя, не различая младших, средних и старших своих учеников.

Все лица слились в одно, расплывчатое, зыбкое и осуждающее. Грудь давило отчаяние. Но что случилось? Почему ошиблась? Ведь вчера она сама решила задачку.

Вдруг точно молнией ударило: она задала им не ту задачку. Она задала номер 132-й, а вчера, готовясь к уроку, решила другую, номер 131-й. А там вовсе не землевладелец. Там "Один путешественник отправился в путь"...

Несчастливая! Перепутала, назвала не тот номер задачи. Перепутала землевладельца, продающего десятины, с путешественником! Смотрела, что пишется на доске, и не видела. Размечталась... И крах, полный крах!

- Урок окончен, - сказала Катя. - На сегодня занятия окончены. Идите домой.

- Баба-Кока, ау!

Так начинались воскресные утра. Можно вволю понежиться на сеннике. Сенник слежался, потерял первоначальную пышность, но стал даже мягче, уютнее. Однако в будни не разлежишься. В будние дни Катя вскакивала с рассветом: ученики чуть не затемно дожидаются в классе! Они с бабой-Кокой и входную дверь не запирали, чтобы не морозить ребят на улице. Ох, прилежны иваньковские школьники! Прямо какие-то выдуманные. Разве сравнишь с учительницей Катериной Платоновной, когда она сама, совсем недавно, ходила в школу второй ступени главным образом затем, чтобы рисовать плакаты и участвовать в драматическом и литературном кружках! Да еще за миской похлебки.

Иваньковские школьники в будние дни учительнице лишнего поспать не дадут.

Зато воскресенье - ее! Катя выглянула из-под одеяла. Знакомая комната. Уже привычная комната, обжитая, шагов десять в длину. У одной стены Катин топчан упирается изножьем в изразцовую печь; у другой железная кровать бабы-Коки. Между топчаном и кроватью Катин стол с учебниками и невысокое сооружение вроде тумбы, сколоченной из свежего теса, - кажется, еще дышит свежим запахом зимнего леса.

Тумбу сколотил отец Тайки, той светленькой девочки с зачесанными за уши льняными волосиками, которая на первом же уроке показала себя лучшей ученицей из младших. На тумбу баба-Кока поставила швейную машину и шьет иваньковским девушкам платья и кофты. Зарабатывает кринку молока или горшочек топленого масла, гордясь, что кормит себя да отчасти и Катю.

"Ау!" - хотела позвать Катя. Но не позвала.

Баба-Кока успела одеться, сделала свою обычную прическу в виде венца надо лбом, для чего подкладывается под волосы специальный валик, чтобы поднять волосы выше, и сидела на табурете у печки. Что такое? Почему с утра топит печь? Обычно они у горящей печи сумерничают, пока раскаленные угли не начнут, угасая, темнеть.

- Баба-Кока, почему вы топите утром?

Ксения Васильевна подошла, села в ногах на топчан. Странно - на пальце кольцо. Она давно не носила кольцо. Как чудесно переливается густым цветом багряный рубин! Живет. То потемнел, то просиял чистым, радостно-красным.

- Не топлю, сжигаю разное ненужное, - как-то грустно сказала Ксения Васильевна. - Нахлынуло прошлое. Накатило неизвестно с чего. А годы

проходят, о смерти подумать пора.

- Что вы, баба-Кока! - воскликнула Катя, рывком садясь на постели. Что вы говорите такое!

Слезы задрожали в голосе, лицо искривилось; она стала дурнушкой, жалкой девчонкой, с нечесаными волосами, рассыпанными по плечам.

Баба-Кока ласково погладила голое плечо Кати, прикрыла одеялом.

- Ну, ну. Не будем об этом. Я смерти не боюсь. Заболеть страшно. Хватит паралич, вот это страх! И об этом не думаю. И о смерти не думаю. Из гордости не желаю думать о смерти. Не понимаешь? Как это из гордости? Да так... Не собираюсь умирать - вот и все. До девяноста доживу. Правнуков хочу повидать, твоих деток, птенец. А когда встретишь любимого... когда встретишь, вся жизнь озарится по-новому. Знаешь, что это - любовь? Радость, жалость, страдания, жизнь!.. Когда полюбишь, подарю тебе это кольцо.

Она сняла кольцо. Держала на ладони и вглядывалась в огромный кроваво-красный рубин. Пристально. С грустью.

- Последняя память о человеке, его одного я и любила. А отослала сама: уходи.

- Почему?

- Не отослала. Увели его от меня. Девочка такая, как ты. Худенькая, глазищи огромные. Пришла тайком. Ручонки сложила на груди, вся дрожит. "Мы любим папу". Ненавидела я эту девчонку глазастую... А кончилось тем, что вынесла себе приговор: "Уходи, любимый. Прощай, а перстень этот..."

Солнечный луч протянулся в окно, рубин вспыхнул.

- Мой талисман, - сказала Ксения Васильевна. - Я под декабрьскую вьюгу родилась. Кто в декабре родился, для того рубин талисман. Потому он мне и подарил это кольцо. Потому я его и храню. Когда срок придет, передам тебе, и хоть ты не декабрьская, береги. В память обо мне. Это кольцо мне самых драгоценных сокровищ дороже. Пусть бы вовсе нужда нас одолела, ни за что не обменяю, за десять пудов муки не отдам, - неожиданно повернула на прозу Ксения Васильевна.

И с досадой махнула рукой. Что ты будешь делать! Как занозы засели в сердце недавние мытарства, не прогонишь из памяти.

А пора бы прогнать.

В газете "Беднота" про иные деревенские школы писалось: учителя бедствуют, ни жалованья, ни хлеба, ни дров. Про одну учительницу писали, что ходит ночами на крестьянское поле, картошку крадет, тайком накопает ведро... Срам! Не учительнице срам, а крестьянам, тем, что нарушают



советский закон.

В сельце Иванькове другое. Иваньковская учительница хлебом и прочими продуктами обеспечена...

В тот первый день Катиного учительства, злополучный, на всю жизнь памятный день, когда, стгорая от стыда, спотыкаясь под недоуменными взглядами тридцати трех учеников, сбитых с толку ее, Катиным, невежеством, она, прервав урок, раньше учеников вышла из класса - спрятаться, скрыться, - в сенях почти налетела на предсельсовета Петра Игнатьевича.

- Что скоро отучила, Катерина Платоновна? - без задней мысли спросил председатель.

А ей послышалась насмешка.

- Я знаю, когда надо кончать урок! - дерзко отрезала Катя.

В сенях, отделявших класс от половины учительницы, было темно. Он не разглядел ее пылающих щек.

О! Как она после жалела, как терзала себя, что именно в эту минуту обрезала его, вообразив в нем начальственный тон! Он шел к ним довольный и радостный, спешил обеспечить их от имени Советской власти и крестьянского общества, а она...

- Молода, а с норовом, - удивился предсельсовета.

Это Катя-то с норовом! Катя, которая все детство не смела сказать матери "нет". Катя, которую любимый брат Вася жалеющим голосом называл послушной. "Послушные не открывают Америк".

Ошибается предсельсовета. Или что-то новое в Кате, самой ей неясное?

Стуча сапогами, смазанными дегтем, Петр Игнатьевич вошел в комнату, снял буденовку и громко, во всю мочь, как на сходке:

- Здравия желаю, Ксения Васильевна!

Хотелось Петру Игнатьевичу в сердцах ругнуть учительницу, чтобы не задирала нос с первого дня, еще не заслуживши почета. Но сдержался. Помнил: предсельсовета во всех случаях - образец поведения, советского, не какого-нибудь. Только тем показал Петр Игнатьевич недовольство девчонкой-учительницей, что не к ней обратился по делу, а к бабушке.

- Принимайте продукцию, Ксения Васильевна. Секретарь Сила Мартыныч всю бухгалтерию в Совете ведет - обошел дворы, нешибко у нас их много в Иванькове, слегка поболее полсотни, а в каждую избу зайти время, однако, потребуется. Не пожалел трех вечеров, обошел. На все сто провел агитацию. Собрали провианта на прокорм учительницы плюс члена семьи, проще говоря, вас, Ксения Васильевна. Муки без малого полный

мешок. Картошки два мешка. Капусты двадцать кочанов. Две бутылки конопляного масла да баранья нога. Последние два продукта считайте сверх обязательной нормы. Бабы наши жалостливы. Сочувствуют. А еще стараемся народ в пролетарском направлении воспитывать. Стало быть, так. Телега у крыльца. Сила Мартыныч там. Кажите, куда мешки с мукой и картофелем ложить.

Баба-Кока разволновалась, покраснелась, выронила на колени шитье.

- Петр Игнатьевич, спасаете вы нас. Я с первого взгляда человека в вас угадала, вот правильно угадала. Катя, ты слышишь, какая щедрость! Спасибо, спасибо, дорогой Петр Игнатьевич!

- Спасибо советской политике говорите. Не нами закон об учительском прокорме придуман. Газету читаем. Проводим линию, указанную на данный момент. О хлебе не заботься. Учи, - обратился он все-таки к Кате, строго глядя поверх ее головы.

...Вот о чем надо было бы вспомнить Ксении Васильевне, а не городские мены на базаре и очереди с ночи до утра за полфунтом хлеба на двоих. То позади. Иваньковское крестьянское общество под руководством предсельсовета Петра Игнатьевича Смородина сняло заботу о хлебе.

Впрочем, Катя и Ксения Васильевна не забывали это и никогда не забудут.

Ксения Васильевна ушла в кухню хозяйничать и оттуда позвала громко, изумленно:

- Катя, иди-ка сюда!

Катя босиком прошлепала в кухню.

В окно широко видна улица. Октябрь, а на улице белый зимний день. Еще вчера кострами пылали на кустах и деревьях желтые неопавшие листья. Что стало за ночь! До окон навалило снежные горы. Навесило шапки с козырьками на крышах. Осины и ивы вдоль изб бессильно свесили ветви под грузом рыхлого снега, без времени. Деревья еще не подготовились встретить зиму. Ветви клонились и никли.

И удивительное видение - для него баба-Кока и кликнула Катю.

Из кухонного окошка видно крыльцо. Длинная, тонкая березка возле крыльца круто изогнулась дугой, почти касаясь земли макушкой в гроздьях тяжелого снега. Белая арка перекинулась над входом в Катину школу.

24

"Милая, милая Фрося!

Петр Игнатьевич едет в уезд на совещание, посылаю тебе с ним немного бараньего сала, крупы и муки, такими стали мы богачами! Воображаю, как ты обрадуешься и испечешь нашему Васе оладушки.

Фрося! У меня новая жизнь. Не представляла, что так захватит, всю душу возьмет какая-то деревенская школка. Невзрачная, с одним большим классом. Холодный, темный класс, но когда нахлынут ребята, сразу повеселеет и даже согреется. Оказывается, я люблю ребят. Очень люблю! Плохих детей в моей школе нет. Лживых, недобрых? Нет, нет!

Мне нравится управлять ими, будто оркестром. Они слушают каждое мое слово, хочется даже торжественнее выразиться: "внимают" каждому слову. Иногда, чтобы проверить свою власть, я строго приказываю: "Тихо. Ни звука".

И что же? Тихо, ни звука.

Я часто рассказываю им что-нибудь интересное. Пригодилась книжная полка бабы-Коки. Помнишь, сколько у нас было книг? Как я скучаю без книг! Безумно скучаю...

В классе многого не успеешь рассказать, надо учить читать и писать, а на рассказывание я зову ребят вечером. Сбегают домой пообедать, приготовят уроки и снова в школу. Не каждый вечер, но часто. Вечерами мы собираемся в кухне. У нас просторная кухня и русская печь, жарко, как в бане. Авдотья школьная сторожиха, немая; одна рука короче другой, в деревне ее зовут "убогонькой", но она оптимистка, из-за всякого пустяка хохочет, вернее, мычит, это и значит, смеется, а школу обожает, без конца моет, метет.

В кухне у нас длинный стол и вдоль стен широченные лавки, как в крестьянских избах. Ребята рассядутся кто где - по лавкам, на лежанке, на полу. И я рассказываю. Что? "Шпион", "Последний из могикан" Фенимора Купера. Рассказываю неделю подряд. Забуду подробности, добавляю свои. Ах, Фрося, видела бы ты, как слушают ребята! Еще бы! То мы в могучих лесах Южной Америки, там лианы обвивают стволы и сучья великанов-деревьев, обезьяны качаются на лианах, как на качелях...

Но, ясно, ребята особенно замирают, когда я подхожу к приключениям. Уж тут я не скуплюсь, расписываю во всех деталях подвиги и благородство индейцев. И обрываю на самом драматическом месте. Многоточие. Пауза.

- Довольно, дети, до завтра.

Они молят:

- Еще, еще!

Но я неумолима.

- Нет, до завтра.

Так я властвую над ними.

Какие чудесные у нас вечера! Только как-то баба-Кока сказала:

- Фенимор Купер хорошо, но одного Купера мало.

Баба-Кока всегда права. Конечно, ведь есть "Детство и отрочество", "Капитанская дочка", "Дубровский"...

Ты думаешь, по вечерам у нас горит лампа? Лампа на всю школу одна, висит в классе на железном крюке, и наша тетя Дуня зажигает ее, когда Петр Игнатьевич устраивает в школе крестьянский сход.

А мы сидим при лучине. Ты все это знаешь, а нам ново.

Фрося, удивляюсь я бабе-Коке, восхищаюсь. Она была избалована жизнью в Москве, в красивой квартире. Бывала в Париже, Италии, в Сорренто и Риме. Думаешь, ворчит из-за лучины? Нисколько.

А учить ребят все-таки трудно. И посоветоваться не с кем. Соседний учитель, старик, в пяти верстах от Иванькова. Сходила бы к нему, да стесняюсь. Скажет: "Что за учительница, сама неуч!"

Баба-Кока с педагогикой тоже мало знакома. Но у бабы-Коки есть здравый смысл. Поэтому иногда она мне помогает.

Например, как бы ты стала учить младших читать? Я показала им букву "М".

- Мы, - читают они, - мы-а, мы-а, мама. Ры-а, мы-а, рама.

Долго мы так читали, но однажды баба-Кока проходила сенями мимо класса, услышала и после мне:

- Что это они мычат у тебя? Не вели им тянуть: "мы", "ры". Пусть сразу складывают, ведь буквы-то знают?

Подсказала, и, представь, в два дня мои младшие научились не тянуть, а сразу складывать. И читают как следует.

Сама не пойму, как это я их научила.

Прекрасная советчица - моя баба-Кока! К ней даже Петр Игнатьевич приходит советоваться или поговорить на разные темы. У нас в комнате голландская печка, мы с бабой-Кокой любим топить ее в сумерки.

В это время Петр Игнатьевич иногда и зайдет. Присядет у печки на корточки, курит самокрутку, пускает дым в печь. Его интересуется история. Слышала бы ты, как они спорят с бабой-Кокой! Для бабы-Коки Петр Первый великий преобразователь России, а ему что Петр Первый, что Грозный - он всех царей отвергает.

Он бабе-Коке признался: "Я, Ксения Васильевна, вначале к вам не с полным доверием подошел, поскольку вы из чуждого класса, но наш великий вождь Владимир Ильич Ленин учит, что каждому овладеть надо всеми богатствами знаний, чтобы настоящим стать коммунистом..."

Последнее время мы с бабой-Кокой заметили, Петр Игнатьевич изменился. Озабоченный. Даже хмурый. Заметили, но спросить не решались. Он сам бабе-Коке открылся.

Городская заготовительная контора по сбору сельхозналога заявила, что у нашего сельца Иванькова перед государством большая задолженность. Будто у нас на сколько-то десятин больше пашни. За эти десятины надо сдавать дополнительно налог. А десятин-то нет! После революции землемеры землю измеряли, и все было правильно, а теперь вдруг объявились лишние десятины. Я не очень все это понимаю... Петр Игнатьевич ругает бюрократов и чиновников из заготовительной конторы.

Вот поехал выяснять...

Фрося, когда я была школьницей, мы сердились на учителей, у которых были "любимчики", "любимчиков" презирали, дразнили подлизами и т. д.

А знаешь, теперь у меня самой есть "любимчики". Нет, нельзя так назвать. Все дети милы. Но есть такие, кто мне нравится больше.

Например, Федя Мамаев. Однажды у меня случился позорный прорыв на уроке - запуталась с решением задачки. А Федя Мамаев поправил меня. И с тех пор он очень мне нравится! Правдивый, способный.

Люблю еще Алеху Смородина. Всегда полон фантазии, голова непрестанно работает, будто там заводной моторчик.

Тайка - полная противоположность. Ласковая, тихая...

Немного смущает меня, что мои "любимцы", Алеха и Тайка, как раз дети нашего иваньковского начальства. Но ведь я-то знаю, что это не имеет для меня никакого значения. И конечно, я не показываю вида, что Федю, Алеху и Тайку люблю больше других.

Милая, милая Фрося, хочу знать, как ты живешь, как растет Васенька. И как я тронута, что ты назвала его в честь моего Васи!

Мы с бабой-Коккой целуем Васеньку и тебя, милая Фрося.

До свидания.

Катя.

Ноябрь 1921 года".

25

Ребята разошлись после уроков, а Тайка Астахова робко скрипнула дверь в комнату учительницы и, став у порога, потупив глаза, проговорила чуть слышно:

- Катерина Платоновна, Ксения Васильевна, тятенька вас нынче в гости зовет.

- С чего это? - удивилась Ксения Васильевна.

- Тятенька с мамой приказали просить, чтоб уважили...

- Причина серьезная... Что ж, Катерина, уважим? Собирайся, идем.

Тайка молча семенила впереди, поскрипывая на снегу еще не

разношенными белыми валеночками, бордовые розы на ее шерстяном полушалке нарядно цвели. Снег звонко хрустел. В полнеба малиново горела заря. Белая сорока с черными каймами на крыльях и хвосте провожала Тайку с гостями от палисада к палисаду.

Сельцо Иваньково вытянулось в одну улицу вдоль реки Голубицы. К лету берега Голубицы одевали ковры незабудок, оттого и название у реки голубое.

У Силы Мартыныча была изба-пятистенка, с наличниками дивной красоты и узорчатыми перилами крыльца, как кружевными. Изба стояла крайней в сельце. Дальше чистое поле, снежный вольный простор, а еще дальше, где небо клонилось к земле, темная гряда леса отделяла иваньковские владения от соседних.

- "ИВАНЬКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ", - вслух прочитала вывеску Ксения Васильевна. - Вот так раз! В сельсовет нас привела.

Тайка со смущенной улыбкой, меленькими шажками поднялась на крыльцо, а навстречу появился коренастый, щекастый, бородатый Сила Мартыныч, мужчина лет сорока.

- Жалуйте, гости дорогие, милости просим. Сельсовет, этта значит, при нас. Или скажем напротив: Сила Мартыныч при сельсовете, так-то вернее. Жалуйте, - пригласил он широким жестом.

Сени просторные, влево три ступеньки спускались к хлевам для скотины, направо две двери.

- Тута сельсовет, - указал на одну Сила Мартыныч. - А тута мы.

И ввел гостей в свою половину. Чисто. Прибрано. Полы белые. Русская печь вкусно дышит мясными щами. В красном углу стол, заставленный блюдами и мисками с кушаньями. Икон не видно. На стене портрет Ленина.

Хозяйка, с тонким и тихим, как у Тайки, лицом, поклонилась молча. А хозяин был шумлив и приветлив.

- Время зря волынить не станем. За столом складнее беседовать. Ксении Васильевне переднее место. Мы хоша к учительнице нашей Катерине Платоновне со всем уважением, а малу и стару понятно, правит-то бабушка.

- Вот и ошибаетесь, Сила Мартынович. В школьные дела Катерины Платоновны я нисколько не вмешиваюсь.

- Пусть так, - тотчас охотно сдался Сила Мартыныч. - Умный человек с одного слова скажется. Хозяйка, что стоишь? Угощай, потчуй. Студенец, пирожок с ливером, баранья печеночка, капуста квашеная... А за здоровье прекрасной нашей учительницы и ее бабушки браги выпьем. Мы,

иваньковцы, от прапрадедов брагу знаем варить.

Он выпил, и Ксения Васильевна немного отпила, а Катя чуть пригубила. Сила Мартыныч одобрительно кивнул.

- Крестьянский класс за новое грудью, а что ценно в старом - это тоже храним. Девка - барышня по-городскому - тем хороша, ежели в скромности себя соблюдает. Так при дедах велось, рушить не станем. Вам, Катерина Платоновна, благодарность. Это уж я о другом. Про родительскую вам благодарность, Катерина Платоновна! Одна у нас Тайка. Было двое сынов. Из люльки не выросли, кончились... Дочка растет. Жизни милей. Я для своей Таиски по нынешним временам дорогу бо-ольшую вижу. Выучить желаю, до самого верху. При царском режиме за учение в гимназии полсотни в год плати. Да квартира городская, да харчи. Не под силу. А нынче... при образовании вывести можно, даже и девку, в начальство самое высшее, была бы удаль да смелость отцовская... Вот как у нас!

- Может, довольно вам браги? Крепкая, - заметила Ксения Васильевна.

- Увидела! Все как есть насквозь видит! - восхитился Сила Мартыныч.

- Скажите, а как вы до революции были? - неожиданно спросила Ксения Васильевна, обводя взглядом чистую, светлую избу.

Он подвинул стакан. Насмешкой сверкнули глаза.

- Скажи, как мода на анкету в нас въелась! Ладно в волости или уезде - и по соседству каждый друг о дружке допытывается... Кулаком не был, - спокойно ответил он. - По советским законам кулак есть эксплуататор наемной батрацкой массы. Правильно рассуждаю? - почему-то обратился он к Кате.

- Правильно, - несмело подтвердила она.

- В нашем сельце Иванькове кулаков не водилось. Для нас-то хуже. Будь в сельце кулаки, землицы бы у них поурезали, бедняцко-средняцкому населению прибыль. И помещичьей земли близко нет. С чем до революции жили, с тем и остались. Одну поповскую усадьбу порушили, да там на цельное-то общество всего ничего. В нашем Иванькове земельное равенство, да. Покамест разверстка действовала, урожай подчистую мели - охота пахать у крестьянства упала. Нынешним летом и вовсе засуха пол-России сожгла. Нас, иваньковцев, миловал бог, да еще товарищ Ленин новую экономическую политику мудро удумал. Налог государству отдай, а что осталось - твое. У мужика пахать руки просятся. Крестьянину получаешь - и рабочему получаешь. Правильно разбираю политику?

- Мне кажется, правильно, - подтвердила Ксения Васильевна.

И Кате, естественно, рассуждения Силы Мартыныча казались понятны и правильны. А главное, понравилось ей, как любит он дочку, тихую Тайку,

с надеждами и нежностью любит!

Вот сидит, большой, плечистый, подстриженные скобой волосы кудрявятся, настоящий русский богатырь! Обнимает щуплые плечики Тайки, бережно тронет светлые, прямые, как соломинки, волосы.

- У вас красиво, а герань как прекрасно цветет! - любуясь махровыми шапками цветов в глиняных горшках на подоконниках, сказала Катя.

Сила Мартыныч с довольной усмешкой медленно огладил пышную бороду.

- Отгрохал домину аккурат под самый четырнадцатый. Своими руками, вот этими, плотницкими, избу ставил. Гляньте, мозоли каменные, до смерти не сойдут. Сам, да жена, да сестра, старая девка, да холостой брательник, пять годов ставили избу. Квас с редькой - весь харч, про говядину, как и пахнет, забыли. Обещался брата холостого женить, когда избу осилим. Затем и пятистенку старались, ему половина, мне половина. А тут война. Не успел ожениться, с первых дней взяли. И сгинул. И могилы не знаем. Сестра животом маялась, скрючило всю, и ей в новом доме пожить не пришлось... Ксения Васильевна, пироги с ливером, Катерина Платоновна...

Тут дверь отворилась, и вошла женщина, нестарая и недурная бы собою, но темная старушечья шалька, надвинутая на брови, ввалившиеся от худобы щеки и угрюмый взгляд старили ее и дурнили.

- Здравствуйте. Не вовремя я, гости у вас. Кринку принесла, спасибо.

Поставила порожнюю кринку на деревянную лежанку у печки и повернулась уйти.

- Постой, постой! - вскричал Сила Мартыныч. - Нин Иванна, постой. Прежнего учителя нашего жена, - коротко бросил в сторону Кати и Ксении Васильевны. - Садись гостевать, Нин Иванна.

- Спасибо, некогда мне. Ребятишки не кормлены.

- Тогда постой. Жена, собери ребятишкам гостинца.

Но Нина Ивановна уже вышла из избы, и Сила Мартыныч, схватив два куска пирога и накрыв ломтем студня, вышел следом за ней в сени. За дверью послышались голоса: его - низкий, твердый и ее - бурный, срывающийся.

- Учитель на войне без вести сгинул, - тихо вымолвила Тайка.

- Сгинул или нет, то нам неизвестно, - возразила мать. - Соседка наша. Мы ее еще в девках, Нинкой, знали. Учитель зятем в дом к ним вошел. Осталась - ни мужа, ни сродственников. Ни коровы, ни лошади. Обнищали. Когда поможем, чем можем. Молока корчажку снесешь.

Сила Мартыныч вернулся. Сел к столу, сердито ухватил бороду в



ладонь.

- Морока с бабами! Она так располагает: ежели ты сельсовет, корми ее, обувай, одевай. А где у нас средства? Что в наших есть средствах - даем.

Он выпустил бороду, налил еще стакан браги и, ближе придвигаясь к Ксении Васильевне, заговорил другим, почти искательным тоном:

- Дельце у нас к вам, Ксения Васильевна.

- Я так и предполагала, что дельце, только почему ко мне, а не к Катерине Платоновне?

- Катерина Платоновна молода, и школа на ней. Мы, видим, Катерина Платоновна вся в школу ушла.

- Какое же дельце?

- Такое, что и вымолвить сразу-то не решусь.

- А вы решайтесь. Вы ведь не из робких, как я догадываюсь.

- Ну, ежели догадались, выложу напрямик. Засела в голову мыслишка одна. Надумал культурой вашей попользоваться. Тайку, сверх школы, желаю разным наукам учить, всем языкам заграничным, вот какая задумка.

Он умолк, почти смущенно вглядываясь в спокойное лицо Ксении Васильевны, которая по привычке постукивала пальцами по столу, и на безымянном горел темно-красный рубин.

- Задумка неплоха, да только слишком вы многохватили. Всех языков я и сама не знаю.

- Так ничего и не знаете?

- Немецкий кое-как. Французский тоже подзабывать стала. Однако попробовать можно, поучу вашу Таю французскому. Девочка способная, прилежная.

Тайка покраснелась, стыдливо потупилась, и мать опустила глаза, пряча радость. А Сила Мартыныч вытер бороду:

- За платой не постоим, будьте в спокойствии.

- О плате не будем пока говорить, - отказалась Ксения Васильевна. - А одолжения прошу.

- Да мы с радостью! Что запросите, все раздобудем. Из-под земли выкопаем.

- Нам с Катериной Платоновной нужна газета. Скучаем без газеты. Живем, как в лесу.

- Газету-у! - воскликнул он, изумляясь и радуясь исполнимости желания Ксении Васильевны. - У меня эти газеты в шкапу кипами копятся. Айда в сельсовет, без промедления снабдим.

И он привел их в сельсовет. Отворил дверь в смежную комнату, и пожалуиста - сельсовет. Люди входили сюда из сеней. Но Ксению

Васильевну с Катей, естественно, Сила Мартыныч провел из дома.

Такая же изба, большая, чистая, только без пунцовых шапок гераней на окнах; посредине покрытый кумачовым сатином стол; у стены сколоченный Силой Мартынычем шкаф для казенных бумаг и документов. Разумеется, фотография Ленина. Ленин был изображен здесь с Михаилом Ивановичем Калининным.

- Помещение нашей сельской Советской власти, - гордо объявил Сила Мартыныч. - Астахова личная собственность добровольно отдана государству по причине малой семьи. А как дальше пойдет, будет видно. Разбогатеет отдельный для власти выстроим дом.

На деревянном щитке были гвоздиками прибиты развернутые листы газеты "Беднота".

Ксения Васильевна пробежала заглавия статей и заметок.

В правом углу начальной страницы: "Принимается на газету подписка по всей территории РСФСР только от учреждений и организаций".

Жаль! Хотелось Ксении Васильевне выписать газету на свой адрес, лично себе! Есть особенное удовольствие, ставшее за годы привычкой, получать утром свежий номер газеты, еще пахнувший типографской краской, никем еще не открытый, читать газету первой. Без спешки, со вкусом.

- Не тужите. Как из почты привезут, буду с Тайкой присылать, успокоил Сила Мартыныч. - А покамест получайте запас. Читайте, знакомьтесь. Нынче политика вперед семиверстными шагами бежит, чуток пропустил - не догонишь.

Он достал из шкафа кипу старых номеров "Бедноты", нагрузил Катю и вышел на крыльцо проводить, в одной рубашке, с разгоревшимся лицом, довольный удачной сделкой с Ксенией Васильевной.

И Ксения Васильевна возвращалась из гостей довольная приемом Силы Мартыновича.

- Умен. Активен. Повезло Петру Игнатьевичу с помощником. Нашего Петра Игнатьевича слишком ввысь порою заносит. А этот на земле прочно стоит. А имя? Ты заметила? Будто для него специально придумано - Сила.

26

Кате не исполнилось шести лет в ту весну, когда к земле приближалась комета Галлея. Веснами они жили не в Заборье, а в городе: у Васи в реальном еще шли переводные экзамены, он часами горбился над учебниками, но урывал время сооружать с товарищами подзорную трубу собственной конструкции. Девятнадцатого мая будут наблюдать приближение кометы.

Огромное раскаленное чудище с хвостом в миллионы километров надвигалось на Землю.

О комете говорили все, постоянно, повсюду. Катя слушала страшные рассказы на бульваре, куда Татьяна водила ее утром гулять. Нянюшки катали по дорожкам коляски с младенцами или сидели на скамейках и обсуждали неотвратимость беды. Комета летит прямо к Земле, столкнется... и свету конец. Землю разорвет в куски или сожжет дотла во всемирном пожаре. А если комета пронесется мимо, хвост ее плотным покрывалом обовьет Землю и удушит людей, зверей, птиц, растения - все удушит угарными газами. Так и так наступает конец. Скоро. Через несколько дней.

Катя глядела на ярко-желтые дорожки бульвара и зеленые газоны в золотых одуванчиках, слушала шум весенних ветвей, птичий гомон и в отчаянии замирала: скоро конец. Формочки для песка и лопатка валились из рук.

- Вася, комета столкнется с нашей Землей?

- Н-не знаю. Может столкнуться.

Ни один человек не утешил ее.

- Сегодня к ночи, сегодня! - без умолку твердили на бульваре в тот день.

Вечером у Васи собрались товарищи-реалисты, то возбужденные, шумные, то вдруг умолкавшие: водружали на балконе подзорную трубу. Мама тоже устроилась на балконе в качалке, с папиросой, и в тревожной задумчивости наблюдала суету и волнение мальчиков.

Кате не дали поглядеть в трубу.

- Ты еще маленькая, ничего не поймешь, - нетерпеливо выпроваживал Вася.

- Покойной ночи, иди спать, - велела мама.

Кате хотелось кинуться к ней, уткнуться в колени, прижаться.

- Иди, пора спать.

Татьяна увела Катю, помогла раздеться.

- Может, последняя ноченька, и не свидимся больше.

Поцеловала и ушла в парадное делиться переживаниями с соседскими прислугами. Все оставили Катю. Она съежилась под одеялом в дрожащий комок. И ждала. Вот с грохотом взорвется небо. Волга выплеснется из берегов. Рухнут дома, и древние зубчатые стены и городская башня повалятся. Забушует пламенный вихрь... Она уснула.

А утром майское небо лучезарно светилось, зеленели деревья, птицы свистели и щебетали, кажется, громче и веселей, чем всегда. Комета не столкнулась с Землей, пролетела мимо и неслась где-то далеко-далеко во

Вселенной.

После кометы Галлея Вася никем не мог быть, кроме как астрономом. Астрономия сводила Васю с ума. Он выпрашивал у мамы денег и выписывал специальный журнал и специальные книги. Изучал звездные карты.

Подзорная труба не удалась реалистам. Вася вымолил у мамы полевой бинокль - читать звездное небо. Мечтал открыть новую звезду.

А потом остыл к астрономии. Новое увлечение завладело Васей. Книги Гарина-Михайловского привели к другому призванию. Инженер-путеец! Строить железные дороги - вот его дело! Нашей отсталой России не стать европейской страной без железных дорог...

Катя между тем подросла, скоро двенадцать, ей интересно все взрослое. Так она натолкнулась у Васи на популярную астрономию Фламариона.

Она читала Фламариона, задыхаясь от волнения. Запоем. Тайны Вселенной поразили ее. Что такое Вселенная? Нет начала и не будет конца, что это? Что это? Что такое вечность движения? Мы - наша крохотная по сравнению со Вселенной Земля, и неисчислимые звезды, и неисчислимые звездные спутники - несемся в черной бездне. Куда? Ужас ее охватил. Ее бедный маленький мозг не в силах постигнуть тайн мироздания. Жалкая гимназистка третьего класса, она была в полном смятении. Непостижимое обрушилось на нее. Придавило ее.

Душевная потрясенность Кати была взрывом, может быть, подобным солнечному протуберанцу. И, подобно протуберанцу, не сразу, постепенно опала, утихла.

Обыкновенная земная жизнь не давала о себе позабыть. В ученическом дневнике благодаря Фламариону появился длинный ряд двоек, и, конечно, мать не скупилась на язвительные внушения вроде:

- Надо быть уж совсем ограниченной, чтобы с гимназической программой не справляться. Иди в модистки, если не способна учиться.

Постепенно Катю перестали мучить мысли о вечности Вселенной и мгновенности человеческой жизни.

Зато она узнала о звездах. О Млечном Пути, опоясавшем темный свод неба. Зато умела находить Большую Медведицу и Малую, увенчанную ослепительной Полярной звездой. И бриллиантовую россыпь Стожар. И вообще научилась, почти как Вася когда-то, читать звездное небо, особенно в такой ясный морозный вечер, как сегодня в Иванькове.

Сегодня рассказывания при лучине не будет. Вместо кухни Катя собрала ребят на улице с целью отправиться на экскурсию в звезды...

Она здорово вошла в роль учительницы: постоянно ей хотелось выкладывать ученикам запасы своих отрывистых, случайных познаний. Любопытство ребят ее подзадоривало. Кроме того, к разговору о звездах подтолкнули рассуждения Алехи. Алеха сочинял картины и сказки.

- Солнце одно на все небо да Луна. Для Земли. А звездочки махонькие, то фонарики на ночь зажигаются, чтоб Земле посветить, когда Солнце спать уйдет и Луна притомится. Солнце летом жарче горит, пока ржи да овсы поспевают, а как поспеют, оно и остудится и зиму на Землю найдет.

Катя не хотела вызывать в своих милых учениках тот отчаянный холод, какой испытала в отроческие годы сама от непостижимости мира. Но нужно знать. Нельзя жить слепыми.

- Вы можете сосчитать все снежинки в иваньковском поле? Или летом все колосья?

- Ну да? - раздалось удивленно.

Ребята почуяли что-то занятное, теснее сгрудились возле учительницы.

- Звезд столько, сколько снежинок на всех иваньковских зимних полях. И еще столько. И еще. И еще. Не счесть.

- Ну да-а?

- У многих звезд, какие мы можем видеть, есть названия. Вот глядите, для начала: Большая Медведица...

И они стали искать и разглядывать семь мерцающих звезд в бездонно высоком, чистом декабрьском небе. Они стояли задравши головы, и одни находили созвездие, другие - нет, а некоторые, оказывается, знали Большую Медведицу, и шумно радовались, и хотели, чтобы учительница их похвалила.

Но дальше путешествие по звездам прервалось, в этот вечер Катя не успела поделиться с учениками всеми своими астрономическими знаниями. Катя увидела предсельсовета. Он незаметно приблизился, недолго послушал ее звездную лекцию и коротко бросил:

- Катерина Платоновна, дело есть.

Ребята остались на улице, а она последовала за ним в школу, недоумевая, отчего он так строг и чем недоволен.

В классе Авдотья зажгла семилинейную керосиновую лампу, что означало объявленный сход. Несколько мужиков уже сидело за партами, над которыми плавал грязновато-серый махорочный дым.

- Звезды звездами, может статья, время настанет, и до звезд доберемся, а нынче другая нужда. Не до звезд, - сказал Петр Игнатьевич, входя в комнату учительницы.

Он смотрел хмуро и словно бы осуждал Катю за ее отвлеченный, не

первой важности урок.

- Катерина Платоновна, идем на собрание, будешь нужна, - велел Кате. Бабе-Коке ласковее: - И вы, Ксения Васильевна, ежели желание есть.

Класс был полон народа, глухо гудел. Мужики сидели за партами и на корточках на полу. Бабы столпились у печки. Кто на лавках, принесенных из кухни, кто стоя.

Едкий запах махорки, сырой овчины и пота висел в воздухе, лампа от духоты горела тускло, лица казались серыми.

За учительским столиком Сила Мартыныч с озабоченным видом перебирал, листая и перекладывая, небольшую стопку газет.

- Сила Мартыныч, ты нынче учительнице секретарствовать место отдай, распорядился председатель.

У того недоуменно вскинулись брови.

Но, медленно погладив бороду, он спокойно спросил:

- Что за причина?

- Причина немудрая, в исполкоме интересуются, как наша учительница привыкает к общественной жизни. А она по молодости на народ и показаться не смеет, заперлась с ребятами в классе. Катерина Платоновна, народа не беги. Садись, будешь писать протокол.

Сила Мартыныч без слова, выставя широкую грудь и как-то заметнее, чем всегда, прямя плечи, твердыми шагами отошел к двери, встал впереди людей, отвернул полу шубейки, вытащил из кармана кисет с табаком.

А Петр Игнатьевич откинул пятерней со лба волосы и тем же суровым голосом начал:

- Товарищи иваньковские односельчане! Мы живем, не бедуем. От нашего урожая до весны без голодухи дотянем. А есть губернии... мрут люди. Тысячами. А надежды-то нет. Время-то зимнее. При царском режиме на власть мужик не надейся, а все-таки хорошие люди и тогда находились; к примеру, писатель Лев Николаевич Толстой все силы на борьбу с голодом бросил, ну, не осилил в полном масштабе, а все-таки... Товарищи граждане, я вам лекцию не стану читать, лучше из "Бедноты" почитаю. "Бедноту", товарищи граждане, нашу крестьянскую боевую газету, сам Владимир Ильич Ленин декретом учредил, чтобы каждодневно печаталась для идейного просвещения крестьянского класса.

Катя забыла писать, не успевала схватить его быструю речь и глядела во все глаза на его осунувшееся лицо с запавшими, словно от болезни или горя, глазами.

- "Беднота" No 961, - читал председатель. - "...Люди питаются одной

только травой, мхом, опилками и древесной корой. Люди ослабли, падают. Товарищи более счастливых местностей, организуйте сборы для помощи голодающим братьям!"

"Беднота" No 974, - читал председатель. - "Особая Комиссия ВЦИК под руководством М. И. Калинина создана на борьбу с голодом.

Детей переселять в колонии урожайных губерний".

"Беднота" No 1002:

"Небывалое бедствие - голод. Идут из деревень люди, на вокзалах, на улицах городов лежат сотни. Питаются падалью. Нужна срочная помощь".

"Беднота" No 1007:

"Речь тов. Калинина ко всей России:

Необходима помощь и помощь. Не только помощь государства, но помощь всего народа, всех советских республик".

"Беднота" No 1028:

"Истощенные, землистого цвета личики. Живые покойники, дети, с огромными, вздутыми животами. Тонкими, как спички, ножками, иссиня-бледные".

"Беднота" No 1032:

"Товарищи хлебородных местностей и губерний, кровью спаянные братья крестьяне, мы к вам обращаемся. Дайте нам хлеба. Мы умираем голодной смертью на заре освобождения человечества от угнетения, рабства и тьмы".

"Беднота" No 1043:

"Речь Калинина на сессии ВЦИК.

Голодом захвачено 21 073 000 людей, из них 7 - 8 миллионов детей..."

Хватит, может? - резко прервал председатель. - В общем и целом положение ясное, и предложение одно. Наша большевистская партия к нам, к крестьянству, с просьбой. Помогите. Не чужим, своему брату, пахарю...

Молчание. Говорят, бывает мертвое молчание. Наверное, такое мертвое молчание воцарилось в Катинском классе.

Наконец одна, с лицом в мелких морщинках, с усталым взглядом, - не старуха, а вся бесцветная, тусклая:

- Сами сколько лет голодали! Только б оправиться чуть. Налог с крестьянского класса берут - даем. А что осталось, дак на каждый пудик своей нужды-то, нужды!

И со всех парт, где сидели сейчас мужики в полушубках и курили махорку, вперебой загудели голоса:

- Разверстку давай! Давали. Налог давай! Даем. Опять же мало, опять давай. А власти что? Вовсе, что ли, без нас никуда? Все мужик да мужик.

Все с мужика!

- Товарищи односельчане! - грозно, моляще и отчаянно сказал председатель. - Где наша пролетарская сущность? Классовое наше чутье где? Люди мрут. Восемь миллионов детей пухнут с голоду, как товарищ Калинин сказал. Есть у нас совесть?

И вдруг Катя увидела - и краска хлынула ей в лицо, и в груди защемило, - вдруг увидела Катя: баба-Кока, сидевшая среди баб возле печки на лавке, поднялась и направилась к двери. Мужики в дверях расступились. Ксения Васильевна была высока, прическа венцом выделяла ее среди иваньковских женщин, те покрывались платками, а она ходила простоволосая, не седая, с поднятой головой. Зато Катя втянула голову в плечи, дрожа: сейчас предсельсовета прогремит на весь сход: "Эх вы, чуждый класс!"

- Товарищи односельчане, иваньковцы! - сказал Петр Игнатьевич. Расписывать свои нуждишки не стану. Сами знаете. Жертвую голодающим три пуда муки. Пиши, Катерина Платоновна. Три пуда.

Тут как раз вернулась Ксения Васильевна. Она была спокойна и немного грустна.

- Уважаемый председатель сельсовета. У нас с Катериной Платоновной имущества тоже немного. Было, да прожили. Одно колечко осталось. - Она протянула ладонь с кольцом, рубин вспыхнул темной краской. - Кольцо золотое, и камень недешев. Примите от нас с Катериной Платоновной в помощь голодающим.

И отдала Петру Игнатьевичу свой драгоценный и памятный перстень.

Сила Мартыныч шагнул вперед из толпы.

- Жертвую голодающим братьям пять пуд ржи. Раскошеливайся, крестьянский народ, кто сколько в силах, давай!

- Пиши в протокол, Катерина Платоновна, - велел председатель.

27

Миновала неделя, другая, а Ксения Васильевна не приступала к обещанным урокам французского. Между тем отцова фантазия превратилась у Тайки в мечту. Тем более, что, как ни была она молчалива, проболталась, и скоро все знали Тайкин секрет и каждый день добивались:

- Когда же?

- Что за Франция? Где? Какие там люди? Либо черные, либо как мы? допрашивал Алеха Смородин.

Все - младшие, средние, старшие - требовали от Тайки ответа, и она с мольбой глядела на учительницу бабушку, а та вроде бы не замечала Тайкиных отчаянных взглядов. Однако договор с Силой Мартынычем



Ксения Васильевна помнила.

- Знаешь, Катя, думала я, думала и вот что надумала. С Тайкой заниматься французским не буду.

- Что такое? Какая причина?

- Педагогика, Катенька.

- При чем тут педагогика?

- Именно при том. Сила Мартынович тщеславен, дочку выделить хочет. Во всем сельце Иванькове Таисия Астахова особенная. Поняла?

- Баба-Кока! Что вы, что вы? Ведь обещали, и вдруг нате вам...

- Выход есть, да боюсь этот ваш... унаро... и не выговоришь... унаробраз, а мне дикобраз представляется, не хмурься... шучу. Как начальство посмотрит, одобрит ли?

- Какой же выход, скажите?

- Если учить не одну Тайку - всех, кто пожелает.

- Баба-Кока, гениальная мысль!

- Голову тебе за нее не намылят? Пригвоздят буржуазные пережитки. Капиталистическая держава. Антанта. Мало ли что!.. И в учебных программах про французский не сказано.

Впрочем, сказано или нет, неизвестно. Учебные программы до Иваньковской школы пока не дошли. Ни учебники, ни тетради, кроме той скудной стопки в классном шкафу, ни иные пособия. Иваньковская школа жила на свой страх и риск. И дополнительные занятия по французскому языку Ксения Васильевна и Катя начинали на свой страх и риск.

Знали бы в уездном отделе народного образования, с каким энтузиазмом все тридцать три Катиных ученика встретили "гениальную" мысль Ксении Васильевны!

Видимо, в ней тайно жил врожденный педагог. Ребята разинули рты, слушая ее рассказы о Франции, виденной своими глазами. Не о Булонском лесе, в аллеях которого разъезжают верхом изящные амазонки и кавалеры, не о парижских бульварах, Эйфелевой башне, соборе Нотр-Дам. Нет, о плоских, влажных лугах Нормандии, где тучные коровы с подглазьями, похожими на громадные очки, пасутся в одиночку за низенькими заборчиками, где поселки веселят глаз красными черепичными крышами, а море в часы отлива далеко уходит от берегов, оставляя на илистом дне ракушки с устрицами, которые крестьяне собирают в корзины и везут в Париж продавать господам.

Рассказ был вступлением, своего рода подходом к главной цели: научиться говорить по-французски. Писать не на чем, читать - нет учебников. Будем беседовать.

Для начала иваньковские ученики узнали два слова, два прекрасных французских слова, надежных и верных, с ними не пропадешь, если бы вдруг на сказочном ковре-самолете перенесся во Францию.

- Бонжур, камарад! Здравствуй, товарищ!

Не думайте, что во Франции каждый встречный - товарищ, но среди рабочих уж наверняка отыщется советскому человеку камарад. И не один.

Ребята узнали на первом занятии и другие слова, а особенно запомнили эти. Орала во все горло, расходясь по домам:

- Бонжур, камарад! Здравствуй, товарищ!

Авдотья бросила подметать класс, вышла с метлой на крыльцо поглядеть вслед ученикам, довольно мыча, и было видно, как мило ей все происходящее в школе.

- Ну что, Катя? - спросила Ксения Васильевна.

- Баба-Кока, отлично!

- Выдумываешь?

- Честное слово, клянусь!

Они условились: Катя весь урок простоит за дверью в сенях, чтобы потом обсудить каждую мелочь, все промахи. Ведь было однажды, что баба-Кока случайно услышала, как тянут Катины младшие нараспев: "Мы-а, мы-а", - словно дьячки на всенощной. Подказала учительнице: не так учишь.

Катя в уроке Ксении Васильевны не заметила промахов. Идеальный урок! Она восхищалась, пока Ксения Васильевна не остановила:

- Довольно, пожалуй. Хвали, да знай меру. - И с нечаянной грустью: А пропустила я что-то важное в жизни.

Еще недавно Катя могла не понять. Теперь поняла.

- У вас широкая натура, баба-Кока! Вы всегда любили кого-то, а вам мало одной любви, вам все люди интересны, вам хочется что-то делать и значить. Я тоже хочу: делать и значить.

- Верно, Катя. У тебя новая жизнь. И у меня рядом с тобой все по-новому. И никогда мы больше не будем прятаться от жизни за монастырской оградой.

Они проговорили бы долго, но Ксения Васильевна вспомнила:

- А пора тебе, Катя, идти. Иди-ка.

Наступил ранний декабрьский вечер. Просторная иваньковская улица вела в поле, а дальше дорога, утыканная вешками, в лес. Солнце опустилось за лес, и над темной грядой разлилась полоса нежно-изумрудного цвета, а над ней еще полоса, малиновая, очертила синеющий купол, в котором, отражая закат, толпились сиреневые, голубые, зеленые

облака. Небо пылало. В одну секунду облако с золотыми краями, подернувшись пеплом, утекало, как дым, и на месте его вспыхивал фантастический желтый цветок. И вдруг алая стрела пронзала густеющую синеву, и выплывали розовые лодки, летели розовые лебеди...

- Что же это? Что же это? - шептала Катя, пораженная сказочным, нереальным каким-то закатом, неистовым празднеством цвета. Волшебство длилось, пока она шла вдоль села на самый край, к Нине Ивановне.

Изба вдовы учителя по соседству с Силой Мартынычем была так же изукрашена кружевными наличниками. (Все Иваньково славилось искусством деревянной резьбы.) Но бедность и неухоженность встретили Катю уже на ступеньках крыльца. Видно, хозяйка нечаянно плеснет, неся от колодца на коромысле ведра, вода замерзает раз от разу, руки не доходят скалывать лед.

После пламенеющих красок закатного неба Катя на минуту ослепла, войдя в темную избу. А когда пригляделась, узнала знакомую обстановку. Половину избы занимала русская печь с чугунами на шестке и обычной утварью в углу ухватами, глиняным ручкомойником, деревянной лоханью.

Две русые головенки свешивались с печи, напоминая знаменитую картину "Военный совет в Филях", там тоже свешивается с печки любопытная головенка, правда, одна.

Нина Ивановна катала на столе вальком на скалке белье.

- Здравствуйте. Проходите.

Переждала, пока Катя пройдет на лавку, молча возобновила работу.

И Катя молчала. Как неуютно! Скрытная, хмурая женщина. Катя не решалась сказать, что привело ее к вдове учителя.

Наконец Нина Ивановна оставила валеков. Села на лавку по другую сторону стола против Кати и неласково:

- Ждала, раньше придете. Три месяца учите.

Сердце сжалось у Кати. Конечно, она должна была прийти раньше. Бездушная! На чье ты место приехала?

- Простите, Нина Ивановна.

- Меня по батюшке один Сила Мартыныч величает, и то при гостях, усмехнулась Нина Ивановна. - В девках Нинкой звали, нынче под старость теткой Ниной зовут.

- Какая же старость! Вы усталая очень. Вам трудно одной.

- Нелегко.

- Сила Мартынович помогает? - несмело полуспрашивала Катя, чтобы что-то сказать, и, вспоминая, как они с бабой-Коккой были у него в гостях и Нина Ивановна принесла пустую кринку и сразу ушла, а он побежал за ней

вдогонку с ломтями пирога. - Сила Мартыныч - хороший человек?

- Для вас, видать, хорош, - усмехнулась Нина Ивановна. Спыхватилась:  
- А для меня и вовсе. За что мне на него обижаться? Меня сама жизнь обидела. Хуже злой мачехи моя жизнь! Скрылась бы на край света, они не пускают.

Она кивнула на печку, откуда свешивались две русые головенки и две пары серых глаз пытливо и серьезно глядели на Катю.

- Про мужа моего Сила Мартыныч ничего вам не сказывал? настороженно, показалось Кате, спросила Нина Ивановна.

- Нам, еще когда сюда ехали, председатель сельсовета говорил, что ваш муж добровольцем ушел на войну.

- Добровольцем, э-эх! - вздохом вырвалось у Нины Ивановны. - Все Москва. Послали от уезда в столицу на курсы внешкольного образования. Зачем оно ему, внешкольное? Знай свою школу. Ан нет. А в Москве агитация. Тогда, летом девятнадцатого, Деникин наступал. Сам Ленин агитирует: все на борьбу с Деникиным! Зажигает людей. И мой загорелся. Зачем бы ему? У него глаза слабые, белобилетник... Шлет мне в письме: "Настали грозные дни, решается судьба революции". Знаем, слышали, не глухие в Иванькове, да ведь без тебя бы решили, тебе тридцать восьмой, неужто помоложе мужиков на войну не найдется? Ушел. И не свиделись больше. Из Москвы, прямо с курсов, ушел на Деникина... А потом-то!.. - вскрикнула Нина Ивановна, упала на стол головой и забилась, завывала по-бабьи, истошно.

- Нина Ивановна, милая, успокойтесь, - пугаясь и жалея ее, лепетала Катя.

Та умолкла, подняла голову, огляделась странным, потухшим взглядом.

- Нина Ивановна, у вас страшное горе, ничем не утешить, только одно, что он герой, ваш муж, вы им гордитесь, и мы гордимся...

Она произносила слова, какие обычно говорят в подобных случаях, и сама понимала, что повторяет сто раз уже слышанное Ниной Ивановной и оттого не действующее. И оттого, наверное, Нина Ивановна холодно оборвала ее утешения:

- Вы за делом пришли или так?

Катя вспыхнула. Вдова учителя не принимала ее сострадания. Вдове учителя досталась жестокая доля, но даже мама, скрытная, одинокая Катина мама, обожавшая Васю, не говорила ему: "Уклонись от войны".

А вдова учителя... Но не буду, не буду судить!

Закат догорел. В избе совсем потемнело. Кате смутно виделось через стол измученное лицо с черными провалами глаз.

- Ежели дело... - повторила Нина Ивановна.

- Я... мы с бабой-Кокой хотели вас навестить, и я думала... и моя бабушка Ксения Васильевна... хотели... может быть, у Тихона Андреевича остались книги?

- Книжником был, - угрюмо отозвалась она.

Нащупала в стенном шкафчике спички, засветила коптилку и, прикрывая ладонью крохотную дымящую струйку огня, вывела Катю в холодные сени и отгороженный от сеней дощатой перегородкой чулан.

И там Катя увидела чудо: книжную полку, тесно набитую книгами. Без переплетов, на дешевой бумаге, без иллюстраций, с мелким, убористым шрифтом - приложения к журналу "Нива". Сочинения Мамина-Сибиряка, Короленко, Толстого, Кнута Гамсуна... Кто такой Кнут Гамсун?

Катя взяла тоненькую книжку в бумажной обертке: "Пан", "Виктория".

Катя жадно набирала книги. Хватала подряд. Руки дрожали от жадности. Вдруг Нина Ивановна оборвет: "Хватит, лишку заграбастала, хватит!"

Кнут Гамсун, Ибсен, Достоевский... А это для учеников: "Дети подземелья" Короленко...

Радость, радость!

Нина Ивановна без слов стояла рядом, прикрывая огонек коптилки ладонью. За ее спиной чулан тонул в темноте. Катя бегло увидела деревянный ларь и прислоненные к стене грабли и вилы, кучу сена в углу.

- До свидания. Спасибо, большое спасибо! - простилась Катя и понесла домой нежданно свалившееся сокровище, о котором не смела мечтать; шла, не чуя ног, в предвкушении блаженства и счастья многих-многих вечеров.

Жизнь озарялась новым светом. Ничего больше Катя пока не желала от жизни.

28

Часов нет. Катя не знала, сколько было времени, когда ночью дочитала "Пана" Гамсуна. Странная, чарующая повесть. Странная любовь. Чарующая и жестокая. Зачем они мучают друг друга, Эдварда и лейтенант Глан? Безумно ведут поединок. Вот она кинулась в его объятья и целует, не таясь людей, глаза у нее горят, а у него сердце словно полно темным вином. Он ее любит, каждый кустик вереска любит для нее в летнем лесу, где ночью распускаются крупные белые цветы, потому что ведь на севере Норвегии летом нет ночи.

А потом сумасшедшая гордость овладевает Эдвардой, откуда-то из глубины дико поднимается в ней, и вместо нежных слов она бросает

оскорбления в лицо лейтенанту Глану. И они ненавидят друг друга. И любят. И опять ненавидят. Казнятся своей мучительной любовью. Зачем? Катя не знала о такой любви. Исстрадалась над книгой. Прочитала и принялась читать снова с первой страницы. И снова страдала. Еще сильнее, потому что уже любила и жалела этих несчастных людей, которые не умели стать счастливыми.

Полгода в руках ее не было книги. И вдруг такая мука и такое блаженство!

Коптилка чадила, Катя задула коптилку. В окно светилось звездное небо. Семь мерцающих бриллиантов Большой Медведицы слали зеленоватые лучи в Катину прокопченную комнату. Кружилась голова. Катя отворила форточку, вдохнула морозного воздуха. Горестную и страстную жизнь она прожила в эту ночь, дыша гарью коптилки, наслаждаясь и плача.

Назавтра она проспала. Баба-Кока пожалела, не разбудила. Светлое небо, без следа вчерашних курчавых облаков, кипящих разноцветием радуги, говорило, что на дворе позднее утро.

Катя услышала на кухне голоса. Бабы-Коки и чей-то мужской. Должно быть, зашел Петр Игнатьевич. Как неловко! Ребята, наверное, давно дожидаются в классе, а учительница спит себе.

Она оделась, вышла на кухню. И в изумлении остановилась. Незнакомый молодой человек сидел за их обеденным непокрытым столом.

- А вот и учительница, Катерина Платоновна! - оживленно представила баба-Кока. - Зовите попросту Катей. Да, Катя? Вы, правда, постарше. Годика двадцать три? А нам недавно семнадцать. Катя, знакомься, гость из Москвы. Арсений. По батюшке как?

- Не надо по отчеству, я не привык.

Арсений поднялся и, не протягивая руки, наклонил голову. Темная прядь опустилась на лоб у виска. Худое лицо, озаренное лихорадочным блеском глаз, запавших от худобы. Скулы резко выдавались углами. Он был прям, высок и красив. Сердце громко застучало у Кати, так непонятно и неожиданно появился у них этот красивый молодой человек, возможно, похожий на лейтенанта Глана.

- Катя, до чего же ты прокоптилась, - рассмеялась баба-Кока. - Читала полночи. Проснись, гляжу: читает. Иди отмывайся скорее, нос-то черный совсем!

Она могла бы не подчеркивать вслух Катин прокопченный нос и не смеяться. Чему она смеется? Но Ксения Васильевна не догадывалась, что рассердила Катю.

- Ученики ждут давно, задай им самостоятельное что-нибудь, - весело

сказала она, когда Катя умылась из рукомойника за перегородкой у печки, докрасна растерев холщовым полотенцем лицо. - Не каждый день у нас гость из Москвы, да и суббота сегодня, не грех разок и повольничать, - такой легкомысленный совет дала Кате Ксения Васильевна.

Катя отнесла в класс добытую вчера у Нины Ивановны книжечку "Дети подземелья". Хотелось самой прочитать ее детям, но надо чем-то занять их сейчас, раз уж так получилось.

- Федя Мамаев, ты будешь читать вслух, а вы все внимательно слушайте и запоминайте, - велела она младшим, средним и старшим.

И оставила своих образцово-послушных учеников под надзор Феди Мамаева и, когда вернулась к московскому гостю, услышала прерывистый и частый стук сердца, оно встревоженно колотилось в груди и ухало вниз.

Давно, в Заборье, так замирало и падало сердце, когда на качелях взлетишь высоко, ветер свистит в ушах и земля то уходит из-под ног, то мчится навстречу.

- Послушай, как он у нас появился, - оживленно говорила Ксения Васильевна. - Расскажите, Арсений, сначала поешьте, а потом расскажите, ну прямо сказочный сюжет из "Царя Берендея".

На шестке, между двумя кирпичами, как обычно утром, разведен был костерик из березовых чурок, и Ксения Васильевна уже вскипятила чугунок кипятку, заварила морковного чаю, поджарила на сковородке свиных шкварок.

- Ешьте, не стесняйтесь, Арсений! - с веселым радушием угощала Ксения Васильевна.

Видно, он изголодался до крайности и, как ни краснел от смущения, с жадностью ел душистые, фыркающие горячими брызгами шкварки, не промолвив слова, пока не подобрал дочиста растопленное сало со сковороды хлебной коркой. И тогда, сытый, согретый, заговорил, блестя глазами:

- Вы, конечно, догадываетесь, зачем я здесь очутился? Приехал менять. Дома мама, сестренка, глядеть на них - жалость, ну и поехал. Сошел на случайном разъезде. Поезд остановился, я и сошел. Надо где-нибудь. До рассвета далеко. Почти ночь. Серенько, сумрачно. Рассвета дожидаться не стал, иду, не зная куда. Засветлело, выкатился огромный рубиновый круг. Солнце. Падай на колени, так царственно! А какая у вас в селе просторная улица, как широко! Над избами из труб дымки. И женщины с коромыслами идут к колодцам. А снег сначала подсиненный, а потом солнце рассыпало искры, и снег весь засверкал. Желтые полушубки на женщинах, у некоторых цветные платки. Кустодиев! Живой Кустодиев!

И вдруг... посреди села школа. И вдруг вижу, арка у крыльца. Березка в инее, изогнулась белой дугой. Никакая фантазия не сочинит. Только природа способна сотворить такое чудо! Я понял: сюда, под эту арку, мне и надо войти, и здесь я встречу... И встретил вас. Катю и вас.

Он умолк и с улыбкой глядел на Ксению Васильевну. У него добрая улыбка. Представьте, что-то ребяческое открылось в лице, что-то милое, доброе.

- Ксения Васильевна, - продолжал он приподнято, - если бы надо угадать, кем вы были, пока судьба не забросила в этот далекий угол, я, не колеблясь, ответил бы - актрисой. И вот оставили сцену и славу и живете здесь, полная достоинства и воспоминаний.

- Каково?! - краснея от удовольствия, сказала Ксения Васильевна. Значит, что-то еще сохранилось в старухе. Но никакой во мне нет актрисы. Мечтала, да не сбылось. Дара божьего не отпущено. А вы фантазер.

Арсений перевел взгляд на Катю с той же улыбкой и какой-то сквозь улыбку серьезной пытливостью.

- Что обо мне нафантазируете? - спросила Катя.

- Вы нестеровская девушка. Тихий свет в лице, кроткий, неземной, задумчивый взгляд. Будто обрекла себя на скит.

- Нет, уж от скитов увольте! - возразила Ксения Васильевна. - Это уж несуразности вы понесли, нам не скиты, а жизнь подавай. Кстати, Арсений, а вы кто такой?

Он смутился, неуверенно ответил:

- Художник... - И поправился: - В будущем. Сейчас студент ВХУТЕМАСа.

- Мудрёно, - покачала головой Ксения Васильевна. - Переведите на русский.

- Полностью: Высшие художественно-технические мастерские, в Москве, на Мясницкой. У нас во ВХУТЕМАСе несколько факультетов. Я на живописном. Самые разные направления, непрерывные споры, борьба. Импрессионисты, кубисты... Но, я признаюсь, меня тянет к реалистической школе, хотя это и не очень модно сейчас.

- Что не гонитесь за модой, хвалю, - милостиво одобрила Ксения Васильевна.

Кате тоже понравилось, что он не очень уверенно говорит о себе. Ведь мог бы хвалиться вовсю. Ведь они здесь, в Иванькове, понятия не имеют о кубистах, импрессионистах и вхутемасовских спорах.

- А вот и Авдотьюшка наша! - объявила Ксения Васильевна.

Авдотья вошла, замычала что-то, понятное только Ксении Васильевне.



Они свободно между собою изъяснялись. Авдотья постоянно старалась услужить Ксении Васильевне: натаскает дров, наколет лучины, а баба-Кока разрешала школьной сторожихе пошить на своей швейной машине.

- Московский художник к нам приехал, - сказала Ксения Васильевна. Дома голодные сестренка и мать. Собрали разную одежду, немного новой материи, им в Москве материю по талонам дают, в обрез, а кой-что достается все же. Авдотьюшка, поводи его по дворам, муки наменять. Если маслом или салом кто расщедрится, тоже нелишне.

Арсений вскочил, просительно приложив руки к груди.

- Пожалуйста! У меня еще соли пять фунтов.

- Мы-ы, гум-гым, - с охотой согласилась Авдотья.

Они взяли привезенные Арсением узлы.

- Ни пуха ни пера! - пожелала Ксения Васильевна, а Катя молча ушла в класс.

"Нестеровская девушка. Тихий свет, тихий взор. Не знаю, кто Нестеров. Как я невежественна! Ничего не знаю. И кустодиевских картин не видала. Вдруг он догадается, как я невежественна?" - думала Катя, прохаживаясь по классу и слушая и не слыша громкое чтение Феди Мамаева.

Вчера, позабыв обо всем над романом Эдварды и Глана, она не подготовилась к урокам и не знала, чем, кроме Короленко, занять учеников.

Время бесконечно тянулось. Долго, скучно. Если бы всегда она чувствовала себя так на уроках, ожидая скорее конца, какой пыткой была бы ее работа в школе!

Но сердце у нее металось и билось, и кровь то прихлынет к щекам, то упадет. Ученики с удивлением наблюдали за ней. Учительница сегодня была на себя не похожа, временами совсем забывала о них, и тогда они начинали "жать масло" и даже свалили с парты на пол Алеху Смородина. Но и это она не заметила. Или не обратила внимания.

Арсений с Авдотьей вернулись в сумерки.

- Полная удача! - ликовал Арсений. - Поздравляйте, выменял все до нитки с помощью тети Авдотьюшки. Спасибо, Авдотьюшка! Mamочка и не мечтает, сколько я всего раздобыл! - радовался он, сваливая с плеч на скамью мешок пуда на два муки, котомку с крупой и что-то еще, что Ксения Васильевна принялась с любопытством разглядывать, оценивать, взвешивать на руке под одобрительное мычание Авдотьи.

Все было празднично сегодня. Баба-Кока закатила на обед похлебку из баранины и оладьи с подсолнечным маслом. Возбужденный морозом, удачной меной, гостеприимством Ксении Васильевны и немым интересом

и удивлением Кати, Арсений разговорился. Он уже не стеснялся и свободно чувствовал себя в Ивановской школе, вернее, в школьной кухне, за чисто отскобленным, непокрытым столом, где они после обеда пили морковный чай при свете лучины, что тоже забавляло Арсения. А главное, они так благодарно слушали его рассказы, Ксения Васильевна и Катя, особенно Катя, с ее тихим, все разгоравшимся светом в глазах. Он читал стихи.

Черный вечер.

Белый снег.

Ветер, ветер,

На ногах не стоит человек...

Катя слушала с тревогой и затаенным дыханием.

Катя не знала, что в Москве есть театр Мейерхольда. Что за театр? Политический, буффонадный, последнее слово революционного искусства! И Арсению, представьте, иногда удается бесплатно доставать контрамарки. Подрисует что-нибудь для театра. Хотя Мейерхольд отвергает декорации, вместо декораций простейшие геометрические фигуры, эффект поразительный! Но иногда и для Мейерхольда понадобится нарисовать кое-что.

А дальше-Катя и Ксения Васильевна узнали, что в Москве есть еще театр импровизаций. А это что? Это вовсе уже небывалое. Представьте, выходит на сцену актер и... фантазирует роль. Вам нужно сыграть страсть! Захватить зрителей, потрясти! Как бы вы сыграли любовь? Не подсказанную - свою, ту, что чувствуете?

Катя, пораженная свалившимися на нее новостями, не отрывала глаз от Арсения, удивлялась, восхищалась и... трудно пересказать, что она чувствовала. Он пришел из другого мира. Почему-то она ощущала себя сейчас маленькой, жалкой. Нет, она не хочет быть жалкой! Его появление всю ее перевернуло. Она не знает, что с ней.

Отгоревший конец лучины отвалился в лоханку с водой и, шипя, погас. Ксения Васильевна зажгла от догорающей лучины новую, сменила в светце. Огонек то вскидывался, то упал, так бывало всегда, но сегодня игра огня и теней казалась Кате таинственной, фантастичной.

Ксения Васильевна выслушала рассказ Арсения, недоверчиво покачала головой.

- Чудите вы с театром, голубчик. В прежние времена актер назубок выучит роль, а без суфлерской будки сама великая Ермолова на сцену не выйдет. Как это? Изображай, что бог на душу положит. А если ничего не положит?

- Или еще, - улыбнувшись ее замечаниям и пропустив мимо ушей,

продолжал Арсений, все больше воодушевляясь, - иной раз наша братия, вхутемасовцы, нагрянем к поэтам, в их клуб на Тверской "Стойло Пегаса". А там что! Имажинисты, кубисты, футуристы, ничевоки... Ксения Васильевна! Я потому рассказываю, что, вижу, вам и Кате любопытно, мне потому и делиться хочется... Конечно, бегло рассказываю, поверхностно. А вот слушайте, один поэт: "Иду. В траве звенит мой посох. В лицо махает шаль зари". Я за одну эту фразу памятник поэту поставил бы!

Давно был поздний вечер. От лучины в кухне стало жарко и дымно, щипало глаза. Ксения Васильевна устала. Поднялась, опустив плечи, непривычно ссутулившись.

- Устала. Художник меня нынче до света поднял. Слышу, кто-то топчется в кухне. Авдотья впустила. Пришла в класс печку топить, а он в дверь заиндевелый, промерзший. Из Москвы... Ах, Москва! Соскучилась я по тебе, разбередил душу художник... Вот и чеховские мотивы явились, а они нам ни к чему. Не уйдет от нас Москва, Катерина. И в "Стойле Пегаса" побываем, если продержится. Новости ведь не всегда долговечны. Мудрено что-то: "...в лицо махает шаль зари". Ну, ладно. Да, Катюша, покажись-ка, верно ли нестеровская девушка? - Она ласково запустила руку в Катину волнистую гриву, чуть запрокинула голову, поглядела в глаза. - Нет, художник, она сама по себе. В ней и тишина есть, и буря. И ничуть ты у меня, Катя, не робкая. И в обители скрываться от мира больше мы с тобой не хотим. Ну, пойдем, что ли, Катя? Спать пора, ночь.

- Ксения Васильевна, мы еще поговорим, разрешите! Катя, я еще хотел вам рассказать... Разрешите, Ксения Васильевна! - взмолился Арсений.

- Коли так, разговаривайте. Не часто к нам из Москвы гость. Впервые.

- Прелесть твоя бабушка! - с чувством сказал Арсений, когда Ксения Васильевна ушла. - А ты, Катя... - Он перешел с ней на "ты" и взял ее руку.

- Кажется, я давно знал, что встречу тебя. Кажется, даже эту белую арку перед крыльцом видел во сне. Катя, почему ты молчишь? Расскажи о себе.

- У меня обыкновенная жизнь, такая обыкновенная, что и сказать нечего, - ответила Катя. - А у вас...

Он произнес твердо:

- У меня одна цель. Одна, навсегда. Искусство. Никто не уведет меня от искусства.

- Кому уводить? Зачем?

- Ах, все полно противоречий, конфликтов! Миллионы голодных, люди полсуток стоят в очередях, добыл две воблы - и весь твой недельный паек, а на Петровке пооткрывались частные магазины, лавчонки, нэпманские жирные дамы в драгоценностях - откуда взялось? Хочешь, нанимайся

писать с них портреты.

- Не хотите?

- Разве только сатиру.

Лучина догорела и свалилась в лохань.

- Не будем зажигать, посидим в темноте, - сказал Арсений.

Но в кухне было светло от луны. Яркая, медно-желтая, она таинственно висела в высоком небе, окруженная морозным сиянием.

Арсений за руку подвел Катю к окну. В лунном свете лицо ее было бледно. Затененные ресницами большие глаза не мигали. Страх и робкая нежность глядели из Катиных глаз.

- Я тебя нарисовал бы такую. Всю осиянную...

29

Луна поднялась высоко. Обогнула полнеба. Лучи ее лились теперь не в кухонное, а в три маленьких оконца Катиной комнаты. Светлые пятна четко рисовались на стене. Сползали ниже. Легли на пол. Угасли.

Туча накрыла луну и звезды.

Закричали петухи. Школа стояла посреди широкой улицы, вдали от изб, но петухи так громко голосили и перекликались во дворах, что долетало до Кати.

Она лежала с открытыми глазами. Скоро утро.

Странное творилось с ней. Вчерашний день звенел и сверкал. Какой-то ликующий вихрь налетел, и Катя видела тоненькие деревца с тревожными, несущимися по ветру ветвями.

Нет, это ей представляется увиденная когда-то картина. Она ясно видит те узкие, тонкие деревца с летящими макушками, слышит шум листьев.

Она не запомнила, кто нарисовал ту картину. Теперь будет запоминать художников. А! Не в том дело. Катя помнила вчерашний поцелуй у кухонного окна под лунным лучом, будто сейчас на губах. Томящее, влекущее, страшное... Зачем она вырвалась и убежала? Ведь она хотела, чтобы он ее целовал. Она радовалась и любила его. Она любила его с первого взгляда.

Какой он? Странно, образ его словно задернут дымкой, но она знала: ничто теперь ей не важно, ничто не нужно, ничего нет. Только он! Только он!

Вот что с ней. Вот что такое любовь!

Любовь - это печальная радость. Разве бывает печальная радость? "Я счастлива. Но почему же я счастлива, восторг на душе, а грудь давит тяжесть? Нет, я ничего не боюсь. Я люблю его".

В нескольких шагах, у противоположной стены заскрипела кровать бабы-Коки. Проржавевшая кровать скрипит при каждом движении, будто постанывает. Катя услышала: баба-Кока протяжно вздохнула.

- Спишь? - услышала Катя.

Затаилась. Не хотелось отзываться. Отчего-то встреча с Арсением немного отдалила от нее бабу-Коку. Что-то между ними легло. Поцелуй у окна? Память о той острой, несмелой, радостной нежности?

- Спишь, Катя? - снова услышала она. - Ну, спи. - Баба-Кока повернулась к стене, проржавевшая кровать стонала и скрипела, пока она укладывалась удобнее на сеннике. - Ну, спи.

Катя глядела в темноту широко открытыми глазами. Он живет другой жизнью. Катя не знала, что жизнь может быть такой яркой и пестрой. Катя Золушка возле его талантливой жизни. Она Золушка, но к Золушке приходит счастье. К ней пришло счастье.

За окном начиналось серое, затянутое плотными тучами утро. В кухне что-то стукнуло, будто упало. Арсений спал на деревянной лежанке у печки, должно быть, это он неловко спрыгнул. Слышно: шагает. Зачем он так рано поднялся?

В потемках чуть занимавшегося утра Катя нашла платье, чулки, тихо оделась, чтобы не разбудить бабу-Коку. На цыпочках скользнула в кухню, чувствуя сама свою легкость, словно в ней совсем не было весу. Чувствуя вчерашнее сладкое и пугающее замирание сердца.

Арсений стоял, наклонившись над лавкой, спиной к ней. Возился со своими пожитками. Мешок с мукой он перевязал бечевкой. Вчера Авдотья дала Арсению эту бечевку, прочно свитую из пеньки, как выют у них в Иванькове пастуший кнут. Когда мешок перевяжешь посередине бечевкой, легче нести. Котомка с крупой и другими продуктами была тоже увязана. Его куртка из рыжего жеребьячьего меха брошена возле котомки, она так идет ему, эта куртка!

Катя прислонилась к двери. Ужасная слабость подкосила ее.

Он быстро обернулся, словно почувствовал на себе Катин взгляд. Кате показался испуг в его лице. На мгновение. Такое короткое, что, может быть, и не было никакого испуга.

Он шагнул к ней, взял ее руки и, крепко сжимая, говорил мягко и ласково, как говорят маленькой девочке, когда хотят в чем-то утешить:

- Славная, славная Катя...

- Вам надо поесть перед дорогой, - помертвевшими губами вымолвила Катя. "Неужели он мог уйти, не простившись?" - эта мысль ударила ее. - Вам надо перед дорогой...

- Спасибо, разве только что-нибудь скоренько, боюсь опоздать, поезда ходят неточно, и с билетами не знаю как.

Она поставила на стол кринку молока, нарезала хлеба. Он ел торопливо и, кивая на дверь в комнату, остерегал шепотом:

- Не разбудить бы Ксению Васильевну. Передай, что я глубоко кланяюсь ей.

Катя надела пальто из мягкого плюша - остаток роскоши, бывший сак бабы-Коки, - влезла в валенки. Арсений, в куртке из жеребьячьего меха и шапке-ушанке, вскинул мешок на плечо, взял котомку. В этой куртке он похож на Амундсена. Да, наверное, Амундсен был таким, высоким, мужественным... Или лейтенант Глан. Может быть, лейтенант Глан. Но она не Эдварда. Она не сказала ему ни одного жестокого слова.

- Прощай, милый дом, - с чувством говорил Арсений, - никогда не забуду тебя, твою Катю и бабушку, твою белую арку у входа.

Арка посерела, как все в это серое утро. Ветер стряхнул иней и трепал голые ветви.

Острый ветер кидал в лицо скользкую снежную пыль.

Косыми длинными струями неслась поперек дороги поземка.

- Будто и не было вчерашнего дня, рубинового солнца и снежных искр, сказал Арсений, опуская уши шапки. - Нет, был, был! - воскликнул он, взглянув на Катю.

Наверное, она была сейчас дурна. Унылость портила ее и дурнила. Она не умела казаться веселой, когда ей плохо. Другие умеют, а она нет. На лице у нее так прямо и написано: "Мне плохо, безнадежно, все погасло".

- Никогда не забудется этот день! - благодарно сказал Арсений. - А теперь простимся, Катя. Я быстро пойду.

- Я тоже пойду быстро.

Встречный мужик - Катя не знала его, возможно, отец кого-нибудь из учеников - снял шапку, здороваясь.

- Тебя уважают, - заметил Арсений. - Ты чудесная, вся - долг, вся для людей, тебя уважают!

Он говорил ей "ты". Она набиралась сил, чтобы сказать: "Я тебя люблю. Я все готова для тебя".

Но слова застревали в горле. Горло сжималось так больно, словно на шее у нее затянули петлю. Она молчала.

Они миновали сельцо, миновали крайнюю, с затейливыми наличниками избу Силы Мартыныча.

В открытом поле ветер накинудся злее и круче. Теперь уже все поле дымилось поземкой, рябило в глазах от бегущих поперек и вкось дороги

снежных юрких, извилистых змеек.

- Надо же, чтобы именно сегодня эта вьюга! - с досадой сказал Арсений. - А, ничего, - ободрил он себя. - До разъезда верст десять двенадцать, не знаешь?

- Кажется, десять.

- Зачем ты идешь, устанешь, - проговорил он. И, снова взглянув ей в лицо, с поспешной лаской: - Спасибо тебе. Был сказочный вечер. Приеду домой, расскажу сестренке и маме и тут же тебе напишу.

- Да? - неожиданно всхлипнула Катя.

Она тронула рукав его жеребьячьей куртки. Она хотела сама поцеловать его, сама, здесь, среди вьюжного поля, когда губы с трудом шевелились от мороза и ветра, а на бровях выросли белые полосы снега.

"Я тебя люблю".

Но позади, почти за спиной, раздался тот особенный звук, знакомый только деревне, хрупанье селезенки, когда лошадь трусит. И скрип саней. И бодрый голос с хрипотцой:

- Катерина Платоновна-а!

Сила Мартыныч догонял их в розвальнях, запряженных гнедой кобылой с заиндевелой мордой и плешинами снега на толстых боках.

- Катерина Платоновна, куда в непогодь?

Сила Мартыныч, поравнявшись с ними, остановил гнедую.

Им пришлось потесниться от саней, почти по колено в снег.

- Гостя, видать, провожаете? - усмехнулся он, пристально и непонятно как-то вглядываясь в Арсения. - Знакомы. Вчерась баба моя наменяла ситцу у вашего гостя. До разъезда шагаете? Далеконько по вьюге. Чужого не взял бы, а Катерины Платоновны гостя как не уважить? Садитесь. Мне на разъезд. Подвезу.

- Неужели? - заорал Арсений. - Вот так удача! Неслыханно!

Бросил в розвальни мешок и котомку и сам бросился с размаху, плашмя, в сено, ловко перекинув ноги через грядку саней.

- Что же вы? Не простимшись? - удивленно, с укором сказал Сила Мартыныч.

- Всю дорогу прощались. Прощай, Катя! Ксении Васильевне привет! радостно закричал Арсений, не опомнясь от нежданной удачи.

Он хотел вскарабкаться повыше на сено, прикрывавшее какой-то груз, но Сила Мартыныч остановил его:

- Сбочку прикорните, меньше продует.

Щелкнул вожжами, гнедая рывком дернула розвальни и резво побежала, хрупая селезенкой и откидывая из-под копыт снежные комья.

Катя стояла без слез, без мыслей, не понимая. Все произошло слишком быстро. Вынырнула из вьюги лошадиная морда и исчезла.

Сани удалялись. Дальше, дальше. Вот уже смутно видно сквозь пургу темное пятно.

А вот и не видно.

Катя закоченела. Назад идти тяжелее, ветер в лицо.

Небо, поле, снежная мгла - все смешалось, клубилось, слепило...

...Он кинулся в сани, счастливый, что повезло. Ему повезло.

Он даже скрывать не хотел своей радости. Что скрывать? Разве он ее обманул? Разве он что-нибудь обещал? Разве он ей сказал: люблю?

На улице Катя не встретила никого. Слава богу, из-за вьюги все сидят по домам. К тому же сегодня воскресенье.

Она еле тащила ноги. Еле тащила, каждая по пуду. Не обморозить бы нос. Ресницы потяжелели и слипались от снега.

На крыльце намело сугроб. Она с трудом отворила входную дверь и из сеней пошла не направо, в кухню и комнату, а налево, в класс. Надо немного побыть одной. "Никого не хочу видеть. Ни с кем не хочу говорить".

Холодно в классе. По воскресеньям Авдотья не топит; холодно, мрачно, но Кате надо побыть немного одной.

Она села за свой учительский столик, положила локти на стол, голова бессильно упала на локти. Всю эту ночь она не спала ни минуты. А прошлую ночь читала "Пана". Мучительная, чарующая повесть.

Глаза закрылись. Она уснула внезапно, как провалилась в яму. Проснулась Катя через несколько часов в страшной тоске. Класс выстыл, дыхание слетало изо рта белым паром. Катю трясло от холода. За окнами, в мутной мгле, несло все вкось и вкось мелким колючим снегом.

Вдруг ужас пронзил Катю. Что-то злое, черное непоправимо обрушилось на нее.

Медленно, очень медленно, боясь идти, она пошла в кухню. В кухне, всегда теплой и уютной, сегодня нетоплено. Кринка из-под молока неубранная стоит на столе.

Катя постояла у двери в комнату. Отворила. Да, случилось то, что она уже знала и чувствовала, когда проснулась в невыносимой тоске.

Баба-Кока лежала на кровати, лицом к стене, накрытая с головой одеялом, в той позе, как утром ее оставила Катя, выйдя на цыпочках, чтобы не разбудить.

30

Бесшумно синели сумерки на дворе. Уроки на сегодняшний день



кончены. Ученики разошлись по домам. В комнате топилась голландская печь. Жарко потрескивали березовые поленья, стреляли угольками. Катя сидела у печки одна. На полу, обхватив колени, как раньше часто сидела в прошлые сумерки. Только теперь одна...

Правда, ее мало оставляли в одиночестве. В первый же вечер после похорон притопал Федя Мамаев с товарищем.

- Председатель прислал домовничать. Да мы и сами.

- Бон-жур, ка-ма-рад! - старательно, по слогам выговорил Федин товарищ и захлопал ресницами, не зная, в точку ли попал с камарадом.

- Тетенька Авдотья просилась, а председатель нам велел. Она понять-то поймет, да не ответит. А с нами поразговаривать можно.

Они изо всех сил старались отвлекать от горя свою учительницу Катерину Платоновну. Как бы она была без них? Пропала бы Катя без них.

Ученики по очереди приходили к ней вдвоем ночевать и укладывались валетом на скрипучей кровати Ксении Васильевны.

А топила голландскую печку Катя одна. Сидела у печки, ворошила угли кочережкой и думала.

Все знали, учительница шибко горюет о бабушке. А другое? Никто не знал о другом. Если бы одно это горе? Если бы одно это горе, внезапное, такое отчаянное, что хочется головой биться о стену!

Раскаяние, стыд рвали на части Катино сердце. Никто не знал, что в ту ночь, когда ее красивая бабушка, с прической венцом и горделивой осанкой, когда баба-Кока окликнула ее перед смертью, Катя не отозвалась. Притворилась, что спит. И если бы Арсений в то вьюжное утро, когда она его провожала, позвал... Стыд. Горе и стыд.

Нет! Этого не было. Не могло быть. Пусть бы он упал перед ней, прямо в снег и обнимал ее ноги в валенках, молил, клялся в любви и говорил необыкновенные слова, какие говорят только в книгах, разве могла она забыть бабушку? Кинуть? Люди, я гляжу вам в глаза, гляжу вам прямо в глаза, не стыжусь, не было этого...

Катя сидела у печки, обхватив колени, тихо покачиваясь из стороны в сторону, мыча, как Авдотья, сквозь зубы.

Огонь плясал и ярился, сухие поленья дружно сгорали, скоро груды раскаленных углей плавилась, как металл, дыша в лицо жгучим жаром.

В дверь постучали. Она не ответила. Петр Игнатьевич вошел, не дождавшись ответа. Скинул полушубок, бросил у двери. Пахнуло овчиной, махоркой и морозной свежестью улицы. Петр Игнатьевич переставил от стола к печке стул, сел. Помолчал.

- Плачь не плачь, а жить надо, Катерина Платоновна.

- Живу. А зачем?

- Не дури, Катерина Платоновна.

Она подняла на него тусклый взгляд.

- Петр Игнатьевич, один раз я проснулась, а баба-Кока... Ксения Васильевна печку топит. Утром. Мы утром в комнате никогда не топили. Нет, она что-то сжигает, а я не остановила, не обратила внимания... Не спросила, а она... - Катя всхлипнула, проглотила плач, - она письма сжигала и шкатулку. У нее шкатулка была с тройкой коней, она в ней письма хранила. И сожгла. А потом говорит: "Наверное, скоро умру". И меня утешает: "Нет-нет, не скоро..." А я не догадалась ни о чем...

Петр Игнатьевич опустил руку Кате на плечо. Худое, тонкое плечо утонуло в его жесткой ладони.

- Твоя бабушка с ясной душой век прожила. Ты при ней была все равно что у Христа за пазухой. Тьфу, понятие старорежимное, не выкинешь никак из башки! Иначе скажем. От Ксении Васильевны всяк ума нахватается. Бывало, придешь... А, да что вспоминать! Большая беда, Катерина Платоновна, на тебя навалилась. А ты одолей, не то она тебя одолеет. А тебе жить надо.

- Как я перед ней виновата! - отчаянным шепотом выговорила Катя.

- Живой перед мертвым завсегда виноват. Что сделал не так, поглядел не так, после-то во сто раз виноватит.

- Я не могу вам рассказать, Петр Игнатьевич...

- И не надо. Я не поп, передо мной исповедоваться. А ты себя не грызи, помучилась и утихни. Ты то пойми, что народу нужна. Школе без тебя нельзя, тем и держись. Детишки малые сердцем к тебе прилепились. Мой Алеха намеднись простыл, кашель привязался, так мать насилу удержала на печке. Пойду да пойду в школу, стих станем заучивать. Вон какую ты им открываешь культуру! Ты у нас на селе первая культурная сила. Были две, осталась одна. На тебя вся надежда. А ты нашего иваньковского общества надежду не на все сто оправдываешь. Долг за тобой. Вправе требовать. Что брови вскинула? Обижаясь? Обижайся, а слушай. Совесть у тебя, Катерина Платоновна, есть, а боевитости мало. Мало, говорю, боевитости, революционного духа, что на геройство толкает. Девушки в твоих годах, случалось, против беляков воевали. Сам видал. Из винтовки бабахнет, а ее стволом в плечо толк, назад инда качнет, а она опять же стреляет. Где твой героизм, Катерина Платоновна?

- Чего вы хотите от меня? - удивленно, даже гневно спросила Катя.

- Барышня, - насмешливо сощурился он, - чуть тронь, и губки надула. Чего хочю? Хочю, чтобы выше мечтала, чтобы в нашем сельце Иванькове

темноту одолеть и новую жизнь наладить. Мне в укоме прохода не дают: где ваш ликбез? Лениным со всей строгостью декрет о ликбезе подписан, а вы спите в Иванькове. Спим, отвечаю, до времени спим, учительница наша молода, приобькнет, объясняю, новую предьявим обязанность. Так вот, Катерина Платоновна, приказ о ликбезе тут у меня. - Он похлопал по карману гимнастерки. - Прописано в нем, чтоб немедля всех неграмотных грамоте обучать, в самом срочном порядке. У нас в Иванькове бабы все до единой неграмотные. Мужики еще кой-как кумекают азбуку, а бабы ни в зуб... От чугулки в десяти верстах, а будто на краю света живем, темнотища. Чей стыд? Недоработка чья? Ну-ка подымайся, учительница!

Он протянул ей руку и легко, как пушинку, поднял с пола. Исхудавшая и бледная, она, поникнув, стояла перед ним, и такое глубокое горе, такую прибитость увидел он в ее лице, что от жалости крикнул. И погладил ее темноволосую бедную голову. Плечи у Кати затряслись. Он ласково гладил ее волнистые спутанные волосы.

- Выплачешься - полегчает.

Потом осторожно отстранился. Войдет ненароком кто, ославят девчонку. У нас языки чесать любят, особенно бабы.

- Буду вести ликбез, - сквозь слезы сказала Катя.

- А еще подскажу я тебе, Катерина Платоновна, по уезду слышно, в иных школах для культурного развития сельской молодежи драмкружки завели.

- Заведу драмкружок.

- А еще, Катерина Платоновна, комсомольскую ячейку надо нам обдумать. То дело сурьезное. О том особый пойдет разговор.

Вечером Авдотья заправила лампу керосином, зажгла в классе над учительским столиком.

Катя дожидалась за столиком, перелистывая новенькие, присланные с Авдотьей председателем сельсовета буквари для ликбеза. Выдали в городе. Тонкие, тетрадного формата, на газетной бумаге. "Мы не рабы".

Женщины входили одна за другой. Мужчины не шли. Немного их в сельце, а кто есть, хоть по слогам газету осилит.

Женщины входили, неловко рассаживались, с трудом втискиваясь за парты. Прикрывали концами полушалка рты, пряча стыдливый смешок.

- Имя? Фамилия? Возраст? - спрашивала каждую Катя строго, стараясь таким образом замаскировать стеснительность, отчего даже пот выступил на лбу.

- Имя? Фамилия? - записывала Катя в тетрадь.

Запись эта еще более смущала и пугала иваньковских женщин.

- На кой нам грамота? Корову подоим и без грамоты, была бы корова, сердито проговорила одна.

- Елизавета Мамаева, - записала ее Катя в тетрадку.

Феди Мамаева мать. Он-то способный. У него быстрый ум. Как он однажды посадил Катю в лужу, ай-ай!

- Нипочем не пошли бы, силком согнал председатель, - подхватила другая.

А третья дерзко, озорно:

- Бабоньки, на кой нам ему подчиняться? Чай, не старое время. Не захочем - и баста.

Третью Катя помнит, помнит отлично!

Случилось это в первый месяц их приезда в Иваньково. Тогда Петр Игнатьевич частенько забегал в школу, посоветовать что-то, поспрашивать, в чем нужда, но больше порассуждать с Ксенией Васильевной.

Присядет на корточки перед печкой, курит махорку, пуская дым в горящую печь, и разговаривает с бабой-Кокой. Они любили обсуждать вопросы политики. Петр Игнатьевич толковал декреты за подписью Ленина, новые советские законы и суровую жизнь страны, рисовавшуюся в газете "Беднота" открыто и страстно. Ксении Васильевне нравилось, что открыто и страстно. Не таила "Беднота", что миллионами мрут в Поволжье от голода, что в иных губерниях бандиты грабят и убивают мирных людей. И контрреволюционные мятежи еще не всюду прикончены. А большевистская партия рушит зло, бандитизм, контрреволюцию, и будет рушить, и добьется полной победы. И народ ведет за собой.

Когда Петр Игнатьевич, вытащив из кармана газету, рассказывал или читал о бурных событиях жизни, глаза у него сверкали и грудь высоко поднималась - таким азартным и революционным человеком был иваньковский председатель. И вот один раз настужь распахнулась дверь, и дородная, складная женщина, с черными угольными бровями и румянцем, будто накрашенным свеклой, вихрем ворвалась в комнату.

- Вон ты где, соколик мой! Сказался, в сельсовет, а сам в школу. Незадаром уши мне прожужжали: последи за своим, к учителке шастает. А ты... я те дам чужих мужиков завлекать!

Она подперла кулаками бока и в упор, разъяренно уставилась на Катю.

Катя чувствовала, что краснеет ужасно, постыдно, губы вздрагивают, а слов нет.

Но почему-то председателя жена опустила кулаки. Перевела взгляд на Ксению Васильевну, снова уставилась на Катю, по-иному, недоуменно.

Петр Игнатьевич швырнул в печь сигарку. Встал с белым, как бумага,

лицом.

- Бешеная! Спроси сына Алеху, каковы они люди.

- Петруха, сама вижу, - растерянно пробормотала она, - зря натрепали.

Та стара, а эта... по лицу вижу...

И умчалась вихрем, как ворвалась.

- Извиняйте, - хмуро буркнул председатель.

- Э, Петр Игнатьевич, чего не бывает! Только святых не бывает, спокойно ответила Ксения Васильевна.

Некоторое время он не ходил в школу. Потом позабылось.

Вот она, та самая, "бешеная", Варвара Смородина, с угольными бровями и свекольным румянцем, призывает бунтовать против ликбеза.

- Не захочем - и баста. Кто нам прикажет? Чай, не царский режим.

- Ежели сама председателева хозяйка против высказывает, нам и бог велел. Айда по домам! - позвал чей-то решительный голос.

- И вправду. Председателю перед начальством ответ держать, а нам что?

- Гляди, Варвара, будет тебе от мужа, что наперекор власти мутишь, остерег кто-то.

- Мой ответ, а вы как знаете, слушайтесь.

Но настроение было сломлено, женщины не желали слушаться.

Некоторые уже собрались уходить.

Положение создавалось критическое. Если сейчас разойдутся, после трижды, четырежды, в десять раз труднее будет собрать! И потом, самое главное, что скажут завтра Катины ученики - младшие, средние, старшие? "Не послушались наши мамки учительницу, значит, не больно-то стоит".

Когда что-то по-настоящему опасное угрожает тебе, стеснительность как ветром сметет. Капельки пота мгновенно просохли у Кати на лбу. Она не стеснялась, не робела. Знала одно: надо спасти положение.

- Товарищи женщины, поднимите руки, у кого дети учатся в школе, сказала она строгим учительским голосом.

Новое требование озадачило женщин. Могли бы привыкнуть: на сельских сходах то и дело приходилось голосовать "за" или "против".

Тем не менее озадачило.

Варвара Смородина первой вытянула руку.

- Мой Алеха в младшие ходит.

- А мой в третьих, - сказала Елизавета Мамаева.

Еще поднялось несколько рук.

- Что же вы делаете, товарищи матери? - укоризненно проговорила учительница. - Авторитет мой хотите сорвать? Разве ваши дети меня

слушаться будут, если вы не послушались?

Это было так неожиданно. И убедительно.

- Катерина Платоновна, пристыдила, - ахнула и созналась Варвара Смородина. - Молода, а с головой. Согласны, учи.

- Бабы, и вправду нам не худа желают. Жизнь-то новая, привыкать надо.

И начался мирный, довольно будничный урок. Другая на Катином месте, вероятно, прочитала бы зажигающую агитационную лекцию, но Катя истратила на выяснение отношений весь душевный заряд и потому без лишних слов приступила прямо к делу. Малышам Катя называла по одной новой букве в урок, а здесь назвала сразу несколько. Можно сказать, обрушила на бабы, не привыкшие к отвлеченным понятиям головы кучу премудростей. Алфавит, гласные и согласные, звуки и буквы, и слоги, и даже знаки препинания. Все было выложено залпом, подряд. Ошеломленные слушательницы только вздыхали.

Но первое, сообщая прочитанное, как и Катиными младшими, слово было: "мама".

- Вы прочитайте. Вы прочитайте, - заставляла она.

Они читали. Лица светлели.

Не знала Катя методик. Никто не учил ее, как надо учить. А вот жила в ней догадка. Сердце, что ли, подсказывало? И бабы глядели на нее жалостливо, а значит, полюбили ее.

Была она тоненькой, слабенькой, длинноногой, усердной, так, видно, ей хотелось научить их грамоте, что иваньковские женщины, и раньше учительницу не ругавшие, теперь вовсе растрогались. Недавно бабушку проводила на кладбище. Срок пришел бабке, никого не минует, а девушку жаль. Сирота. Говорят, ни отца ни матери, ни кола ни двора.

Разговор после урока возник сам собой. Были среди женщин вдовы. У кого полегли на войне, у кого вернулись калеками.

Редкую избу обошло горе.

И они делились с учительницей пережитым в лихие военные годы. Да и нынче не сладко.

- Ты нам своя стала, иваньковская, к детишкам нашим со всем сердцем и к народу уважительная, да еще могилка на погосте сроднила.

- Бабоньки! - сказала Варвара Смородина, у которой свекольный румянец расплылся так горячо, что казалось: тронь - обожжешься. - Бабоньки, споем, что ли? Учительница на посиделки не ходит, скромна ты лишку, Катерина Платоновна. И песен наших не знаешь.

- Для веселья не случай, - возразили ей.

- А мы не веселое, что душа просит.  
Все затихли, и голос, глубокий и низкий, печально завел:  
Счастье мое, счастье,  
Где ты запропало?  
Или мое счастье  
В воду камнем пало?  
В воду камнем пало...

31

Записку принесла Авдотья в класс во время занятий.

"Катерина Платоновна, отпуская учеников. Собираю сход. Вопрос важный. Готовься вести протокол.

Председатель Петр Смородин".

Странно. Почему председатель собирает сход не вечером, как обычно, а сейчас? Почему снова ей, Кате, поручается вести протокол?

Впрочем, второе понятно. Втягивает в общественную жизнь, отвлекает от мучительных мыслей. Хороший человек Петр Игнатьевич.

Последнее время Катя редко встречала его. Зато часто стала прибегать Варвара, жена. В дела сельсовета она мало вникала. Говорила о доме, ребятишках, разных сельских новостях. И сокрушалась, что сохнет ее Петруша от дум.

- Жил бы обнаковенным мужиком, как до войны. Бывалоча, бедность та же, а заботы не те, плечи не гнут. Веселая была наша жизнь молодая! Выйдем на полосу. Я в лаптях, он в лаптях, а нам все нипочем, все на радость. Косой махнет, я инда сноп вязать кину, не нагляжусь, ненаглядный ты мой! Он меня бешеной-то за что прозывает? За любовь. Ревнива я от любви, нрав у меня беспокойный.

Люди собирались на сход. Ученики еще не все разошлись, а класс уже набился битком. Парт не хватало. Принесли лавки из кухни, два стула и табуретку из комнаты учительницы.

На табуретку села секретарствовать Катя, а на стулья перед учительским столиком - Петр Игнатьевич и приезжий человек, не старый, но с длинными, серыми от седины усами, высокий, худой, в красноармейской гимнастерке, с револьверной кобурой на ремне.

- Начальство, - перешептывались в классе.

Петр Игнатьевич представил:

- Член уездного ревтрибунала.

По толпе прошел недоуменный шумок. И утих. Напряженная тишина воцарилась в классе. Понятно, не каждый день увидишь члена ревтрибунала на сельском сходе. В сельце Иванькове такого еще не

случалось.

Прямо перед собой, в первом ряду, не на парте, в которую по грузности едва ли мог втиснуться, а на поставленном стойком нерасколоте полене-кругляше увидела Катя Силу Мартыныча. Учительский столик был мал, потому, должно быть, места в президиуме ему не хватило.

"Наверное, обижен, что снова меня назначили секретарем, - мелькнуло у Кати. - Неужели Петр Игнатьевич не понимает, что не надо так, не надо. Не хочу я, чтобы меня так вовлекали в общественную жизнь!"

Член ревтрибунала заговорил глухим, простуженным голосом, не грозным, а каким-то невеселым, усталым:

- Товарищи крестьяне, вы знаете нашу нужду. Нашу общую с вами нужду, всего советского народа горе. Двадцать один миллион человек с лишним на краю могилы от голода. Погибают восемь миллионов детишек. Зерно, что по налогу собрали, посылаем первоочередно в голодные губернии на семена. Весна не за горами, чем сеять? Не посеешь - и будущий год обречен на голод. Бережем зерно на посев. Оттого не хватает прокормить голодающих. И рабочие в городах опять же остаются на нищем пайке. Товарищи крестьяне, каждый пуд, что вы сдаете государству в виде налога, есть чья-то спасенная жизнь.

Некоторое время было молчание. Не перешептывались, не толкались локтями поделиться мнением. Молчали.

Вдруг Варвара Смородина в полной тишине кинула вызывающе громкий вопрос:

- И чтой-то вы, товарищ ревтрибунал, агитацию понапрасну ведете? Наше сельцо не отсталое. По первому призыву сполна сдали налог. Чего еще от нас требуется?

Румянец ее до темноты погустел, а Петр Игнатьевич, краем глаза увидела Катя, стал бледен и подавленно тих.

Выступление Варвары, словно болт о железную доску, когда скликают на сход, раскачало примолкшее общество.

Невзрачный мужик с жиденькой бородкой, в худом полушубке, шлепая шапкой в такт словам по колену, отчеканивал:

- Учителю дай. Больнице дай. Голодающим дай. Откуда мужику взять-то? Вы обдумали это?

И другой, древний старик, опираясь на клюку жилистыми руками, темно-коричневыми, как дубовые осенние листья, неторопливо заговорил:

- Без крестьянского классу ни чье, ни наше государство не выдюжит. Мы сознаем. Мы не против своей власти помочь. Да только лишку нас



жмут, норуют кишки до последнего вытянуть. Сверх налога соберешь - еще подавай. Снова дашь - опять же нехватка. Когда довольно-то будет? У нас полсельца бескоровные, самим бы маленько подняться... Ладно, еще одно слово скажу да и кончу. Вы, начальники, сами-то много голодающим жертвуете?

Представитель уездного ревтрибунала не вскипел от таких дерзких речей и, хотя на щеках нервно заходили желваки, ответил выдержанно:

- Мы не сеем, не жнем. Отдаем, что имеем. Дни и ночи имеем, их и даем, кто настоящий коммунист, не примазавшийся. А как у вас, в сельце Иванькове, дела обстоят, расскажет председатель сельсовета Петр Игнатьевич Смородин.

Катя строчила, строчила протокол и старалась в то же время не только слышать, но и видеть. Увидела, Петр Игнатьевич угрюм и недобр. Если бы Катя всегда его знала таким, боялась бы такого председателя, непреклонного, жесткого, с плечами уж слишком прямыми, грудью уж слишком вперед.

- Дело так обстоит, что позабыл, как ночью спят. Отощал от заботы, штаны падают.

- Ты про свои галифе помолчи, о деле давай, - бросили из толпы.

- Скажу о деле. До последней точки, товарищи односельчане, выложу правду. Пока до сути дознался, отбарывался. В укоме из меня душу трясут, а я не сдаюсь. Потому - доказательств в руках не имею. Нынче нашел. Виноват, товарищи. Каюсь. Не углядел вовремя, хотя состою на посту председателя. Вор есть среди нас, бесстыжий утаитель крестьянских пашен, эксплуататор и классовый враг.

Председатель выговорил эти страшные слова и умолк. Все подавленно ждали, что скажет дальше. Он не говорил. Тогда с разных парт, в несколько голосов, разом потребовали:

- Кто вор? Называй.

- Он! - пальцем указал председатель на Силу Мартыныча.

- А-ах! - прокатилось по толпе.

Катя опустила карандаш. Не могла дальше вести протокол. Действие начало развиваться с драматической скоростью, Катя всем своим существом в нем участвовала, забыв, что должна вести протокол.

Ни черточки не дрогнуло на щекастом, обложенном широкой бородой лице Силы Мартыныча, не отхлынула кровь.

- Страшен сон, да милостив бог, - выговорил с незлобивой улыбкой.

- Не скажу про бога, а пролетарский суд к расхитителям народного достояния не милостив. Да еще в такое-то время, когда люди гибнут...

- Понапрасну не распайся, товарищ председатель.

- Я тебе не товарищ.

- Рано отказываешься. Как бы за облыжное показание отвечать не пришлось.

- Отвечу, да не за то. Что проморгал классового врага, за это отвечу. В восемнадцатом году такую шкуру, как ты, без замедления бы к стенке! все страшнее, бледнее и задыхаясь, прокричал Петр Игнатьевич.

Представитель ревтрибунала тронул его руку, судорожно вцепившуюся в край стола:

- Стоп, товарищ Смородин.

Председатель оторвал от стола руку, растопыренной пятерней расчесал волосы, перевел дыхание и отрывисто приказал:

- Нина Ивановна, выходи.

С изумлением и трепетом Катя увидела: вдова учителя поднялась с парты и тихими шагами вышла на середину класса. Долги показались Кате эти шаги. И такой скорбный вид у нее, в черном платке, с черными провалами глаз.

- Нина Ивановна, говори без утайки.

- Товарищи, мужики и бабы иваньковские, преступница я перед вами и перед Советской властью.

Какой жалкий у нее голос, дрожащий и жалкий. Все, пораженные, ждали. Вытягивали шеи, боясь не услышать. Сила Мартыныч окаменел, обратив на вдову учителя тяжелый, неподвижный взгляд.

- Муж мой, учитель Тихон Андреевич, в девятнадцатом году ушел на Деникина, знаете. После Деникина послали на Врангеля. Врангеля рушили, пора бы домой. Петр Смородин с фронта тогда возвратился. И другие мужики, кто уцелел. А моего нету. По своей охоте или по приказу на Дальний Восток подался. Через него и узнала, что есть такой, Дальний Восток. Раньше-то и не слыхивала. Год скоро, как Тихон Андреич сгинул. Нет слуха...

Она оборвала речь и поникла, низко нагнула голову, пряча лицо.

- Дальше говори, - приказал председатель.

- Не могу я.

- Говори.

Блеклым голосом она продолжала:

- Сила Мартыныч в сельсовете, лошадный, в город то и дело ездит, про мужа узнал... - Вдова опять прервала рассказ, и снова все ждали без звука. - К бесякам на Дальнем Востоке Тихон ушел. Хуже дезертира, говорит, твой Тихон, изменник советскому обществу. Теперь, говорит, красноармейский

паяк с тебя снимут, а то и вышлют в холодные места с ребятишками. Я в ноги: Сила Мартыныч, что хошь с меня требуй, только народу не сказывай! Тогда и закабалил. Батрачила на него. Только молчи, детей моих не позорь. А дальше - хуже. Раз по-соседски приволок ночью три мешка ржи. Велит спрятать в чулане. А зачем, не сказал. Так и пошло. Ночью притащит, в другую ночь отвезет. Мешков тридцать сплавил. Куда? Откуда? Не знаю. Сначала-то не догадывалась. Потом поняла. Да запер он мне рот на замок. Пригрозил: скажешь слово - изменниками всю семью объявлю. А ребятишкам годков-то: старшему шесть, меньшому четвертый.

- Хватит, - остановил председатель. - Астахов, ты отвечай. Встань. Стоя отвечай народу.

- Вроде не на суде мы, вставать-то. Заначальствовался, Петр Игнатьич. Много на себя берешь, - невозмутимо, со смешком ответил тот.

Но встал. Плечистый, крепкий, с окладистой бородой, волосы на концах завиваются кольцами - богатырь!

- Отвечай.

- Врет она. С первого до последнего врет. Про учителя, правда, в городе слушок мутный поймал, да неохоч я до сплетен. И ей по-соседски советую: мол, пока казенного извещения нет, поддержи язык за зубами. Спасибо, соседушка, хорошо ты мне за доброту отплатила. Рожь я ей таскал! Да откуда я столько ржи наберусь, посудите!

- А это, товарищи, я объясню, - быстро заговорил председатель. Объясню досконально. Слушайте, как было. В семнадцатом, после земельного декрета, землемеры наши пашни измерили. А он, Сила Астахов, когда мы его в сельсовет избрали, а я, дурак безмозглый, всю бухгалтерию на него без контроля свалил, он подложных справок для земотдела настряпал. Неразбериха там, в земотделе, запутались они в первый-то год с новым налогом, не вдруг разберешься, а как разобрались, зачесали затылки: недостает в сельце Иванькове пашен, провалились сквозь землю. Вот ведь как, братцы, бывает: пропали засеянные десятины, и все. Значит, и налога с них нет. Так и записали в земотделе, что нет. А он, бывший товарищ Сила Астахов, хлебный налог с каждой десятины до пуда собрал, только заместо земотдела к Нине Ивановне в чулан, да постепенно к дружку на разъезд. А тот дальше.

- Опять же врешь, - не теряя спокойствия и уже не стоя, а снова опустившись на полено-кругляш, поглаживая бороду, проговорил Сила Мартыныч. - Поперек горла я тебе, председатель. Сожрать задумал. Кто видел спрятанный хлеб?

- Кто же увидит? Ты, Сила Мартыныч, приказывал никого в мой чулан

не допускать, а ворованный хлеб там лежал, - тихо ответила Нина Ивановна.

- Наговорить всяко можно. Облыгатели испокон веку велись, и в наше, хоша и новое, время хватает их, облыгателей, - как бы с самим собой рассуждал Сила Мартыныч, задумчиво оглаживая широкую бороду. - Да и то сказать, сам сплоховал, не молчать бы тогда про Тихона. Бабу пожалел, а она со страху по подсказке нынче на меня небылицу несет, вишь, дрожмя дрожит, как овца под ножницами.

Внезапно, как всегда неудержимо и бурно, вскипела Варвара Смородина:

- Нинка! Нина Иванна, и где твоя совесть, любовь твоя где? Оговорил злодей мужа... Товарищи бабы, а тем более мужики, ослепли мы, не замечаем, как Сила Астахов со дня на день богатеет. С чего богатеть? Невдомек. А ты, Нина Иванна, сразу и поверила, что муж к белякам ушел? Сразу и земные поклоны бить. И-эх! Где твоя любовь, Нина Иванна? Да я бы про своего... Кто бы что ни брехал, глаза выцарапаю, потому знаю, мой мужик честный, мой мужик не продаст...

- Варвара, молчи! - грохнул кулаком по столу Петр Игнатьевич. - Ты зачем мне акафист поешь? Обо мне разговор? Завела про любовь! Молчи, время знай.

В классе поднялось хихиканье, шум, и представитель ревтрибунала постучал пальцем по столу, призывая к порядку.

- Без свидетеля не докажете. Свидетеля нет, - уже совсем успокоенный неуместным взрывом Варвары Смородиной сказал Сила Мартыныч.

И вдруг... вдруг Катю обожгло: Катя вспомнила книжную полку в чулане, хилый огонек коптилки, который Нина Ивановна загораживала ладонью, чтобы не погас от дыхания, а за ее спиной в темноте прислоненные к стене вилы и грабли и ворох сена в углу, прикрывавший что-то. Она бегло все это увидела. "Зачем сено в чулане?" - мелькнуло тогда, но не задержалось. Занята была книгами. Раздобыла кипу книг, негаданное счастье...

Так вот, оказывается, зачем там было сено.

- Я свидетель. Я видела.

Волнуясь, спеша, Катя рассказала, как и зачем попала в темный чулан Нины Ивановны и что там увидела.

- Мешки видела?

- Мешки?

Катя потерянно взглянула на председателя. И он глядел на нее с нетерпением, страстным ожиданием во взгляде, но молчал и ни кивком, ни

движением ресниц ничего не подсказывал.

- Мешков не видела, - упавшим голосом ответила Катя. И виновато: - Не знаю. Наверное, там были мешки.

Вздых разочарования услышала она в душном классе.

Сила Мартыныч презрительно хмыкнул:

- Наверное?! Надежных свидетелей насобирает председатель! Идите, граждане, проверяйте, кто хочет, есть ли у соседки в чулане мешки.

- Нет, - тихо ответила Нина Ивановна. - Ты их утром в воскресенье на разъезд увез. Ночью в сани нагрузил, сеном прикрыл, а утром увез. Еще метель тогда поднялась.

- Что-то не помню. Путаешь, Нина Ивановна. Вроде никуда не ездил я в воскресенье.

Тогда уверенно, громко крикнула Катя:

- Ездили. Я видела. Знаю.

Радуюсь, что теперь-то она безошибочно его уличит, этого плечистого, сильного и чужого человека с желтым взглядом. Она не замечала раньше, что у него желтый взгляд. Тяжелый, безжалостный.

- Что ты будешь делать, и тут учительница наша в свидетелях, - развел руками Сила Мартыныч. - Скажи, какая быстрая! Да усердная. Все норовит в пользу властям доказать. - Он задумался, будто вспоминая. И вспомнил: - А ведь и вправду, Катерина Платоновна, было. Догнал вас в поле, точно не скажу, в воскресенье ли или в другой какой день.

- В воскресенье.

Тут вмешался представитель ревтрибунала:

- Катерина Платоновна, почему вы уверены, что именно в воскресенье встретили Астахова в поле, вернее, он вас догнал?

- Помню, была метель, сильная вьюга. И еще...

- Вот, вот, вот! - со злобным смешком подхватил Сила Мартыныч. Тот и есть, что еще... Эх ты, девка, не соблюдаешь себя, а ведь учителка все-таки, или, как нынче называется, шкраб. Правильно. Еду в воскресенье к свату в Дерюжкино, за разъездом пять верст. По семейной надобности еду, оттого и воскресный день выбрал, в будни недосуг. А метель - глаза слепнут. Вижу, учителка топает, парня провожает. Ну, я парня подвез до разъезда. Сам оттуда в Дерюжкино, к свату.

- Скажите, Катерина Платоновна, - деликатно и мягко обратился представитель ревтрибунала, - нам важно знать, кого и куда вы провожали?

- Эва, кого! - воскликнул Сила Мартыныч, поворачиваясь на своем кругляше к народу и ища и, может быть, уже находя в ком-то поддержку. Кого? Тайка моя несмышленьш, и та догадается. Ночевал у ней парень, вот

что. А сам мешочник. Целый день шнырял по селу.

- Катерина Платоновна, как зовут вашего знакомого? - снова мягко спросил представитель ревтрибунала.

- Арсений, - сказала она. И... ужаснулась. А дальше?

- Арсений, - записал в книжечку товарищ из ревтрибунала. - А дальше? Отчество, фамилия, адрес. Мы его в сутки разыщем. Это важно, Катерина Платоновна. Не мог же он не заметить, что везет Астахов в санях. Итак, Арсений. А дальше?

- Не знаю, - почти беззвучно ответила Катя.

- Как не знаете? - удивился он.

- Не знаю.

Погибла Катя! Никогда, никогда не подняться ей в глазах иваньковского народа. В ее классе, ее школе сошлись отцы и матери ребятишек, которых Катя учит и любит, и вот... Что они будут думать о ней? Как им объяснить? Раньше она шла улицей - и встречный крестьянин снимал шапку и низко кланялся. А теперь?

- Вот ваши свидетели! - уже грозил и наступал Сила Мартыныч. - Кого, председатель, против меня выставляешь? Всем ведомо, учителька по твоей дудке пляшет. А за что? За то, что частенько в школу захаживаешь, да все под вечерок норовишь...

- Ух, гадина, контра! - во весь голос завопила Варвара Смородина. Куда повернул! Нет, контра, учительницу позорить не дам. Мужика моего не пристегивай, он передо мной чист, как свеча, а что до парня... так в ту пору еще бабушка живая была, когда они парня бедного из жалости переночевать на печку пустили...

- Бабушку вспомнила, - ехидно ухмыльнулся Астахов. - Не на пользу себе бабушку вспомнила, гражданка Варвара Смородина.

Варвара опешила:

- Чего? О чем ты?

- Где кольцо? - резко повернулся на кругляше лицом к председателю Сила Мартыныч.

- Какое кольцо?

- Ага, побелел? Ты, Смородин, меня в землю живым сообразил закопать, ан нет, не вышло. А я тебя покрывать не намерен. По справедливости желаю вывести на свежую воду. Товарищи крестьяне, помните сбор на голодающих был, тута, в классе? Бабушка Ксения Васильевна при всем народе в пользу голодных кольцо отдала. Золотое, с драгоценным камнем, чай, недешево стоит. Где оно?

- С ума своротил, Астахов, - до растерянности удивился Петр

Игнатъевич.

- Покамест при полном уме. Где кольцо?

- Да я ж тебе расписку вручил, что вскоре же после того собрания кольцо в комиссию в городе сдал.

- Не вручал ты мне расписки, Петр Смородин, а кольцо как в карман себе положил, так там и осталось.

Петр Смородин вскочил, схватился за грудь, рванув рубашку, несколько секунд стоял без слов с диким, блуждающим взглядом. Шатаясь, шагнул из-за стола. Прохрипел:

- Убью. На месте прикончу.

- Прекратить! - поднимаясь и держа руку на револьверной кобуре, чеканно приказал человек из ревтрибунала. - Прекратить самоуправство, председатель Смородин.

Смородин вернулся на место, повалился на стул, запустил в волосы обе пятерни и затряс головой, и лицо его позеленело, перекошилось, стало некрасиво и жалко от бессильного гнева.

- Товарищи! - говорил представитель уездного ревтрибунала. - С пропавшими пашнями и утаенным налогом разберемся. И с кольцом разберемся, уж, наверное, копия квитанции на сданное кольцо в комиссии есть. Невиновные, будьте спокойны. Виновных накажем. Революционный пролетарский суд без пощады накажет за каждый украденный у голодного населения пуд. Учительницу просим: простите, Катерина Платоновна, что дали негодяю в нашем присутствии вас оскорбить.

...В этот вечер Силу Мартыныча увезли в город.

Лучины и копилки, а где и керосиновые лампы долго не гасли в этот вечер в сельце.

32

Рано будит мартовское солнце, а еще раньше, задолго до солнца, разбудит предзоревый ясный мартовский свет. День долгий, весь светлый, прозрачный. С крыши над школьным крыльцом свисают ледяные сосульки едва не по аршину длиной. К полудню начнется капель. Дождем польет на крыльцо, потекут лужи, и Авдотья, недовольно мыча, будет сгонять метлой со ступеней воду, не слыша, как капли звенят. Звенят? Или кажется Кате?

А сейчас на березовую арку, что у крыльца, слетелись снегири. Здравствуйте, снегири с пушистыми красными грудками! Обычно вы прилетаете студеной зимой, когда деревья трещат от мороза и обледенелые ветви кустов ломки, словно стеклянные. Помните, вы прилетали под наши окна в келейном корпусе? Легко, грациозно рассаживались на сирени! Как мы радовались вам! Здравствуйте, милые снегири! Что-то поздно вы

прилетели. Или проститься перед отлетом на север, зимние птички? Над нашей речухой уже дымится желтое облако просыпающихся почек ольхи. Красные прутья вербы выпустили бархатные белые лапки. А как суматошно кудахчут куры во дворе, совсем посходили с ума! Петухи взлетают на прясла, хлопают крыльями себя по бокам и горланят на все село, хвалясь молодечеством. Да, ничего не скажешь, весна...

Катя отвела глаза от окна и снегирей на березовой арке и вернулась к "Книге для чтения" К. Д. Ушинского. Год первый.

Бывает, что важные открытия приходят не сразу. От скольких блужданий и ошибок была бы она спасена, если бы в самом начале открыла разумность трех книжек Ушинского. Год первый. Второй. Третий.

Обложки серые, бедненькие. А под ними богатство. Если бы сразу поняла, как понимает сейчас: простота, искренность, жизнь - это Ушинский!

Просто расскажет о простом, что вокруг себя, в школе и дома, в огороде, в лесу. Просто о сложном - путешествии воды, кораблях, поездах, воздушном шаре. Даже грамматику умеет объяснить занимательно!

Правда, на одной из первых страниц крупным шрифтом сообщалось: "У бога милости много" - и дальше порядочно встречалось поучений в таком же духе, но Катя научилась обходить подводные рифы. Умное, энергичное, с пронзительными глазами лицо глядело на нее с сереньких книжных обложек. Ободряло. Ушинский вводил ее за руку в класс. Кате стало увереннее с ним. Не такая уж никудышная она учительница. Возможно, ее призвание и талант как раз в том и есть, чтобы быть учительницей. Во всяком случае, Катя любила своих младших, средних и старших. Не вообще учеников и всех на свете детей, а именно своих, курносых, белобрых, беззубых, веснушчатых, своих собственных, с которыми проводила почти все время.

Когда дни стали длиннее, Катя завела новый порядок. Теперь она учила в две смены. До обеда - младших. После обеда - средних и старших. Два вечера в неделю ликбез. На драмкружок пока не отважилась, но и без драмкружка работки хватало - часов-то ведь нет, что утром, что вечером часы шли не считанные. А вечерами при дымном огоньке коптилки читала приложения к "Ниве" из чулана Нины Ивановны.

Необычный гвалт стоял в классе. Примерные Катины ученики, которые даже в отсутствие учительницы вели себя негромко, не колошматили друг дружку, а если, сбившись на длинной парте, принимались "жать масло", так и то без особого шума, сейчас галдели, как грачи в весенних гнездах. Катя прислушалась у двери.



- Дон! Дон! Дон! Третий звонок. Чугунка отправляется в город Москву. Уф-ух! Уф-ух!

Алеха. Вчера ездил с отцом на разъезд. Впервые увидел паровоз, затеял игру в поезда. Понятно.

- Уф-ух! Уф-ух! Дон-н-н. Эй, ты, куда без билета прешься? Я те дам! Я начальник станции, я всех главней.

Алеха Смородин всегда всех главней.

Однако поиграли и хватит, пора за уроки. Катя вошла в класс. Семеро младших цепочкой, друг дружке в затылок, топтались на месте, ухали, шипели, пыхтели, двигали взад-вперед руками, как поршнями, - поезд мчится на всех парах. Уф-ух! Восьмой - Алеха, начальник станции, он же и семафор, он же и колокол, извещающий об отправлении поезда.

Девятая младшая - Тайка Астахова. Она проболела недели три, пришла сегодня впервые и одна сидела на парте, низко склонив голову. Льняные волосы беспорядочно свисали на щеки; крупные слезы текли вдоль носа, она не вытирала их, слизывая с губ.

- Что ты плачешь? - спросила Катя, догадываясь и пугаясь догадки.

- Ворова дочь! Тайка, таратайка, балалайка! - показывая беззубые дыры во рту, выпалил Алеха Смородин.

Ребята при появлении учительницы не разошлись по местам, напротив, столпились у Тайкиной парты.

- Отец хлеба нашего наворовал, нарастил буржуйского брюха!

- Мы налогу собрали, а он тридцать мешков ржи от голодных себе утянул.

- Его на десять лет засадили. Кобылу отобрали. Ворованное добро отобрали.

Тайка беззвучно плакала, не смея откинуть с лица пряди волос, растрепанные, как нечесаный лен. Учительница молчала. Ее молчание сильней распаляло ребят.

- Ворова дочь! Ворова дочь! - все громче и злее свистело из беззубых ртов, ниже прибывая Тайкину голову к парте.

"Ушинский, помоги!" - мысленно взмолилась учительница.

Но не надо советов. Ничьих. Даже Ушинского. Катя знала сама. Сердцем, умом, пробуждающимся и с каждым днем крепнувшим в ней чутьем учительницы знала, что должна делать сейчас.

Отстранила ребят, отвела волосы с наплаканного Тайкиного лица, своим платком вытерла ручьи слез у нее на щеках.

- Ты не виновата. Тебе стыдно за отца, но ты не виновата. Ты не крала и никого не обманывала. Вы поняли? - обратилась она к ребятам строго и

властно. - Ступайте по местам, - приказала она.

Ученики мгновенно послушались.

- Вы напали на Тайку, а за что? Разве она за отца отвечает? Ведь она не знала о его преступлении. Тайка - несчастная девочка. Большое несчастье - стыд за отца. Но не вина, а несчастье. Вы поняли?

Тихо прошли уроки. Без подъема, без обычных улыбок и живости.

- Вы не будете обижать Тайку, - сказала Катя, отпуская ребят, - вы будете жить всегда честно. И ты, Тайка, будешь жить честно. Идите.

Они вышли из школы гурьбой и тотчас разбежались в разные стороны, а Тайка побрела одна на край села, где, весь в деревянных кружевах, стоял ее безрадостный, опозоренный дом. Катя следила из окна класса за жалкой фигуркой, пока, обогнув против школы церковь, она не скрылась из виду. Сейчас начнут собираться на вторую смену средние и старшие. Но пока вместо средних и старших Катя увидела на дороге группу людей. Их было трое: Петр Игнатьевич, Нина Ивановна и неизвестный мужчина.

Они направлялись к ней в школу. Катя живо ушла из класса к себе, села на топчан, служивший кроватью, тахтой, чем хотите, и, для вида взяв книжку, стала поджидать посетителей. Вероятно, явился инспектор унаробраза. Он слегка прихрамывал, опираясь на толстую суковатую палку, и был одет в овчинный полушубок, несмотря на мартовскую капель, на ногах солдатские бутсы с обмотками; красноармейская буденовка с опущенными ушами сдвинута была на затылок. Так, полустатскими-полувоенными, выглядели многие приезжавшие из города начальники. Приезжало их в сельцо Иваньково после раскрытия астаховской кражи немало. Разбирались, меряли земли, доискивались, нет ли в чем еще жульничества. Клевета на председателя развеялась разом: в городском комитете помощи голодающим не забыли золотое кольцо с рубиновым камнем, подтвердили, что сдано, но строгий выговор председатель Смородин получил - и за дело: государственное добро зорче береги, растяпой не будь.

А Нине Ивановне ее подневольное пособничество в воровстве Силе Астахову пролетарский суд ввиду смягчающих обстоятельств простил. Пожалели детей.

Что стало с Ниной Ивановной! Что так удивительно изменило ее? Сияние в глазах. Она ли? Что с ней? Вошла, кинулась к Кате, обняла.

- Катерина Платоновна, Катя! Вернулся.

- Кто?

- Муж. Тихон.

Человек в овчинном полушубке, постукивая по полу суковатой палкой,

слегка припадая на правую ногу, приблизился, протянул Кате руку:

- Здравствуйте.

- Тишенька! Тихон! Тихон Андреевич! - смеялась и плакала Нина Ивановна. - Катерина Платоновна, я ему сразу сказала, как вы о нем отозвались: "Он герой у вас, и вы должны им гордиться". Варвара при всем народе под защиту взяла... А я? Где моя совесть? Прощенья мне нет.

- Истерзали тебя, бедняжка. Не мучься, не рвись, все позади, - утешал он.

Вот он какой, учитель Тихон Андреевич! Ласковый. Наверное, внимательный к людям. А приложения к "Ниве" - ведь это все его книжки, его должна благодарить Катя.

- Да где же вы были, да что с вами было? Счастье-то какое, вернулись, Тихон Андреевич! Садитесь, пожалуйста.

Председатель сел на табурет у стола и тут же стал свертывать из клочка газеты сигарку и закурил. Раньше он курил, дымя в горящую печку, а тут задымил на всю комнату. Нервным стал после тех неприятных событий и сейчас угрюмо молчал.

Нина Ивановна с мужем сели на железную кровать Ксении Васильевны. И Нина Ивановна взяла руку мужа и, не отпуская, словно боясь на секунду расстаться, принялась рассказывать то, что говорила тогда на собрании. И совсем не то. И совсем не так. Гордясь, расцветая.

Воевал ее Тихон Андреевич с Деникиным, Врангелем, на Дальнем Востоке. Был политруком, воодушевлял красноармейцев на борьбу с беляками. А потом попал в партизанский отряд, а потом шел с отрядом тысячи верст, пешком, на оленях, через горы и реки, устанавливая в стойбищах вдоль Охотского моря, вдоль Ледовитого океана Советскую власть.

- Беда нас настигла, - сказал Тихон Андреевич, не перебивая, а как-то незаметно вступив в рассказ жены, может быть, оттого, что была она чересчур уж в горячке и трепете и он хотел немного ей помочь. - Отрезали белые наш партизанский отряд. Полгода в окружении маялись, а как к своим прорвались, тут же домой написал, а до почты верст двести, скачи - не доскачешь. Писал, да, видно, письма не доходили по адресу...

- Или кулак Сила Астахов перехватывал, чтобы в страхе батрачку держать, - жестко отрезал председатель.

- Едва ли. Уж очень рискованно. Братцы, не будем об этом. Что прошло, былшем поросло, - миролюбиво сказал Тихон Андреевич.

- Э-эх, Тихон Андреевич, в учителях христосиком был, таким и в солдатах остался.

- Напраслину наговариваешь, товарищ Смородин. А злобствовать зря не люблю.

Что-то было в учителе ясное, доброе. Он нравился Кате.

- А я-то как рада вам, Тихон Андреевич! В самое-самое время помощь мне подоспела. Признаться?.. Вам я признаюсь. И Петру Игнатьевичу и Нине Ивановне. У меня не всегда ведь уроки вполне хороши. Иногда в полном смысле провалишь. Ученики не догадываются, но я-то знаю. Тихон Андреевич, мы так с вами будем работать, если вы согласитесь, конечно... Я предлагаю, поделим группы? Вы старших возьмите. А мне хочется маленьких оставить себе. Мне хочется до конца школы их довести, посмотреть, что из них станет, как я их вырастила, что им дала...

Вдруг Катя заметила, они слушают ее исповедальную речь в каком-то странном смущении. Нина Ивановна погасла, потупилась. И учитель, опершись на палку, уставил взгляд в пол, не на Катю. А Петр Игнатьевич, напротив, глядел прямо на нее и невесело.

Катя смешалась, умолкла, не понимая.

- Н-да, значит, так, - угрюмо проговорил председатель.

Учитель, слегка припадая на правую ногу, перешел к Кате, сел к ней на топчан. Заговорил негромко, как бы с трудом:

- Демобилизовался я, в уездный отдел откомандировали из части. Там дают назначение. Куда? Понятно, домой, в родную школу. О вас, Катерина Платоновна, я тогда и не слышал. Кто вы, что вы, не знал.

- Ну и что же? Теперь узнали, - резонно возразила Катя. - А дальше ближе узнаете. Я так рада, что вас тоже сюда назначили! Мы с вами дружно будем работать.

- Сложная штука жизнь, Катерина Платоновна, трудная штука, порой даже очень, - ответил учитель.

- Что случилось? К чему вы меня подготавливаете?! - воскликнула Катя, с испугом вглядываясь в их расстроенные лица, пытаясь понять.

Председатель вынул из кармана бумагу: небольшой лист с машинописным текстом, печатью и штампом, подал Кате:

- Н-да, значит...

"Учительницу начальной школы сельца Иваньково тов. К. П. Бектышеву сим извещаем, что по сокращению штатов увольняется с апреля месяца 1922 года.

Заведующий уездным отделом народного образования..."

"О ком это? Кто увольняется?"

Бумажка с печатью в Катиной дрожащей руке маленькими машинописными буквами выносила приговор тов. К. П. Бектышевой.

"Это я - тов. К. П. Бектышева? Меня увольняют? А как же дети, мои беззубые младшие? Я их научила читать, они пишут слова на грифельной доске, а скоро я им обещаю тетради. Чистенькие тетрабочки в классном шкафу. Вы хотите меня увольнять? А куда я пойду? У меня нет дома. Комната в Ивановской школе, а другого нет дома. Здесь, на погосте, могила бабы-Коки под снегом. Я хотела весной посадить на могиле цветы. Незабудки".

Катя жалобно улыбнулась, и, увидев ее вымученную улыбку, сквозь которую сейчас хлынут слезы, Петр Игнатьевич крикнул, растопыренной пятерней, как гребенкой, резко откинул назад волосы.

- Новая экономическая политика, Катерина Платоновна, проще говоря, нэп. Государству надо производство налаживать, приходится экономить во всем. По штату нашей школе один учитель положен. Вот в чем загвоздка.

"Значит, меня для экономии - вон! Осенью послали, тогда было нужно, сказали: должна. А теперь... из экономии вон?" - так думала Катя.

Гордость отчаяния поднялась в ней, она не улыбалась больше жалобной улыбкой.

- "Сохраню ль к судьбе презренье?.."

- Что? Что? Как ты сказала? - изумленно вскинулся Петр Игнатьевич.

- "Сохраню ль к судьбе презренье?.." Не я. Пушкин.

Петр Игнатьевич вытащил кيسет, снова взялся набивать самокрутку, с силой приминая большим пальцем махорку.

- Катерина Платоновна, Катенька! - стиснув на груди руки, просительно заговорила жена учителя. - Тихона по справедливости на старое место вернули...

Катя пожала плечами:

- Кто спорит?

- Мы с Тишей нашу будущую жизнь крепко обдумали. Заново нам ее надо налаживать. Хозяйство наше, пока воевал, вовсе порушилось. Мечта у нас: хозяйство маленько поднять...

- Что мне до вашей мечты? - оборвала Катя.

Снова негромко вмешался учитель:

- Возможно, вы меня осуждаете, Катерина Платоновна, но не я это дело решал, в смысле моего назначения. А если бы и я... Не могу я со своей школой расстаться! Здесь моя трудовая жизнь начиналась. Здесь семья. Куда мне с семьей от своей избы по нынешнему тяжелому времени? Мы с Ниной этот вопрос обсудили: я пока дома побуду, дыры в хозяйстве своем залатаю, а вы, как учили, так пока и учите, так и учите. И в комнате при школе живите по-прежнему. Мы с Ниной Ивановной обговорили этот

вопрос. И председатель согласен.

- И председатель согласен? - едко усмехнулась в лицо председателю Катя.

- Согласен, - не принимая насмешки, серьезно и строго ответил он. Пока остаемся при старом. Беру на себя. Стало быть так, Катерина Платоновна?

- Не знаю. Подумаю.

33

А что думать? Что придумаешь?

Пока все оставалось по-старому. Новое то, что Тихон Андреевич два в неделю приходил в класс, занимался со старшими, но в основном, как и раньше, учила ребят Катя. Только без былого воодушевления. С охлажденной душой.

Ничто не вечно, а все же, когда тебе скажут, что этот темный, со старым шкафом и длинными черными партами, неудобный, но уже привычный, уже дорогой тебе класс стал не твоим, ты в нем незаконно, лишь из участия добрых людей, - душа вянет. И даже дети не так милы, как раньше. Скоро ты их оставишь. Тебе прикажут оставить.

В уездном отделе народного образования пока что отнеслись снисходительно к ненормальному положению в Иваньковской школе. Пока, до начала нового учебного года.

Стали присылать из отдела образования педагогические брошюры, инструкции, проекты программ, что-то много стало приходиться всевозможных руководящих бумаг. Среди них внушительный приказ учителю Тихону Андреевичу представить на утверждение планы школьных и внешкольных занятий.

Учительницы Екатерины Платоновны в ведении унаробраза не числилось. Нет такой учительницы. Есть Катя Бектышева, у которой ни кола ни двора, ни родной на свете души.

Одна Фрося. Фрося звала: "Приезжай, Катя, к нам. Уступлю тебе кровать, буду спать на полу, потеснимся мы с Васюней для тебя, милая Катя".

В газетах Катя читала, что Комиссия ВЦИК, пересматривая учреждения РСФСР, добилась сокращения чиновников на 60 процентов. Что путем соединения маленьких губерний и уездов сокращается еще 25 процентов. Что в Московском отделе труда зарегистрировано много безработных учителей. И в других губерниях также.

Государство экономит, государство рассчитывает, государство приступает к выполнению грандиозного плана подъема разрушенного

хозяйства страны.

Что касается Кати, она в числе тех процентов...

Робость все глубже охватывает ее. Снова она не верит в себя. Мир огромен, а как неудобно и одиноко в нем Кате!..

Она тянула с отъездом. Учебный год окончен, ребята отпущены на каникулы, и делать Кате в сельце Иванькове вроде бы нечего, но она тянула с отъездом. Чем она жила? Как? "Иду. В траве звенит мой посох".

Где ты, где ты, Арсений?

Катя хотела как-нибудь отблагодарить Тихона Андреевича за то, что он дал ей довести учебный год до конца. Ходила полоть с Ниной Ивановной гряды в их огороде. После, в разгаре лета, убирала сено.

Сенокос - работа веселая, праздничная. Какой-то парень разбежался на учительскую полянку на берегу Голубицы, схватил Катю в охапку, раскачал, бросил в речку под общий одобрительный хохот. Катя вынырнула, вылезла, трясая головой, фыркающая, как жеребенок, мокрое платье облепило ее, она чувствовала себя голой, ей было стыдно, хотелось спрятаться, но спрятаться негде.

- Приходи вечером к сельсовету погулять под гармонику, - позвал парень.

Катя не захотела знакомства. Она привыкла быть в сельце Иванькове учительницей Катериной Платоновной. Держаться строго и неприступно с парнями. Гордой ее не называли за это. Говорили: лишку тиха.

Наступило жнитво. Жнитво - настоящая страда. Солнце беспощадно палит. В небе ни тучки.

Нина Ивановна жала серпом, Катя вязала за ней снопы. Руки спасались в холщовых нарукавниках, а грудь, шея, ноги искусаны колосьями, словно комариными жалами. Пот струями течет по лицу, во рту горько от соленого пота. Конца нет желтым, душным, колючим снопам! Катя вяжет их соломенными связками, стаскивает по пяти снопов в одно место, ставит в бабки. Бабки ее неказисты: то валяются набок, то расселись неуклюжими копами.

- Ладно, сойдет, - подбадривает Нина Ивановна.

Учитель натрудил раненную ногу, не ступить.

Ничего, и одни управимся. Пусть ломит спину! Пусть красные искры стреляют в глазах. Рубашка - хоть выжми. Зато как сладко, когда Нина Ивановна объявит обед и, устало шаркая по стерне лаптями, пойдет за корчажкой кислого молока, схороненной в меже, а ты растянулась на старенькой дерюжке, прячась от солнца за бабкой, закинула под голову руки и глядишь, глядишь в синеву. Не думать ни о чем. "...Звенит мой

посох"...

Рожь убрали в пять дней. До овсов Катина страда окончилась. А дальше? Что дальше? Где ее настоящее дело? Где ее место?

Говорят, страусы, когда грозит опасность, прячут голову под крыло... Ты страус, Катя? Эх, Катя!.. Рассказывал тебе Петр Игнатьевич о героических девчатах? Эх, Катя...

Она снова ушла в чтение. Потеряла счет дням. Иногда, подняв глаза от страницы, с удивлением видела заходящее солнце. Или солнца давно уже нет, над речкой вечерний туман. А пришла она сюда на берег ранним утром с книгой и краюхой ржаного хлеба, не заметив, как за чтением ее уплела.

Она выбрала уютное местечко под старой ивой у реки. И читала здесь Короленко, всего, полное собрание сочинений от первого до последнего тома. "Но, все-таки... все-таки впереди - огни!"

Иногда, отложив книгу, она предавалась фантазиям. Нереальным. Разве фантазии бывают реальны?

...Вот она идет серединой улицы в конец сельца, где расписанная резными наличниками изба учителя, а на другой, самой крайней, избе красный флаг и вывеска "ИВАНЬКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ".

Раньше здесь жил Сила Мартыныч. Теперь его жену, с постным, как икона, лицом, и тихую Тайку переселили в половину заброшенного поповского дома.

Медленно идет Катя широкой иваньковской улицей. Тяжесть сжимает сердце в предчувствии беды... Она глядит прямо перед собой. И видит его. Он появляется из поля, в холщовой блузе, с мольбертом.

"Здравствуйте, Катя", - говорит он.

"Я вас не знаю", - отвечает она, продолжая идти.

Он меняет свой путь и с ней вместе возвращается в поле, где цветет некошенная душистая вика и высоко в небе реют ласточки с острыми крыльями.

"Вы забыли меня. Я Арсений, студент ВХУТЕМАСа. Меня прислали сюда на практику, рисовать среднерусский пейзаж".

"Да? Но какое это имеет ко мне отношение?"

"Катя, вспомните! Пожалуйста! Я вошел к вам в школу, под белую арку. Был волшебный день!"

"А-а, - равнодушно вспоминает она, - вы были такой голодный, несчастный. Как жадно набросились на еду, даже ничего путного не могли рассказать. Помню, вы, как нищий, весь день ходили по дворам..."

"Стыдно, Катя, моя мать от истощения слегла в постель".

"А! Помню, помню, на следующее утро вы чуть не сбежали. Если бы я



не услышала случайно..."

"Я постучал бы к вам в дверь".

"Надеюсь, ваша мать выздоровела? Вам не пришло в голову написать мне об этом?"

"Катя! Я болван..."

"Ругайте себя, сколько влезет, все равно я вас презираю. Я презираю вас".

"Катя, я не догадался узнать вашей фамилии".

"О! Достаточно было написать на конверте: сельцо Иваньково, школа. Вы могли сообщить о матери, что выздоровела. И довольно. Ничего больше".

"Я не знал названия ни сельца, ни уезда. Я хотел написать, что влюблен в вас. Мечтал написать вам, что вы тихая душа, вы нестеровская девушка..."

"Студент ВХУТЕМАСа, вас прислали сюда на практику, отчего же вы не рисуете? Ах, у вас просто нет таланта, ни капли таланта. Почему вас не выгонят из ВХУТЕМАСа?"

"Вам нравится меня оскорблять?"

"Я буду оскорблять вас всю жизнь. Всю жизнь буду вас ненавидеть".

"Неправда. Вы меня любите, Катя".

Она вытирала листком мокрое от слез лицо. Срывала с ветки листы и вытирала слезы. Вот до чего довел ее Гамсун! Начиталась она этого Гамсуна! Ведь каждому ясно, все ее диалоги, полные яда и оскорбленной любви, прямое подражание Гамсуну.

Впрочем, сейчас она читает Чехова - "Даму с собачкой". Спасибо учителю, и Чехова она раскопала в его темном чулане. Чехов застенчивый, сдержанный. Помните, Маша в "Трех сестрах" все молча насвистывает? Тихо насвистывает. Как грустно...

Что-то плеснуло в бочажке, над которым Катя сидела у ивы, свесившей ветви до самой воды. Должно быть, прошла крупная рыба, плеснула хвостом.

- Катерина Платоновна-а-а! - неслось от сельца. - А-а-а!

Ватага ее бывших младших (в новом учебном году они станут средними), ее босоногих, беловолосых, в ошметках рыжих веснушек, с облупленными носами, ватага мчалась к ней через луг под предводительством Алехи Смородина. Орали. Что? Не разберешь, но, должно быть, хорошее. Это можно было понять по сияющим лицам, особенно Алехи Смородина. Он домчался первым и, задыхаясь от бега:

- Кличут в сельсовет... велели скорее... письмо получено... важное.

Они наперебой объясняли учительнице, что письмо такое... такое... Они не знали, какое. Только что важное.

"Откуда? От кого? Ах, наверное, Фрося снова зовет, а председателю наконец надоело, решил избавиться от меня... от заботы".

Потому Катя вошла в сельсовет с замкнутым и безразличным лицом, на котором написано было равнодушие, что давалось ей нелегко и дурнило, совершенно меняло ее. Известно, в трудных случаях она не умела собою владеть.

Волна махорочного дыма и резкого запаха пота хлынула на нее. Катя стала у порога.

Шел сход, как всегда, многоречивый и бурный. Председатель во главе стола, покрытого красным кумачом, супя брови, слушал чью-то, должно быть заковыристую, речь.

Летом Катя редко встречала председателя. Он до черноты загорел. Из расстегнутого ворота линиялой косоворотки выпирали углами ключицы. Он был весь пыльный и выгоревший, только сапоги, начищенные дегтем, зеркально сверкали. От этого щегольства, этой своей слабости, председатель даже в страдную пору не мог отказаться.

- Обожди, - перебил председатель оратора, когда Катя вошла.

И, протягивая Кате бумажку со штампом и казенной печатью, произнес торжественно, как на трибуне:

- Товарищи, граждане сельца Иванькова, перед вами наглядный пример, на том наглядном примере вы можете понять, как Советская народная власть идет навстречу трудящемуся человеку, ежели он, ясное дело, не буржуйских взглядов, всей душой признает революцию. Можете убедиться, товарищи граждане, как Советская власть показывает трудящемуся человеку дорогу.

Катя держала бумажку, но ничего не могла в ней понять, кроме штампа и казенной печати. Будто пеленой заволочло глаза, она ничего не могла прочитать. Она хотела убежать от людей и наедине разобраться, о чем эта бумага, какое имеет к ней отношение. Но председатель не дал Кате сбежать.

- Стой, Катерина Платоновна, куда заспешила, ишь прыткая! Вслух, всему народу читай, потому что это есть пропаганда и агитация советского строя.

Катя прочитала вслух:

- "Сергиевский педагогический техникум приглашает для повышения квалификации учителей, сокращенных из-за отсутствия педагогической подготовки.

Начало занятий 1 сентября 1922 года.

Обучение бесплатное. Общежитие и питание обеспечены".

Часть третья

ЧТО ВПЕРЕДИ?

34

И после бумаги из техникума Катя не сразу распрощалась с Иваньковым. Петр Игнатьевич повез ее на разъезд на своем рыжем Лыцаре, когда выпал свободный денек... А он выпал не сразу.

Рано утром у школы собралась толпа. Растолкав ребятишек и баб, вперед вышла Варвара. Сдвинула угольные брови, молчала.

- Говори, что же ты, сказывай речь, не робей, - поощрил Петр Игнатьевич.

- А ну вас с речами! Вам только бы митинговать, как языки не отсохнут? Катерина Платоновна, эх, милка-а!..

И махнула рукой.

- Высказалась, - усмехнулся председатель. - Дальше кто?

Авдотья мычала, смеялась и всхлипывала, сморкаясь в конец платка. Катя оставила ей в память о бабе-Коке швейную машинку. Такой щедрый дар все сельцо разволновало и привело в изумление. Обсуждали: "Кабы не убожество, подходящей невестой стала б Авдотья с машинкой-то".

Ученики таращили на учительницу испуганные, жалеющие глаза. Шмыгали носами. Носы облупленные, кожа слезла от солнца.

"Прощайте, мои младшие, средние, старшие. Спасибо вам. Спасибо всем. Сельцу Иванькову с широкой улицей, неторопливо ведущей в ржаные и засеянные викой поля. Реке Голубице. Старой иве, склонившей ветки к воде. Прощай, на погосте могила..."

Лыцарь вынес тарантас за околицу.

- Жмет небось сердце? - рассуждал Петр Игнатьевич, когда сельцо, поле, иваньковский лес остались позади. И навсегда кончилось что-то, а впереди неизвестное.

Петр Игнатьевич тихонько пошевелил вожжами, давая тем Лыцарю знать, что спешить некуда, доедем без спешки, тишь осенняя обнимает тебя, нежит душу, и хочется поделиться с хорошим человеком - пускай человек тот девчонка, - хочется поделиться заветными мыслями.

- Жмет небось сердце, а ты, Катерина Платоновна, в будущее гляди без боязни. Жизнь пугливых не любит. Про себя скажу, хотя маленько по годам припоздал, а об науке задумываюсь. Чем дальше, то больше. Рабоче-крестьянская власть - это что? Ежели товарищ Ленин говорит, кухарка, учись управлять государством, нам, мужикам, как об себе понимать? Оставайся до конца века с двумя классами церковноприходской? Не

выйдет! Погожу, поокрепнет иваньковское крестьянское общество, троих ребятишек временно подруге жизни доверю - идейную сознательность к той поре воспитаю в ней на все сто - и махну за тобой следом, Катерина Платоновна. Намечу подходящие курсы для повышения квалификации предназначенной мне специальности. Н-да, значит, так...

Показался разъезд. И вдруг над лесной полосой вдоль железнодорожных путей завиднелась волнистая лента белого с проседью дыма, клубилась, ближе, ближе к разъезду, и вот уже слышно шумное дыхание и острый свисток паровоза, вот уже видны мелькающие окна вагонов.

Петр Игнатьевич гикнул, как былинный удалой молодец, с размаху стегнул Лыцаря кнутом. Лыцарь понес, кидая тарантас на ухабах, но белый дым паровоза, недолго задержавшись у разъезда, тянулся уже по ту сторону его, над лесом, все дальше и таял.

Они опоздали на пассажирский поезд. Следующий - через сутки.

- Дурная башка, разиня! - ругал себя Петр Игнатьевич. И картуз бросил о землю, когда прискакали к разъезду, - так горевал. - Обратного ворочаться вроде нельзя. Бабы говорят, примета дурная, а, Катерина Платоновна?

Кате не хотелось возвращаться обратно, хотя околачиваться на разъезде целые сутки в ожидании поезда куда как невесело.

Они уныло сидели на платформе на лавочке. Петр Игнатьевич курил, похлестывая веткой свои щегольские сапоги, раздумывая, что предпринять, не бросать же девчонку.

Между тем долго ли, коротко ли, как говорят в сказках, а в действительности меньше чем через час вдалеке над путями вновь закачался белый хвост дыма, и к разъезду прибыл товарный, длинный, вагонов в тридцать, состав. На разъезде товарному останавливаться не полагалось, а этот стал. Поспешно вышел на платформу начальник разъезда с красным флажком, забегал вдоль состава сцепщик с инструментами; два задних вагона отцепили, погнали на запасный путь, а паровоз шумно, отрывисто дышал, готовый тронуться, когда начальник разъезда даст отправление.

- Катерина Платоновна, глянь! - радостно вскрикнул председатель.

На площадках между вагонами ехали пассажирами люди. Кто сидел, свесив на ступеньки ноги. Кто стоя. Не тесно, поскольку с новым урожаем в конце лета тысяча девятьсот двадцать второго голод понемногу стихал и мешочников заметно убавилось.

Петр Игнатьевич подхватил два Катиных узла с пожитками, и они

побежали вдоль поезда, ища не слишком набитую народом площадку. Петр Игнатьевич посадил Катю, подал узлы, сорвал с головы картуз и, размахивая им, зашагал рядом с вагоном, поспешая за товарным, набиравшим скорость, и что-то кричал, но за стуком колес было не слышно, и Катя грустно и нежно улыбалась ему.

Петр Игнатьевич был ее первой основательной встречей с Советской властью. До свидания, товарищ председельсовета! Спасибо!

Поезд гроыхал, вагоны качало, свежий ветер обдувал разгоряченное волнением лицо и наносил запахи вянущих трав, поздно скошенных по насыпи вдоль рельсов.

Катя стояла крайней на площадке и долго не оглядывалась на попутчиков. Смотрела, смотрела на бегущие мимо сжатые поля и изумрудные озими, осиновые и березовые рощи с начальной, легкой осенней желтизной, сизую каемку речки в луговых берегах. Как просто все это, как мирно и мило...

На площадке, кроме нее, ехало трое. Видимо, муж и жена, средних лет; истомленные и будто чем-то напуганные, они сидели рядышком на мешках, не переставая, озабоченно и тихо шептались.

Отдельно от них - женщина. Молодая, пышнотелая, с маленькими белыми кудряшками, выпущенными на лоб из-под цветной косынки. Одета по-городскому, в синем жакете и высоких, почти до колен, башмаках на шнурках, она везла не мешок, а фибровый чемодан и сидела на нем и, когда Катя обернулась, сразу вступила с ней в разговор.

Кто? Откуда? Куда? Зачем?

- И все твоё имущество тут? - сочувствуя Кате, восклицала кудрявая пышка. - Беднота-то! И шуба и наряды - все тут? Э, не горюй, девушка, выучишься, на хорошее место определишься, добра наживешь.

И с той же охотой, как спрашивала, принялась подробно выкладывать собственную жизнь, все свои обстоятельства. Что навещала в деревне родню, свезла гостинцев и себе кой-чего запасла деревенского. А едет в Москву. Пассажирский из-под носу ушел, сунула начальнику станции, чтобы пустил на товарник. А в Москве муж швейцаром служит в ресторане "Ампир", в самом центре, Тверская - рукой подать. Петровка еще того ближе, тут тебе и Мюр-Мерилиз и чего душа пожелает.

Все, о чем она сообщала - Тверская, Петровка, Мюр-Мерилиз, швейцар, ресторан "Ампир" и что "сунула" начальнику станции, - все это было так далеко от жизненного опыта Кати, она слушала, полна удивления.

За разговором время летело незаметно, и вскоре увидела Катя знакомые белые стены, белую строгую колокольню - гулкий колокольный

звон разливался когда-то далеко по окрестностям.

Странное, бедное, милое и трудное отрочество ее за монастырскими стенами встало перед Катей. Все, кого Катя любила, где они? Вася? Баба-Кока? Ах, на минутку увидеть бы Фросю с Васюней! Может, сойти? Увидеться с Фросей? Рискнуть? Нет, не рискнула. А Лина Савельева где? И ее потеряла из виду...

Поезд постоял на станции Александров и с третьим ударом колокола тронулся в путь. Муж и жена, взвалив на плечи мешки, сошли в Александрове. Катя осталась вдвоем с кудрявой болтушкой.

- Боялась, снимут. Не сняли. Я уж и сунуть припасла, - откровенно признавалась та.

Вообще Катина попутчица была откровенна. Ей нравилось поражать Катю. Взхлеб рассказывать о нэпманских кутежах в ресторанах, "врать не буду, самой бывать не случалось, а от мужа наслышалась досыта. А муженек башковит. Сквозь землю увидит. Только дверь посетитель открыл, мой с одного взгляда определит, кто сколько даст. Разно в Москве люди живут. Тот спозаранку на биржу труда, безработным. Другой на завод - поднимать производство. А тот в собственную лавку хозяином. А вечерами на глухие улицы не показывай носу, попрыгунчики на ходулях в белых халатах, чисто привидения, стерегут налететь - рта не успеешь разинуть, догола оберут да на Сухаревку. На той Сухаревке все равно как в старое время: покупай-продавай, всякому товару покупатель сыщется. А кушанья в "Ампире" - индейка под соусом, а то рябчик в сметане, слыхала?.."

Сидя на узле, обхватив коленки, Катя слушала рассеянно, ей уже надоели однообразные рассказы неумолкавшей попутчицы. Но она так добродушно делилась, встряхивая кудряшками, удачливостью своей была так довольна, что Катя не перебивала, а, напротив, одобрительно кивала и хмыкала.

Пролетел мимо домик стрелочника об одном оконце. Сам стрелочник с зеленым флажком у переезда. Деревянные домишки городской окраины, с разноцветными флоксами, пышно цветущими в палисадниках. Поплыла мимо платформа, одноэтажное здание станции с высокими полукружьями окон и вывеской над входом "Город Сергиев", платформа и начальник станции в форменной фуражке, станционные постройки, водокачка, поленница дров проплывают мимо, и дома и сады противоположной окраины города медленно-медленно уходят назад.

- Не остановились! Что они делают? - в ужасе закричала Катя.

Куда ее везут? Что с ней будет?

Товарняк не спеша погромыхивал на стыках рельсов. За городом, где

рельсы делают некрутой поворот, поезд пошел еще тише, словно бы раздумывал, не стать ли? Или без остановки так и громохатать до Москвы?

- Прыгай, прыгай! - тоже вскочив со своего фибрового чемодана, возбужденно кричала толстуха. - Не то в Москву отвезут. Куда тебе деться в Москве? Прыгай, пока скорости паровоз не набрал. По ходу вперед. Ай, останавливается?

Поезд, верно, вроде бы решил остановиться, вагоны еле ползли. Тише, тише. И стали.

- Прыгай, а я вслед узлы кину! - почти выталкивала Катю с площадки кучерявая толстуха в синем жакете и высоких башмаках на шнурках.

Катя прыгнула и кубарем скатилась с крутого откоса. Здорово ушибла левый бок и коленку. Не чуя боли, вскочила, полезла на откос.

Паровоз озорно, тонко свистнул, словно дразнясь, плюнул паром и пошел, не спеша, качая из стороны в сторону вагоны.

- Стойте! Куда вы? Стойте! - бессмысленно звала Катя, карабкаясь на откос.

Над головой грохотало, стук колес больно отдавался в ушах.

Грохот тише, гром глуше. Поезд ушел.

Катя взобралась на насыпь. Пустые рельсы. Блестящие, прямые, пустые, бегущие вдаль. Где узлы? Ведь она сказала, что кинет.

Где узлы со всеми ее пожитками и подорожниками - пирогами, ватрушками, вареными яйцами, что насовали на прощание иваньковские бабы?

Катя пошла вдоль рельсов. Пыталась бежать, постанывая от боли в коленке. Рельсы видны далеко вперед, прямые, пустые. Узлов нет. Пошла обратно. Она не заметила то место, где спрыгнула с подножки, и теперь искала его. Наверное, узлы валяются там или скатились где-нибудь под откос. Ходила, ходила. Слезала под откос, снова карабкалась вверх. Все еще не верила, что ее обокрали. Ни смены белья, ни кофтенки, ни зимнего пальто, наследства бабы-Коки. На ней темно-лиловое платье, с серым газовым шарфиком, как впервые почти год назад она вошла в класс, летнее пальтишко да в кармане две бумаги с печатями.

Одна о сокращении тов. К. П. Бектышевой.

Другая - приглашение Сергиевского педагогического техникума.

А толстуха с кудряшками?.. Такая откровенная, выкладывает, выкладывает ласковым голоском всю свою жизнь! Неужели завтра понесет на Сухаревку Катины узлы продавать? Сыта, довольна. Зачем ей это? И после будет слушать мужнины рассказы о ресторане "Ампир"...

А ты? Ты ее слушала? Да. И кивала...

Поделом тебе. Не кивай.

35

Врата - глубокий свод древних стен, когда-то крепостных, с боевыми башнями и узкими щелями бойниц. Тяжелый, увенчанный как бы шлемом собор; пятирусная, устремленная ввысь колокольня; храмы, часовни; келейный корпус с шатровыми крыльцами; обнесенное просторной галереей, по старинному гульбищем, все в затейливой лепке и росписи, двухэтажное здание из кирпича и белого камня, как после узнается - трапезная. Троице-Сергиевский монастырь.

Как? Опять монастырь? Это уже слишком! Выдумки. Никто не поверит.

Между тем это были не выдумки, а истинная правда. Опять монастырь, Троице-Сергиевская лавра.

Катя изумленно рассматривала храмы, церковки и разные здания, расписанные, убранные лепкой, фронтонами, арками. Подавленная происшедшим в дороге, с тяжелым сердцем вступала она в тесно застроенный монастырский двор. Неужели и здесь было то же, что узнано в Александровском первоклассном девичьем: деспотизм монастырских властей, смиренность и потаенный разврат лицемерных монахов и монашек и искалеченные жизни, как Фросина?..

Скоро Катя заметила в монастырском дворе тут и там следы разоренности: поваленную садовую решетку вокруг бывшего когда-то цветника, неподметенные дорожки, кучи хлама и мусора.

Она поискала скамейку и, не найдя, села на темную, заросшую плюшевым ковром надгробную плиту возле храма.

Здесь, в лавре, общежитие педагогического техникума. Она у цели.

Болела нога. Чулок на разбитой коленке взмок от крови. Надо бы перевязать, хочется пить. Пересохло во рту, так хочется пить...

Быстро опускался августовский вечер. Не опускался, а подползал от косматых кустов меж могилами, от мраморных плит и надгробий под раскидистыми кронами лип, от кладбищенской, не просыхающей за лето холодной земли.

Сама не заметив того, Катя забрела на кладбище. Небольшое монастырское кладбище возле храма, где когда-то, наверное, погребались высокие духовные лица да посадские именитые граждане за порядочный вклад в монастырскую кассу.

Небо над шатрами деревьев еще не погасло, еще светлело сквозь ветви, а кладбище уже окутывал осенний сумрачный вечер.

Мимо невысокой кладбищенской оградки, глухо топая коваными



сапогами по каменным плитам мостовой, промаршировал отряд, человек двадцать, в военных шинелях.

Откуда-то с другой стороны храма донеслись девичьи голоса. Катя пошла на голоса, кусая губу от боли. Распухшая коленка горела, словно ее пекли на раскаленных углях.

Голоса доносились из трапезной. Девушки вышли оттуда гурьбой и сбегали во двор по широкой лестнице; несколько смешливых, беспечно болтающих девушек, видно жизнь их ничем не была омрачена. Так представилось Кате, бедной Кате, издали с завистью глядящей на них. Вот рассеются сейчас, как появились, и бросят ее, беспризорную, посреди разрисованных, как игрушки, церквей.

Но тут произошло нечто столь поразительное, что иначе как чудом нельзя назвать. Бывает, в самые наши тяжкие и горькие дни нежданно привалит удача. Ты тонешь, идешь ко дну, истаяли последние силы, и в эту-то именно роковую минуту тебе нежданно кидают спасательный круг.

- Катя! Катька Бектышева! Катя! - разнеслось на весь монастырь, и из девичьей стаи вынесло Лину Савельеву. Она! Крепкая, плотная, с толстой русой косой, не знающая сомнений командирша Лина Савельева, верховод их недавних школьных затей, глава всех ответственных мероприятий. - Катька, ты к нам? Ура! Девочки, новенькая, свойская, наша, я ее насквозь знаю, ручаюсь. Ой, да какая ты, Катя... вся перемазанная, где ты так извозилась? - Катин вид на секунду Лину смутил. Но не дольше секунды. Ладно, идем.

И через пять минут они очутились в маленькой комнатке бывшего келейного корпуса, теперь общежития Сергиевского педагогического техникума. Здесь изголовьями к стене стояли в ряд три железные койки: две со взбитыми подушками, опрятно застеленные вместо пикейных одеял простынями, одна незастеленная, с голым, из мешковины матрацем.

- Тебя дожидается, - сказала Лина. - Мы с Клавкой пока вдвоем, ты будешь третьей, устраивайся. Будто предчувствовала, место для тебя сберегла! Мы с Клавкой Пирожковой комнату эту боем отбили, у других окна в стену уперлись, а наши во двор глядят, красота! Сокращенная? Ясно. И мы. Нас в январе сократили, а мы, не будь дуры, тут же сюда, на подготовительные курсы и без экзаменов в техникум. Выкладывай! - приказала она. - Да не прячься. Все, без утайки.

И по-бабьи поджала щеку ладонью, другой подперла локоток, жалостливо слушая Катин невеселый рассказ.

- Великомученица ты, Катерина. Когда я тебя жить научу? Спекулянтку не распознала! Их за версту видно, если не вовсе слепа. А в

школе сидела зачем, когда сократили? Приглашения ждала? Товарищ Бектышева, окажите милость, мечтаем просветить вашу непросвещенную голову, да?

Так язвительно отчитывала Катю Лина Савельева, а сама между тем доставала из тумбочки оловянную тарелку с ячневой размазней на воде, кусок черствого хлеба.

- Держу про запас. На случай незваного гостя. Ешь.

И понеслась с жестяной кружкой за кипятком в кубовую.

- Катька, Катька! Видела бы, как я культуру на селе у себя в красном уголке подняла! "Бориса Годунова" представляли. Я и режиссер и суфлер. Тустеп показала девчатам, революционные песни хором разучивали. За полгода дел наворочала - другая в две зимы не осилит. А под сокращение подвели. Ладно, государственная политика, смирится. Против Совнаркома не попрешь, тем более папаня секретарь партячейки, лишнего покриковать не даст, за косу отгаскает, пожалуй. Я и сама комсомолка. А ты думала! Не представляю, как жить безыдейной.

Некоторое время она пытливно вглядывалась в Катю, соображая, должно быть, насчет ее, Катиной, идейности.

- Втянем. Не вдруг. Проявишь себя на деле, тогда... А еще новость, ахнешь!

И она достала из укладки, где хранилось белье, заверенную сельским Советом справку, официально и неоспоримо удостоверяющую год и место рождения Лины Савельевой.

- И что? - не поняла Катя.

- Как что?! Читай: "Лина"! Добилась. Теперь законно, не придерешься. Навек. Про Акулину забудем. Ну, все. С моим личным вопросом покончено. Займемся твоим. Твоя задача - экзамены. Для опоздавших последний срок послезавтра. Садись и зубри.

Лина слетала куда-то, раздобыла толстенный учебник - "Историю педагогики".

- Полистай, кое-что схватишь, а вызовут отвечать, пуще всего жми на пролетарский подход. Мы пролетарские учителя и так далее...

Лина исчезла - она уже успела стать здесь членом студкома: "дел по горло, хоть кричи караул, каждый день заседаем", - а Катя уселась зубрить.

...Профессор, с благородной сединой, глубокими бороздами морщин на щеках и набрякшими под глазами мешками, в белом накрахмаленном воротничке, подпиравшем бритый старческий подбородок, протянул на столе худые, жилистые руки с тонкими музыкальными пальцами.

"Спросите об Ушинском. Ушинском. Ушинском", - мысленно внушала

Катя.

- Итак, что есть предмет педагогики?

- Педагогика есть... есть наука о воспитании... пролетарском.

- Гм. - Профессор пошевелил музыкальными пальцами, как бы перебирая клавиши. - Гм! Что вам известно о системе Фребелевских игр?

Молчание. Безнадёжное, не нарушаемое ни наводящим вопросом, ни ободряющим взглядом.

Булыжник какой-то этот профессор! Классически дореволюционный тип.

- Что вам известно о педагогических взглядах Руссо?

О Руссо кое-что случайно было Кате известно, ответила более или менее связно. И даже более или менее к месту ввернула эпитет "пролетарский". После чего профессор снова перебрал воображаемые клавиши, помолчал и, безусловно с недобрым умыслом, наверняка для провала, пожелал узнать, представителем какого направления педагогической мысли является выдающийся ученый Наторп. За сутки Катя, пусть бегло, перелистала все триста страниц "Истории педагогики" и не нашла никакого Наторпа. Что еще за Наторп?

С выражением застарелого утомления в лице, не переставая скучно перебирать пальцами, профессор сообщил Кате, что Наторп является представителем современной философской педагогики. Что философская педагогика, строяемая путем отвлеченных умозрений, утопична...

- Зачем в таком случае мне о ней знать?

- Гм... - Профессор оправил жесткие белые манжеты в рукавах пиджака, помедлил и холодно отпустил Катю. - Вы намереваетесь поступить на четвертый, специальный для учителей-практиков курс, не имея ни педагогических знаний, ни взглядов.

В какие-нибудь четверть часа выяснилась полная непригодность Кати учиться в педтехникуме. Но ее не отчислили тут же. Ей дали лист бумаги и предложили написать сочинение.

Экзаменовались опоздавшие - несколько девиц и один парень, некрасивый, с красным мясистым носом, к тому же косою на один глаз: правый глядел прямо, а левый бежал куда-то вбок.

Все они, не лучше Кати, на педагогике провалились. Подвел представитель философской педагогики Наторп. Заодно и Дьюи, и Локк, и Руссо...

- Будет ли это сочинение или отчет, как вам угодно. Вы можете рассказать случай из вашей школьной практики. Кто что хочет.

Дав такое задание, преподаватель заложил руки за спину и не спеша

стал прохаживаться по классу, погруженный в свои мысли. Подойдет к окну, постоит. За окном старый сад, листья клена на восток зарумянились, а на север еще по-летнему зелены. Слышен дятел. Осенний дятел. Неуловимым чем-то, какой-то грустноватой голубизной напоминает и небо о близости осени.

Преподаватель постоял у окна и сел за стол, погрузился в книгу, не взглянув на класс, будто и дела ему нет до экзаменов.

"Отчего вы все так равнодушны?" - подумала Катя.

Чистый лист дешевенькой сероватой бумаги лежал перед ней на парте. Она погладила лист. Она любила бумагу. Вид бумаги вызывал в ней неясную радость.

"О чем написать? Ведь им все равно. Да, он сказал, можно описать какой-нибудь случай..."

Кате помнились и, наверное, во всю жизнь не забудутся зимние вечера, когда в сельце, вокруг, на полях, во всем мире такое безмолвие, такая чуткая морозная тишина, что на версту слышен тонкий хруст снега под ногами прохожего. Когда в небе, как фонари, зажгутся яркие звезды, ученики, до изнеможения и счастья накатавшись на салазках и деревянных коньках, со всех ног летят к ней, в ее школьную кухню. Щеки морозом нажгло докрасна. Глаза горят, как те фонари.

Они усаживаются на полу вокруг лоханки с водой, куда время от времени отвалится из светца конец обгоревшей лучины. За лучиной надо следить. На эту должность назначается самый ответственный ученик, может быть будущий великий математик, может быть второй Лобачевский, а пока Федя Мамаев, из старших. Случалось, и он зазевается, упустит вовремя сменить лучину, лучина шлепнется в лоханку, шипя, погаснет, а лишнюю спичку жаль тратить, и они слушают впотьмах Катин рассказ о принце и нищем Марка Твена. Конечно, Катя не могла знать наизусть всего Марка Твена и приключения принца и нищего отчасти придумывала. Они оба были отважны и благородны, ее принц и нищий, и испытания их никак не кончались.

Из вечера в вечер собирались Катины ученики у лучины. А потом...

Тут Катя оставила на минуту перо и громко прыснула. Да, прыснула со смеху в кулак, да громко, на весь класс. Когда на нее напал смех, она не могла удержаться. Чем неуместнее и неприличнее в данный момент был смех, тем больше ее забирало.

Преподаватель поднял от книги глаза и в недоумении глядел на нее. Без слов. Видимо, очень уж был удивлен. Это ее отрезвило.

Он моложе профессора, едва ли больше сорока. Наверное, тоже из

бывших. Высокий, открытый лоб. Пышные, с коричневым отливом, небрежно откинутые назад и свисающие на виски волосы. Усы, тоже каштановые и пышные, над тонкими нервными губами. Белого воротничка и накрахмаленных манжет не видать, и пиджак довольно потертый. Но все равно, наверное, из бывших. Хотя что-то проглядывает в нем добролюбовское...

Да, так вот... Жаль, но приключения принца и нищего рано или поздно окончились. Алеха Смородин опечаленно хлопал ресницами. Канючил: "Катерина Платоновна, а дальше-то что?"

Все ребята канючили: "Катерина Платоновна, дальше давайте".

Но она уже всю себя исчерпала, приключения нищего и принца окончились.

Однажды под вечер, в тот час, когда у них с бабой-Кокой в комнате уютно топилась голландка, явился председатель. Ничего в том особого не было, он нередко захаживал, но нынче был какой-то особенный, на себя не похожий. Ноябрьской тучи хмурее.

- Здравствуйте, - еле буркнул. Присел у печки на корточки, курит.

- Извольте гневаться? - полушуткой спросила Ксения Васильевна.

У нее с сельсоветом отношения были свободные. С Петром Игнатьевичем держалась, как говорится, на равных.

- В точку, Ксения Васильевна. Гневаюсь. - И рявкнул, буквально рявкнул, раскрывая тем весь свой необузданный нрав: - Ты чему их, Катерина Платоновна, учишь?

Катя смешалась, не понимала, молчала.

Он вытащил из-за пазухи что-то похожее на колпак из газеты, с круглым отверстием посередине, клиньями вокруг отверстия.

- Это что?

- Что-о? - не понимая, повторили Катя и Ксения Васильевна.

- Ишь непонятливые! Невиновны ни в чем. Как есть ни за что не в ответе! Смотрите в таком разе, любуйтесь.

И надел на голову колпак из газеты.

- Ты, Катерина Платоновна, ребятам старорежимные сказки плетешь, а о последствиях думаешь? Что мы видим перед собой? Царскую видим корону. Алеха мой из газеты "Беднота" смастерил. Из нашей рабоче-крестьянской газеты корону вырезал, напялил и ходит. "Я принц". Это Алеха-то мой принц? В короне! А? Ты, Катерина Платоновна, чего в башки им вколачиваешь? Ты куда их ведешь, распрекрасный педагог наш советский?

- Екатерина Платоновна Бектышева!

Преподаватель назвал ее не первой, но по алфавиту она всегда получалась близко к первой.

Студентов четвертого курса преподаватель называл полным именем здесь учились "практики", с педагогическим стажем в год, два, даже три.

- Бектышева Екатерина Платоновна!

Он держал лист, исписанный маленькими буквами. Вообще-то у нее был размашистый почерк, но она сэкономила бумагу и писала мелко, лепила строку к строке.

- Ваше сочинение... Завязка. Событие. Даже намек на характер... почти рассказ. Неуклюже, но что-то обещает...

- Федор Филиппович! - завопила Лина Савельева. - Она у нас, когда во второй ступени училась, повести писала.

Федор Филиппович приподнял каштановые брови, сгоняя на широченном лбине нити морщин. Тонкие губы покривились в усмешке.

- Повести - преимущественно дамский жанр. Большая проза - роман и рассказ.

- А Чехов? "Степь" Чехова? - осмелилась Катя.

- Гению все подвластно. Под пером Чехова или Тургенева все единственно и неповторимо. Но перейдем к предмету наших занятий. Наш предмет - психология.

Из туго набитого, изрядно потрепанного, когда-то желтого, а сейчас пятнисто-рыжего портфеля он вынул несколько книжек.

- Уильям Джемс. "Беседы с учителями о психологии". Перевод с английского. Петроград. 1919 год.

Довольно тощая книжица, далеко до "Истории педагогики". Популярные беседы с американскими учителями начальных школ ученого-психолога Уильяма Джемса, приглашенного Гарвардским университетом. Ого!..

- Получайте по одному экземпляру на комнату.

Некоторое время в аудитории стоял гам, как в заурядном школьном классе или вечернем кружении галок вокруг колокольни, - распределяли учебники. Естественно, руководила распределением Лина.

- Итак, Уильям Джемс. Передовой педагог. Не материалист. Будем держать это в уме и в некоторых случаях спорить. Однако обширность знаний и блеск изложения так пленительны, что психология как наука, надеюсь, заинтересует вас... если вы способны мыслить не по шаблону и не только о каждодневных практических делах и заботах, но и об отвлеченных понятиях.

Федор Филиппович произносил вступительное слово, расхаживая по классу, заложив за спину руки и то ли насмешливо, то ли нервно кривя тонкие губы под каштановыми усами.

Может быть, он не возлагал на своих слушателей особых надежд. Предмет разговора был интересен ему прежде всего для себя самого. Он как бы беседовал с ученым-психологом Уильямом Джемсом.

- Вы утверждаете, коллега, что организация воспитательного дела в США лучше, чем во всех остальных странах. Через несколько поколений, утверждаете вы, Америка будет способна принять на себя руководство в воспитании мира... Какие же основания для столь оптимистических взлетов фантазии? Разве что богатство?.. Да, Америка прочно и несравненно богата. А мы бедны. Были и есть... Но вот Белинский... "Завидуем внукам и правнукам нашим, которым суждено видеть Россию в 1940 году, стоящую во главе образованного мира, дающую законы и науке и искусству и принимающую благоговейную дань уважения от всего просвещенного человечества". Эти слова, коллега Джемс, сказаны были в прошлом веке. В рабской России. Когда русский крепостной народ, не знающий грамоты, не подозревал, что есть просвещение. Могучая мечта! Вы пожимаете плечами: "Может ли это такое сбыться?" Не знаю, коллега Джемс. Наша школа в состоянии разрушений и поисков. Мы мастера разрушать. Что касается поисков... будем учиться. Кто ищет, находит. Относительно же первенства Америки в воспитании мира... вы слишком практичны, господа американцы, слишком дорожите материальными ценностями, вам не хватает духовности... Впрочем, я говорю не о народе. Народ - это что-то большое, загадочное... Не решаюсь судить о народе.

Без малейшего сопротивления со стороны Лины и Клавы Катя завладела выданным на их комнату учебником. Обе ее подружки после лекций вмиг улетучились заниматься общественной деятельностью. Клава - член кухонной комиссии. Что бы ни толковал, кривя тонкие губы, Федор Филиппович о практических делах и заботах, именно ими была каждодневно занята ее голова. В течение лекции она не отвела от преподавателя глаз, прилежно слушая и почти ни слова не слыша, ибо весь урок раскидывала мозгами относительно обеда: завтра, послезавтра, особенно нынче. Особенно нынче! Первый учебный день. Порядочно прибыло новеньких. Не просчитаться бы с порциями.

Понятно поэтому, что, несмотря на старания Федора Филипповича, представление об ученом психологе Уильяме Джемсе у Клавы составилось довольно расплывчатое. Правду сказать, всего и запомнилось - Джемс.

Катя между тем бодро шагала в общежитие с Джемсом под мышкой. Занимательный день! Занимательный тип Федор Филиппович. Почему-то кажется Кате, он и сам впервые знакомится с Джемсом, вместе с ними входит в новую область. Говорит, будто думает вслух...

Катя спешила. Учебный корпус - двухэтажный особняк, реквизированный у купца, разбогатевшего в старое время на скупке костей для мыловарения, стоял на зеленой улочке в получасе ходьбы от лавры. Катя спешила, почти бежала. Давно не испытывала она такого подъема, интереса к жизни, возбуждения ума!

Может быть, в ней сидит дар ученого? Был спрятан, глубоко где-то зарыт, неблагоприятные условия жизни не давали раскрыться. Да, вероятно, так и бывает. Все случается вдруг. Где-то таится и вдруг...

Он догнал ее возле трапезной. Он - это тот, экзаменовавшийся вместе с Катей некрасивый парень, у которого один глаз глядел прямо, а другой косил вбок.

- Ух! - громко выдохнул он, косясь на нее. - Ну и несетесь! Насилу догнал.

- Зачем?

- Здравствуйте! Затем, что учимся на одном курсе. Вас знаю, Эф-Эф разрекламировал. А я без рекламы, просто Григорий Коньрев. Будем знакомы. Мой девиз - равноправие, но для вас в виде исключения обед получу.

И он зашагал в очередь к оконцу кое-как сколоченной фанерной перегородки, делившей бывшую монастырскую трапезную на теперешнюю студенческую столовку и кухню.

- Bravo, постные щи! - возвестил он, неся оловянные тарелки с жиденьким варевом из листьев капусты.

- Мясные бы лучше, - возразила Катя.

- Толстовец, и никого живого не ем. - Он жадно хлебал щи, успевая между двумя ложками озадачить Катю новым сообщением: - Не убиваю. Борюсь со злом непотворением злу. Из-за толстовских убеждений меня и в армию не взяли.

- А не потому... - Катя вовремя спохватилась, прикусила язык.

- ...что кривоглаз? - спокойно продолжил он. - Нет. Я им доказал, что спасти мир может только толстовство. Вам я тоже докажу. Вы, мне кажется, соображаете.

После обеда Катя все-таки от него улизнула. Постные щи и полполовешки ячневой каши только раздражили аппетит, есть еще больше хотелось, но дома ни черствой корки не сыщешь.



Она сбросила туфли и с ногами забралась на кровать.

Что же есть психология? Наука. А преподавание что? Искусство. Прекрасно, прекрасно! Хорошему учителю мало знать, говорит Джемс, необходимо "особое дарование, тонкий такт, понимание положения каждой минуты".

Положение каждой минуты? А помните, Катерина Платоновна, одну минуту на первом вашем уроке, когда вы встали в тупик перед задачей на четыре арифметических правила и провалились сквозь землю?

Молодчина Уильям Джемс! Катя читала его беседы не отрываясь, увлекаясь все больше. Пока не спорила. Пусть он не материалист, пусть, бог с ним, пока незаметно, но Катя, читая его, исполнялась уважением к себе за то, что была и будет учительницей. Так почтительно, влюбленно и так понятно говорит ученый с учителями о замечательном учительском деле. Так свободно...

Нет, не всегда понятно. Поток размышлений, ассоциаций, отступлений в различные области обрушивается на Катю. Она изо всех сил напрягает волю и голову, чтобы следить за мыслью, ухватить суть доказательств.

Юмор освежает ее. Да, представьте, оказывается, можно и об ученых предметах иногда рассказывать с юмором и массой жизненных случаев. Такие страницы легко и интересно читать. Запоминаешь мгновенно. Но вот снова теория. Стоп. Вернемся назад. Перечитаем. Еще, еще, еще раз. Подумаем.

... - К следующему занятию вы сделаете конспект первой лекции, сказал Федор Филиппович. - Каждую неделю вы будете конспектировать главы одну за другой. Вы будете учиться самостоятельно думать, анализировать и излагать... хотя бы грамотно. Я имею в виду логику рассуждений и выводов.

Лина и Клава задание Федора Филипповича встретили кисло. А Кате, хотя она, как и все ее однокурсники, никогда не писала конспектов, даже водить по бумаге пером доставляло удовольствие.

С чего же начать? Психология - наука, преподавание - искусство. Это мы поняли. Дальше мы поняли: важно знать психологию детства, но не убивайтесь, если вы не ученый-психолог. Вы им можете стать. Можете стать им, оставаясь учителем.

Здорово забирает этот Джемс за живое!

Громкий стук в дверь прервал размышления Кати о воспитании воли, врожденных и приобретенных реакциях и законах привычки.

Стучали, вернее сказать, дубасили в дверь кулаком.

- Делегация!

Дубасил парень ростом с каланчу, в синей косоворотке, туго подпоясанный узеньким ремешком, в сандалиях на босу ногу.

Распахнул дверь, отступил. Вперед вышли Лина и Клава, что-то белое, пестрое, сиренево-розовое неся на вытянутых руках, как в опере вносят золоченые блюда с лебедями к государеву столу.

- Коля Камушкин, секретарь комсомольской ячейки, - кивнула Лина на парня. - Не задавайся, Камушкин, всего неделя, как выбрали. - И важно, будто открывая собрание: - Товарищ Бектышева, да встань же! Говорят тебе, делегация!

Катя вскочила, сунув ноги в растоптанные туфли, поправляя упавшие по плечам волосы. "Не говорите! Все поняла. Не произносите речей!"

Но разве могла Лина Савельева, активистка, член студкома, - разве могла она, при ее выдающемся положении в техникуме, не произнести подходящей к случаю речи?

Так по инициативе студкома, при поддержке бюро комсомольской ячейки студентке техникума Екатерине Бектышевой, бесстыдно ограбленной классовым врагом на пути ее следования к пролетарской учебе, было выделено из фонда горсовета и торжественно вручено одно ситцевое платье, две смены белья, один ордер на зимнее пальто.

- Теперь можешь забыть о нужде и полностью отдавать умственные силы учебе, - подвел итоги секретарь комсомольской ячейки Коля Камушкин.

Лина запустила глаз в Катину тетрадку.

- Батюшки светы, она уж и конспект накатала. Катерина! Непостижимая личность, светлый луч...

- Неуместное сравнение, если продолжить анализ пьесы Островского, строго возразил секретарь ячейки Коля Камушкин. - Она светлый луч, а мы? Темное царство?

- Ну, пошел принципиальничать. Знай: Катерина Бектышева - украшение четвертого курса.

И как-то само собой получилось, спустя день Катя писала для Лины конспект главы из "Бесед с учителями".

- Понимаешь, топливный кризис, - горестно делилась Лина, искренне чувствуя себя в ответе за топливный кризис, нехватку крупы и капусты и все остальные нехватки. - Оглянуться не успеешь, как зима катит в глаза, а у нас ни поленца. Абсолютно нечем топить. Заведующий бросил призыв: все общественные организации на помощь!

Понятно, в такой напряженной ситуации члену студкома не до

психологии.

И Катя засела писать второй вариант конспекта. И... увлеклась. Нужно этот второй вариант построить так, чтобы нисколько не походил на первый. В первом сначала рассуждаем, доказываем, а затем делаем вывод. А можно наоборот. Можно по-разному строить дом. Без затей, как ее Ивановская школка, или с затеями, в деревянных кружевах и резьбе, как бывшая пятистенка Силы Мартыныча, теперь сельсовет, или с мезонином, балконом, колоннами, как усадьба матери в Заборье.

Интересно искать другие примеры, другие слова. Короче говоря, эта работа Кате была не скучна. Напротив, фантазия разыгралась, второй вариант получился вольнее, может быть, даже и лишку подпустила она в новое сочинение вольностей. Так или иначе, второй вариант писался с охотой.

Но когда дело дошло до третьего...

В их девичьей комнате у каждой кровати по тумбочке. Катино имущество из фонда горсовета все умещалось в тумбочке. Лина побогаче. У Лины под кроватью берестовый короб. У Клавы и вовсе кованый сундучок на замке, не очень великий, но под койку не лезет, приютился у печки.

Клава сидела на кованом сундуке с "Беседами" ученого Уильяма Джемса на коленях, и ее светленькие глазки жалобно и кротко молили:

- Катенька, выручи... И я когда пригожусь.

Третий вариант писать уже не интересно. И трудно. Все погасло, гладенько, аккуратно.

Клава без критики переписала в свою тетрадку конспект.

- Катька, хвалю, во! Руку набила. Спасибо, Катя, истинный друг, вся на деле.

Пригладила перед зеркальцем уложенные на ушах кренделями косички и до свидания.

Так и пошло. Катя писала по три варианта каждой главы, а Федор Филиппович похваливал серьезно работающую троицу савельевской комнаты.

Савельевской комнату называли по Лине. Лина выступала на собраниях. Лину выбирали в президиум. Лину назначали в разные комиссии и подкомиссии, и удивительно, как только техникум целых два года со дня открытия сумел продержаться без Лины Савельевой.

Разумеется, подружки ценили Катин бескорыстный труд на общую пользу и старались отплатить чем могли, так что в конечном счете труд получался не совсем бескорыстным.

Вот, засидевшись в читальне, Катя на всех парусах несется домой: ее очередь мыть в комнате пол. Прибегает - и что же? Пол вымыт.

- Ладно, ты уж конспекты пиши, - снисходительно бросит Клава Пирожкова.

Что касается Лины, раза два в месяц она закатывала пир на весь мир. Пир у устраивались, когда в воскресный день кто-нибудь из деревенских, а то и отец, приезжали на базар. Привозили Лине из дома гостинцы - четвертную бутылку топленого жирного молока темно-желтого цвета, пяток ржаных сдобных лепешек, пяток круто сваренных яиц.

Поджидая с базара землячков или отца, Лина выпроваживала Катю с Клавой из комнаты.

- Девчонки, поболтайте где-нибудь, покамест тятя кипяточком побалуется.

Они уходили, а она молнией неслась в кубовую, до краев наливала жестяную кружку, доставала из тумбочки несколько сбереженных для этого случая ландринков из студенческого пайка и, подперев щеку ладонью, жадно слушала деревенские новости, какие рассказывал тятя, прихлебывая маленькими глотками кипятка, обжигаясь о горячую жесть.

- Ситуация у нас в деревне, Акулька, таковская...

Из-за этой Акульки (привязалось постылое имя, и справка казенная есть, а нет, не отвяжется!), по этой самой причине выпроваживала Лина подружек, не показывала им своего партийного, боевого отца. Весь фронт гражданской войны прошел, крестьянскую жизнь ставит на новые рельсы, а она прячет такого геройского отца! И ведь идейная комсомолка, а вся погрязла в предрассудке. Наедине с собой она без пощады критиковала и бичевала себя, но не в силах была побороть предрассудок.

Зато вечером, когда с базара разъедутся, опасность минует, Лина во всю ширь своей размашистой натуры выставляла деревенские гостинцы на стол.

- Ешьте, подруженьки, наедайтесь до другого базара, молочко пейте топленое.

Кроме девчат, приходил еще один гость. Более всего перед ним не хотелось ей быть Акулькой. Хотелось, чтобы он ее знал не деревенщиной, вчера из лаптей, а культурной горожанкой Линой Савельевой.

Гость был курсантом Военной электротехнической школы, или, как ее называли кратко, - ВЭШ.

Все знали, и Катя знала: ВЭШ - дитя революции. Юное, еще не исполнилось года, как явилось на свет. Суждено было начаться существованию ВЭШ в той же Сергиевской лавре, по соседству с

общежитием педагогического техникума.

Катя Бектышева с подругами из своих окон наблюдала, как в положенный час маршируют красноармейцы, вернувшиеся с гражданской войны. Отвоевали. Теперь усваивают науку, в первую очередь нужную Советской стране.

Из окон савельевской комнаты видны Чертоги. В прежние времена им было название - Царские. Фасад в богатом разноцветье изразцов, сдвоенные окна, как бы в рамках из пестрого камня, под цветными кокошниками, другие затейливые архитектурные украшения придавали Чертогам праздничный вид.

Теперь над главным входом в Чертоги на красном полотнище едва не аршинными буквами выведено: "Коммунизм - это есть Советская власть плюс электрификация всей страны. Ленин".

Призыв и приказ: электрификация всей страны!

Давно ли ты, Катя, читала Толстого и Чехова при тощем огонечке лучины? Горько ело дымом глаза, ты вытирала слезы, сморкалась, за вечер платок вымокнет насквозь, нос от копоти прочернится.

И вот - электрификация. И рядом с тобою люди, мобилизованные Советской властью открывать и устраивать новый этап хозяйства и жизни страны. Катя думала об этом другими, простыми словами, но смысл был именно такой высокий, небудничный.

Между тем, судя по Лениному гостю, курсанты ВЭШ, которым предназначалось в будущем осиять электрическим светом всю Советскую землю, были довольно обыкновенными людьми.

Лениного гостя звали Степан Бирюков. Лина его называла Степанчик или чаще Бирюк.

- Бирюк, здорово! - с притворной небрежностью встречала она.

А он хоть и большой, неловкий и увалень, а совсем не бирюк, не угрюм. Но стеснителен. Все как будто боится помешать.

Лина насмешничала:

- Как только ты, Бирюк, воевал? С тебя апостола святого писать.

Он молча улыбался добродушной улыбкой, снимал со стены гитару и тихонько наигрывал, подбирая мелодию.

Версты, как дни, пролетают,

Конь подо мною кипит.

Юность моя удалая

Цоканье звонких копыт.

- Жаров, Александр Жаров, наш комсомольский поэт.

Самые боевые мотивы у Бирюка звучали задумчиво, даже грустновато.

Савельевская комната выделялась в общежитии. У них гитара. Правдами или неправдами Лина раздобыла ее, когда оборудовала у себя в селе красный уголок. Красный уголок то ли временно, то ли навовсе закрылся, и гитара перекочевала в общежитие техникума. На гитару вечерами сойдутся девчата из соседних комнат. Три койки, три табуретки, Клавиин сундук - не хватало сидений, так тесно набьется народу. Вечерами под гитару поют. Или спорят. О чем? Самые животрепещущие вопросы до хрипоты обсуждались в савельевской комнате.

Когда наступит мировой коммунизм? Может ли комсомолец полюбить кулацкую дочь? Надолго ли нэп? Как мы относимся к нэпу?

Нужно не забывать, что староста комнаты Лина Савельева была ведущим общественным деятелем техникума. Оттого и темы разговоров бывали почти всегда злободневными. А может быть, сказывалось влияние курсанта ВЭШ Бирюкова, постоянного гостя савельевской комнаты.

38

Он и затащил Катю в клуб ВЭШ на субботние танцы.

- Ваши педагогички все по субботам у нас, таких, как ты, улиток немного.

- Зря агитируешь, потерпишь поражение, Бирюк, - скептически пожимала плечами Лина. - Мы с Клавой уж как старались - не вышло. Вся в науке. С лекций в читальню, из читальни на лекции.

- Не в одних читальнях и лекциях жизнь. Айда, Катя, на танцы. Познакомлю тебя там с одним...

Напрасно он это сказал. В том же духе агитировала и Лина: "Познакомлю с одним". А Клава и вовсе напрямик: "Дурочка, зима пролетит, и ты полетишь на край света, в деревенскую глушь. Досидеться до старой девы охота? Здесь шанс - женихов целый полк. Лови счастье за хвост... если, конечно, сумеешь".

Катя обливалась огнем. Ее дикая стыдливость противилась. Она обливалась огнем, представляя - входит, зал полон, все взгляды обращены на нее: "Не стерпела, пришла-таки ловить за хвост жениха".

Но Бирюков не отступал и уговорил в конце концов.

- Никто тебя там не съест. У нас духовой оркестр не какой-нибудь военный. И клуб не какой-нибудь - в церкви. И церковь не простая, в прежние времена была домовою государевой, на случай царских приездов в Чертоги. Памятник архитектуры. Посмотришь.

И Катя пошла с единственной целью посмотреть памятник архитектуры, бывшую домовую государеву церковь, где теперь оборудован клуб. Впрочем, может быть, и потанцует.

- Без пары не оставим. Кавалеры на вальс и тустеп обеспечены, улыбался добрый Бирюк.

Она поднималась с подругами железной узорчатой лестницей. Навстречу из бывшей домово́й церкви Чертогов неслись звуки вальса "Дунайские волны". И скованная Катина душа расковалась. Глупая улитка, чего ты пряталась? Этого парадного зала со сводчатым потолком, сиянием граненых люстр, фресками и тончайшей лепкой на стенах, золочеными перилами высоких хоров, откуда льется нежная музыка, томящая сердце, качающая, как на волнах.

Лина исчезла. Вон плавно движется в танце, запрокинула голову и как-то ново и кротко глядит в глаза своему Бирюку. И Клавы нет. Где она? Зал наполнялся танцующими. Одна за другой вступали в круг пары. Катя стояла у стены. Возле стояла незнакомая девушка, курносенькая, довольно миловидная. Катя увидела какое-то ищущее и стыдящееся выражение ее лица и со страхом подумала: "Неужели и я такая жалкая?"

В это время раздалось спасительное, отчего шумно забилося Катинo сердце:

- Разрешите?

Не видя, кто он, Катя подняла руку положить ему на плечо и тут же услышала:

- Она приглашена.

Ее приглашали сразу двое. Тот, другой, отстранил первого, обнял ее, как обнимают в вальсе, ввел в круг и закружил, летящую, легкую, не смеющую на него поглядеть. Все в ней ликовало, и она мигом забыла курносенькую у стены, с ее ищущим взглядом.

- Долго я тебя дожидался, Катя.

Она промолчала. Что он говорит? Наверное, ей послышалось. Что с ней? Кружится голова... Как приятно танцевать, как чудесно, как весело!

Он танцевал ловко, у него сильные руки, он на голову выше ее, Катя слышала над ухом его голос.

- Я давно тебя знаю. Бирюков звал к вам в общежитие, а мне что-то как поперек: дождусь своего случая, по-другому встретимся. Я тебя почти каждый день вижу, то на лекции идешь, то обедать в трапезную. Сколько раз встречал во дворе, а ты и не заметила.

Музыка на хорах умолкла. Иные курсанты, оставив девушек, отходили покурить на лестничную площадку, а девушки, столпившись группками, разгорячившиеся и возбужденные, шептались, оправляя платья и обмахиваясь платочками; а иные кавалеры прохаживались под руку с дамами в ожидании следующего танца.

- Как вас зовут? - спросила Катя.

- Максим.

Они стояли посреди зала на виду у всех, он с ласковым любопытством глядел на нее.

- Я из Нижнего. Максимом в честь Горького назван.

- И я родилась на Волге, как вы.

- Значит, будем на "ты". Во-первых, земляки, во-вторых, комсомольцы не выкают.

- Я не комсомолка.

- Будешь, - спокойно возразил он. - А я через комсомолию перешагнул, сразу в партию, на фронте, девятнадцати лет. Хочешь, выйдем на волю, поговорим. Или танцевать будем?

- Как хочешь.

Он взял ее за руку и повел к выходу сквозь тесную и душную толпу, чьи-то глаза ярко блестели, пахло дешевыми духами и потом.

- Гляди, уже и уводит, не терпится, - услышала Катя позади негромко ухмыляющийся мужской голос.

Она рванулась из его руки. Максим быстро оглянулся на голос, но не задержался и крепко вел ее, сдвинув брови, плотно сжав рот.

- Как ты мог? - задыхаясь, шептала она, когда они спускались со второго этажа железной узорчатой лестницей в просторный пустой вестибюль.

- Дай номерок, - сказал он.

Взял на вешалке ее пальто, они вышли на улицу.

- Мог? Смел промолчать? - в отчаянии говорила она.

- Вызвать на дуэль? - усмехнулся он. - В ВЭШ такой моды нет. Не положено.

- Не положено! Значит, пошлость, гадость - все мимо ушей. Валяйте, хамите. Мы в стороне, у нас не положено.

- Потолкую с ним после. Вправлю мозги. Не сейчас же.

- Я-то думала, вы красноармейцы, курсанты ВЭШ...

- Думала, ангелы без крыльев, в курсантских гимнастерках?

Был темный вечер, с черным небом, усеянным звездами. Под ногами хрустко шуршали опавшие листья кленов и лип. Изредка цокнет спросонок галка в ветвях. Черной молнией мелькнет в черноте ночи летучая мышь.

- Я его знаю, - говорил Максим. - Неплохой парень, да трепач, язык мельница, без разбору мелет. Потолкую с ним после, разьясню, что к чему, спокойно говорил Максим.

Его спокойствие возмущало и оскорбляло ее. Нет, он не тот. Он не так



должен был себя повести. Предал с первой же встречи! Катя старалась высвободиться из его руки, он не пускал - у него железная рука, держит, как тиски. Впрочем, она плохо представляет, что такое тиски. Книжное сравнение, пусть. Все кончено, кончено. Что? Разве что-нибудь начиналось?

- Не одни стихи да музыкальные мелодии в жизни. Всякие словеса услышишь, - продолжал он.

- Неужели не замечаешь, разве в нем дело? В тебе... Ты смолчал. Меня оскорбили, а ты смолчал.

- А ты не замечаешь: полез бы объясняться при всех на танцульке, сразу выставил бы тебя напоказ. Тут же заработали бы язычки на все ваше педагогическое общежитие. Тебя от длинных языков оберегал, поняла?

Может быть, он прав. Может быть, его молчание и рассуждения справедливы и благоразумны, но то веселое и легкое, что возникло в ней во время танца, оборвалось. Она чувствовала себя напряженно. Чужой человек ведет ее под руку. Кто он? Максим? Что за Максим?

Они вошли на то запущенное кладбище возле храма, где в первый день прихода в лавру Катя сидела на старом надгробье, поросшем бархатным мхом. Тогда мимо промаршировал красноармейский отряд. Катя не знала тогда, что это курсанты ВЭШ.

- Хочешь, посидим, - предложил Максим.

- Все равно.

Они сели на старое надгробье. Как глупо и плохо все получилось.

Светят сквозь деревья высокие звезды, играют лиловыми и голубыми лучами, а внизу, на земле, во все стороны глушь, тишина. Глушь.

- Не вышло у нас сегодня знакомства, - сказал Максим. - А, между прочим, отчасти и вышло. Земляками оказались, оба волжане, вот уж и близит.

- Никакая я не волжанка, - сухо возразила Катя. - Давно это было, в детстве, на Волгу и не пускали без няни.

- С нянями росла?

- Да. Мне пора. До свидания.

Катя поднялась, сделала шаг и споткнулась, едва не упала. Он нечаянно - конечно, нечаянно! - неловко подхватил ее за грудь, на миг она почувствовала на груди его жесткую руку.

Она резко выпрямилась и тотчас нагнулась к земле.

- Что это? На что я налетела?

Она трудно дышала, в темноте не видны были гневные красные пятна и смятение у нее на лице.

- Крест подгнил, повалился наземь.

- Нам нечем топить, возьми, - хмуро приказала она.

Максим пнул ногой крест, вывернул перекладыны и понес на плече. И говорил, стараясь не замолчать.

- У нас в Сормове в гражданскую все заборы истопили, ни щепки не сыщешь. Голодуха, от голодухи еще пуще мерзли, терпения нет. Мы с отцом вместе на гражданскую ушли, а вернулся один. Отец слесарем был. Развитой был, по культуре не уступит другому учителю.

- Да? - равнодушно уронила Катя.

Максим донес до комнаты разрушенный крест. Сложил у порога. В комнате пусто, Лина и Клава танцуют в клубе, бывшей домово́й государевой церкви. Духовой оркестр играет "Дунайские волны".

- Завтра приду, напилю вам дров, - сказал Максим.

Она молча кивнула.

И он помолчал и сказал:

- Ты гордая. Я и представлял тебя гордой.

Он глядел на нее открыто и ясно. У него серые, переменчивые глаза то темней, то светлей, глядят не мигая. Прямо. В упор.

39

И все же, и все же... Больше я никогда с ним не встречусь! Почему? Не знаю. Как было хорошо поначалу! Чудный вальс "Дунайские волны", давно когда-то я слушала перед сном, как Вася играет "Дунайские волны". Маме не нравилось: "После "Лунной сонаты"? Мещанская музыка!" А я слушала, пока не усну. Зачем я вчера ушла с ним из клуба? Позвал, и сразу пошла, и меня оскорбили, и, хоть он говорит, что вправит тому нахалу мозги, не смоешь... А после? Ну, что? Ну, что после?.. Катя Бектышева, ты улитка, ты недотрога, нетерпимая, неотходчивая, не простая. Рассказать Лине, исхохочется... А я? Куда мне уйти? Нет, больше я с ним не увижусь. И хватит думать об этом. Оглянись! Слепая, увидь эту прозрачную осень, золотой свет, разлитый по лугу и полю. Вон вьется дорога среди белой стерни овсов, вон подбежала к холму, на холме оранжевый лес, темными свечами высятся ели между березок. И тишина... но вот...

- Слышите? - спросил Федор Филиппович.

Все остановились, запрокинули голову к небу и глядели в голубую бездонную глубь, стараясь поймать, что он слышит. Тишина. Но вот... Печальный звук долетел откуда-то издали, едва уловимо. И умолкнул. И снова. Ближе, печальней.

- Смотрите, смотрите!

Высоко на горизонте, над лесом, зачернел вычерченный штрихами на

голубизне неба клин.

- Журавли.

Они летели стороной, но уже можно было различить вожака во главе клина, и видны были медленные, редкие взмахи крыльев, и временами доносилось то особенное осеннее курлыкание - то ли зов, то ли прощание, от которого сердце заново тоскливо и сладко.

- Из-за одних журавлей стоило сюда прийти, - сказала Катя. - А дали! Ни обрывов, ни крутизны - волнисто, плавно кругом...

- Вы умеете видеть, - сказал Федор Филиппович.

Несколько дней в вестибюле курсового здания техникума на доске объявлений можно было прочитать: "Кто любит видеть и узнавать искусство и природу, собирайтесь в поход по нестеровским местам", - приглашал Федор Филиппович.

Ухватили для похода славный октябрьский денек, ясный, холодный. Впрочем, после полудня солнышко разыгралось, стало даже припекать. В молодом лесочке на холме запылали листья осин; струилась по ветру, текла, кипя блеском, у подножия холма изумрудная озимь. Разноцветными полосами разрисованы сжатые озимые и под паром поля. Неглубокий овражек развалил надвое давно скошенный луг. Ивы свесили длинные плети ветвей, задумались над сонным прудом, и не движется в ограде острой осоки беззвучная речка. Тихая осень. Нестеровская равнинная Русь.

Катя отстала, шла одна. Никто не знал, что вспомнилось ей, отчего кровь встревоженно застучала в висках. Никто не знал, как однажды назвали Катю нестеровской девушкой...

Федор Филиппович крупно шагал впереди группы, как странник, опираясь на сучковатую палку. Здесь, на природе, он казался проще, чем за преподавательским столиком. Нервная гримаса не кривила губы. Он был без шляпы.

По бокам его степенно шагали два мальчика, сыновья-погодки, двенадцати-тринадцати лет, молчаливые и серьезные, старший - в очках с тоненькой металлической оправой. Оба несли картонные папки с тесемками, завязанными бантиком.

Группа, за исключением двух первокурсников и толстовца с четвертого курса, состояла из девиц, как воробьи, не смолкая о чем-то болтавших.

- Девчата, споем боевую, подъемную! - предложила Лина, привыкшая всегда что-нибудь организовывать.

Как родная меня мать провожала.

Так тут вся моя родня набежала,

грянул девичий хор.

Катя увидела: оба мальчика с беспокойством поглядели на отца. Федор Филиппович впереди группы стал, опираясь на палку.

- Товарищи студенты!

Песня смолкла, оборванная строгим тоном учителя.

- Ваша песня хороша и подъемна, но не для нашего случая. Мы идем слушать нестеровскую тишину, глядеть нестеровские краски, испытать его чувства.

Он взял у младшего сына папку, развязал, вынул лист. Стройные, вытянувшиеся ввысь стволы весенних березок. Деревянные древние кресты меж березок. И девушка. В темном одеянии до земли, наподобие сарафана, но необычном, не "мирском", с белыми длинными рукавами. Белый широкий плат, мантией опущенный с головы на плечи. В руках высокая горящая свеча. И скорбный лик... Да. Не лицо, а лик, тихий, безысходно-кручинный. Вот она какая, нестеровская девушка.

- Этюд к картине "Великий постриг", - сказал Федор Филиппович. - Не вникайте в название, его внешний религиозный смысл. Вглядитесь вглубь. Вглядитесь в русскую девушку. Целомудренность, чистоту, поэтичность увидел в ней и написал художник.

- Со свечкой, в монашеском, - растерянно бормотнула Лина.

- Я вам сказал, это внешне, или вы глухи? - нервно кривя губы, отрезал Федор Филиппович. - Впрочем, это - мое толкование Нестерова.

Он крупно зашагал вперед. Серьезный мальчик, в очках, видимо смущенный резкостью отца, желая смягчить, обещал доверительно:

- Главное дальше.

Дальше наши странники пошли молчаливее и тише, слова Федора Филипповича и картина разбудили что-то, от чего болтовня утихала. Только Лина шепотом делилась с Катей:

- А он чудноватый. Ни от кого таких призывов не слышала. Ты что? запнулась она.

Потемневшие, казалось, выросшие глаза на бледном лице Кати смотрели мимо, не отвечая.

- А... - досадливо отмахнулась Лина. - Кругом загадки, голову с вами ломаешь.

"Так вот какая нестеровская девушка, - думала Катя. - И я такая? Нет. Как прелестна! Но зачем же она отказалась от жизни? Жаль ее. А я хочу жить. Не хочу покоряться, смиряться. Я не знала тогда, что нестеровская девушка - покорность несчастью. А баба-Кока сказала: "В ней (во мне) и тишина есть, и буря..."

К обеду они добрались до деревни Комякино. Здесь, в обычной, даже

невзрачной, темноватой, с маленькими оконцами крестьянской избе, Нестеров писал свою дорогую картину с утра до ночи. День за днем. Наспех поест, кое-как, не замечая что. Снова за кисть. С утра до ночи. День за днем. Щеки ввалились, лихорадочно горели глаза. К вечеру, разогнув спину, выходил на крыльцо и сидел на ступеньке, пока не опустится осенняя ночь или не примется до утра сыпать нудный, меленький дождик. И не уснуть, и перед глазами все одно, все одно.

Федору Филипповичу тогда шел десятый год. Он был Федей, пытливым, мечтательным мальчиком. Детство так далеко, бесконечно далеко! Совсем иной мир, лучезарный, полный даров и загадок. Федя приходил сюда, в Комякино, с соседней деревенской дачки и тайком, не дыша от участия, любопытства, восторга, следил за рождением картины. Вот выросла сосенка, всего из нескольких веток. Как дитя возле крестьянского мальчика.

Иногда художник спрашивал:

- Он тебе люб? А вот тот осенний лес тебе люб?

Федор Филиппович подозвал старшего сына в очках. Мальчик заспешил развязать тесемку на папке, затянул в узелок, долго не мог справиться с узелком, смущался, краснел; отец терпеливо выжидал, не подгоняя. Вынул лист. Держа за углы, поднял лист высоко. "Видение отроку Варфоломею". И то, что видели они, два с лишним часа шагая из Сергиевской лавры в деревню Комякино, - тихие осенние поля и луга, янтарный свет березовых рощ, пламенеющий багрянец осин и бледное прохладное небо, услышавшее запоздалый прощальный полет журавлей, - все с новой силой открылось им в картине.

"Я это видела. Нет, не видела. Видела, но по-другому как-то, не так. Все знакомо и незнакомо. Что это? Как он сумел?.." - думала Катя.

- Это искусство, - отвечал Федор Филиппович. - Смотрите, запоминайте, любите родную землю. Она говорит, поет, мечтает, полна мыслей, чувств. Это наша земля. Это Нестеров. А что вы не спросите о мальчике Варфоломее, как трогательно он поднял худенькие ручки, сплетя пальцы?..

- Будто молится, - заметила Лина.

- Мнение не ново, - сдержанно возразил Федор Филиппович. - Нашлись и среди художников, крупных художников, кто отвернулся от картины Нестерова: мистика, святость. А было так. Крестьянский мальчик, обыкновенный крестьянский мальчик, только ясный, как хрустальный день осени, взял оброть и пошел искать в лес лошадь. И видит под дубом старца с сиянием над головой. Не молитва, - строго повел Федор Филиппович взглядом в сторону Лины, - а встреча с чудесным. Вся душа - порыв к

правде и красоте... Вот что хотел сказать Нестеров. Смотрите, запоминайте: наша задумчивая, наша родная природа. Запоминайте, волнуйтесь: для нас нет в мире больше такой единственной, бессмертной, как наша природа. А нежные краски, тонкие, нестеровские... Я видел, как он писал... - неожиданно строго заключил Федор Филиппович и оборвал свою сумбурную речь.

...На обратном пути день переменялся. Задул ветер с севера, срывая с деревьев листья и кидая охапками наземь. Быстро, на глазах рощи становились полунагими, октябрьскими, и не золотыми, а ржавыми, небо низким, мутным, но пережитое не остывало в Кате, и она тайно чему-то все улыбалась.

- Рад, что вы поняли, - заметил Федор Филиппович. - Один великий художник сказал: искусство выводит человека из одиночества.

- Вы... - удивилась и смутилась Катя. Взглянула на мальчиков.

Они шли в нескольких шагах, сосредоточенные и молчаливые, не было в них мальчишеской резвости.

- Федор Филиппович, какой был чудесный день! - сказала Катя.

- Знаете что... - решил он. Несколько мгновений глядел на нее, как бы вчитываясь в лицо, и, как бы уверившись в чем-то, позвал: - Мальчишки, сюда!

Они подошли.

- Развяжи-ка, - велел он старшему, тому, что в очках.

Сын, не спрашивая, не удивляясь, развязал папку.

Там было несколько репродукций Варфоломея, Федор Филиппович выбрал одну, тоже в красках, но меньше размером, отчего она казалась еще теплее, прелестней. Федор Филиппович откинул руку с листом, полюбовался, прищурил глаз, и отдал Кате:

- На память!

40

Решение пришло в тот же вечер нестеровского дня. Внезапно. Не очень самой Кате понятно. Но без колебаний. Надо объявить Лине и Клаве тотчас.

Инстинкт подсказал: нельзя об этом одновременно обеим. Надо врозь.

И после ужина она пошла из трапезной в общежитие с Линой, что обычно означало - в шумной компании общественных деятелей, руководящих и организующих жизнь всего техникума.

На сей раз Лину сопровождал один Коля Камушкин. Зато мероприятие обсуждали они замечательное! Представьте, надумали выпускать литературный журнал. Не стенную газету, задачи которой - политическая

информация, лозунги, пропаганда советской идеологии и образа жизни, - стенная газета давно выпускалась, дважды в месяц вывешивалась в учебном корпусе техникума. Был задуман журнал. Та же цель, а средства иные ли-те-ра-тур-ные! Они будут выпускать рукописный литературно-художественный журнал под названием "Красный педагог" с поэтичным эпиграфом "Сейте разумное, доброе, вечное..."

- Николай, находка! Открытие! - восклицала воодушевленная новым мероприятием Лина. - Мы нащупали дремлющие духовные запросы ребят. Есть ребята, что пишут. Стихи, повести, дневники. Возьми Бектышеву. Не тушуйся, Катя. Знал бы ты, какие повести она раньше писала! Недалеко до Тургенева, честное слово! Дура я, не сберегла; готовый материал, хоть сейчас в "Красный педагог", в отдел прозы.

Увлеченный не меньше Лины идеей журнала, Камушкин был готов продолжать обсуждение за полночь, но Катя тихонько подтолкнула Лину.

- Ведь мы условились...

- Да, правда. До завтра, Камушкин! Ты создан быть секретарем комсомольской ячейки. Я с тобой согласна во всем. А главное, у тебя нешаблонное мышление и вот уж несколько нет формализма. До завтра, Камушкин. У Кати личное дело...

Она включила в комнате свет, скупую, с самым малым количеством свечей электрическую лампочку, сбросила пальто, плюхнулась на койку.

- Ну? Делись.

Оптимизм и здоровая энергия бушевали в ней. Мучительный самоанализ Лине был чужд. Она считала нытьем и буржуазными предрассудками переживания вроде тех, что знала за Катей, и со вздохом приготовилась слушать очередную интеллигентскую исповедь, разочарования, сомнения...

- Выкладывай.

Спотыкаясь, Катя выложила, что не станет больше писать за Лину конспекты, не станет, не хочет, не может.

- С ума сойти! - ахнула Лина. - Катька, да ведь я по горло, буквально по горло в работе! Не представляешь масштаба! Топливо, писчебумажные принадлежности, пайки, политучеба, морально-идейный уровень - все на мне. А совещания, совещания, совещания! Сегодня в гороно, завтра в райкоме, студком, профком... Ка-а-тя! Пойми!

- Понимаю. Но писать за тебя конспекты не буду.

- Федор Филиппович догадался?

- Линочка, не проси, не буду.

- Да ты объясни, отчего, какая причина?

- Что ж объяснять? Без объяснений понятно.

- Худы мои дела! - пригорюнилась Лина.

Стукнула кулаком по тумбочке - крестьянский кулачок увесистый - в тумбочке звякнула оловянная миска.

- За каким чертом он нам нужен, этот тип из Америки, Уильям Джемс!

- Если вникнуть, он интересен и довольно понятен, если вникнуть... сказала Катя.

- Не было печали, черти накачали! Катька, неколебимо стоишь?

- Неколебимо, - вздохнула Катя.

Некоторое время обе молчали. Лина осваивалась с неожиданной новостью, что-то обдумывала.

- Та-ак. Слушай, Катерина Бектышева. А ведь пора мне для тебя общественную нагрузку подыскать. Рано или поздно уколут: живет под крылом безыдейная.

- Почему же безыдейная? - кротко возразила Катя.

- От комсомола в стороне, общественной нагрузки нет, уткнулась в своего Джемса...

Клаву, чтобы не говорить с ней о том же при Лине, Катя пошла встретить во дворе.

Осенний вечер, задернутый тучами, непроглядно темнел. Только бледно светились окна в келейном корпусе, общежитии педагогического техникума, и маняще - в просторных палатах бывшего Чертога, где теперь учились и жили будущие командиры электропромышленности. Невдалеке от трапезной уныло покачивался под ветром фонарь на высоком столбе. Сорванные осенью бесприютные листья шарили по плитам мостовой.

Клавы нет. Кухонная комиссия - не шутки.

Но вот деревянные каблуки самодельных башмаков застучали по каменным ступеням, и член кухонной комиссии с оловянной тарелкой, полной овсяной каши, с разбегу едва не налетела на Катю.

- Ты здесь зачем?

Без предисловия, торопясь покончить с неприятным вопросом, Катя выложила и Клаве, что не будет больше писать за нее конспекты, не хочет, не может. Все.

- С ума сойти! - точно как Лина, ахнула Клава.

Дальше пошли аргументы индивидуальные. Клава не упрасивала. Клава наступала. Катина неблагодарность - вот что ее возмутило!

- Забыла, что я за тебя полы мою, дежурства по общежитию и кухне несу! Добавки в обед и ужин забыла? Все поблажки забыла? Не помнишь?

- Помню и больше поблажек не хочу.



- Какая муха тебя укусила?

- Совестно Федора Филипповича обманывать.

- Батюшки-матушки, праведница объявилась! Катька, не дури. Много потеряешь.

- Клава, а ты пойми: стыдно обманывать. Все равно что ворует. И тебе не стыдно, что за тебя другие твою работу делают?

- А тебе не стыдно, что я к полам тебя не допускала? Вот где барская-то косточка сказывается, дворянская-то кровь! Ладно. Избаловали мы тебя. Точка. Знай, теперь полы за тобой, попотеешь, погнешься. И дрова за тобой, добывай. Испытаешь, что такое физический труд, испробуешь! А-а-а! вскрикнула она, с каким-то злым изумлением выкатывая светлые бусинки. А-а-а, вон отчего ты во двор выскочила, чем бы дома меня погодить!

Катя оглянулась - бежать, бежать, скрыться! В стороне, где качался под ветром фонарь, стоял Максим.

- Вон что тебя на волю-то выманило, - хихикала Клава, и глазки ее зло веселились и прыгали. - Предлог уважительный, хи! Не воронь, а то из-под носа уведут, останешься ни с чем, как была. Ступай, закрепляй позиции. А завтра твой черед полы мыть, побарствовала, хватит!

Какой выход? Возвращаться с Клавой домой, весь вечер сносить ее ехидные стрелы?

Катя подошла к Максиму.

- Здравствуй.

- Здравствуй. Проворонил, когда ты из трапезной возвращалась. А предчувствие велит:ждидайся. Внутри словно звоночек: выйдет, выйдет. И жду.

- Я не для тебя вышла.

- А получилось, что для меня. Я везучий. Этот вечерний час, попомни, у нас увольнительный. Сами себе хозяева, отдых. А нынче и вовсе выходной. Вас к Нестерову водили, знаю, рассказывай.

Что рассказывать? О чем? О том, что журавлиный клекот в прохладном небе поднял что-то неясное в сердце. Что-то томило. Куда-то влекло. И даже вчерашнее, нехорошее позабылось.

Впрочем, Максим всего лишь из вежливости осведомился о художнике Нестерове. Он был полон своими мыслями, чем-то необычным, только что пережитым, из ряда вон выходящим.

У него простое лицо, черты не классические, нос крупноватый, заурядное лицо, но, когда как сейчас, озарится улыбкой - все светлеет, преображается. Совершенно другой человек! Какое милое, хорошее у тебя

лицо, Максим, когда ты улыбаешься! Толстой сказал о красоте: если человека украшает улыбка... Максим, тебя украшает улыбка.

Он рассказывал:

- ...Прибывает из Москвы человек, знаменитый ученый. Воскресный день, никто не ждет, без зова прикатил познакомиться, как нас здесь обучают, готовят к выполнению на практике главной задачи...

- А из себя каков? Как говорит? Как одет? - перебила Катя.

- По виду спец. По наружности в бывшие, пожалуй, запишешь. При манжетах, при галстукке, бородка остренькая, как у них заведено. Что еще? И речь не простецкая, не нашего класса. А на деле большевик, да из первых! Самого Ленина знает, с Лениным планы ГОЭЛРО обсуждал. Нас повзводно собрали на встречу с ним в актовй зал, а он к нам по старинке: "Коллеги!" Будущими коллегами нас называет. Да как взялся рассказывать! По всем вопросам вводить в курс. До революции, рассказывает, они с товарищами сколько лет боролись, чтобы создать гидростанцию! Чертежами, цифрой доказывали громадную пользу гидростанции для государства. Сил ухлопали! А царское правительство по своей косности на все их доводы: нет.

- Категорически нет?

- Категорически нет. А мы? При нашем-то голоде, разрухе, едва из войны, мы - Волховстрой, мы - план ГОЭЛРО... Катя, ты в тысяча девятьсот двадцатом году где была?

- Во второй ступени училась.

- Так знай, тогда, в том девятьсот двадцатом, крестьяне деревни Кашино, Московской губернии, своими силами оборудовали электростанцию. Вникни: русские мужики, полуграмотные. То, бывало, "Эх, дубинушка, ухнем!" - а тут на тебе - электростанция. Еще ГОЭЛРО не утвердили, а они своими руками! Не гигантская электростанция - на гигантские сил не хватило, их мы будем строить, - а как-никак "лампочки Ильича" вон еще когда загорелись по избам. "Благодаря революции, - выступает на митинге один активист, - наука забила "неестественный свет" в стеклянный пузырек и преподнесла нам на радость. Благодаря революции". А Ленин - он к ним, в Кашино, на митинг приехал. Ленин-то слушает, всю от радости хлопает. Катя, чувствуешь?

- Очень!

Ей ли, Кате, не почувствовать, не понять эту радость, когда из стеклянного пузырька льется на всю комнату свет, разгоняя мрак из угрюмых углов, гася косматые тени на стенах, и не дымит, шлепаясь с шипением в лоханку, обгоревший конец лучины. Слишком недавно это

было: едкий до слез чад лучины, горькая копоть, нескончаемо долгие осенние вечера, тоскливые ночи; на сотни верст вокруг непроглядная темь, потонувшие в сугробах городишки с черными улицами, без фонарей.

А жаль, что электростанцию первыми построили кашинцы, а не в нашем Иванькове. В нашем Иванькове мужики тоже толковые, и председельсовета с головой, что бы догадаться, то-то повеселело бы в избах!

- В первую очередь для оживления заводов и фабрик предназначены стеклянные пузырьки с "неестественным светом", я имею в виду электрификацию, - прилежно разъяснял Кате Максим, как недавно она сама втолковывала азбуку на ликбезе иваньковским бабам. - Электрификация самая большая ленинская мечта и забота. И всем рабочим и крестьянам наказ. Слышала, какие Ленин делегатам VIII съезда на прощанье распоряжения дал?

- Не-ет.

- План ГОЭЛРО принят: Россию светом залить, заводы и фабрики на электрические рельсы поставить. Для делегатов выпущена книга под названием "План электрификации". Двести ученых над планом работали, все предусмотрено, взвешено - книжища почти в семьсот страниц получилась, а Ленин "томиком" ее называет. В шутку, конечно, уж очень дорог этот "томик" ему, верит Ленин в силу электричества. Без электричества темнота, прозябание, где уж там коммунизм. И объявляет Владимир Ильич делегатам приказ: когда изучите, каждый тотчас передайте "План электрификации" в ближнюю библиотеку, чтобы по этой книге могли рабочие и крестьяне учиться. Поняла?

- Очень!

- Дальше время прошло, Ленин требует отчет, как исполнен приказ. У него по каждому делу непременно отчет. Так и здесь. Если кто по халатности ту книгу про электрификацию не передал, того человека Ленин объявляет негодным для партии. Того из партии вон, с ответственного поста вон! И даже тюрьмой угрожает.

- Неужели? Так сурово? Я думала... Мне говорили, Ленин добрый.

- Для народа и трудящихся людей очень даже добрый! Но ежели ты враг революции или человечешка дрянь, доброты не жди. Милости не жди. К врагам революции Ленин без снисхождения суров.

- Максим, и ты такой?

- Сравнила! Кого с кем сравнила! - в удивлении воскликнул Максим. Меня с Лениным! Как язык повернулся?.. Ленин, это... это... Без него и я был бы не я, без него ни твоего техникума, ни нашей Военной электротехнической школы для отвоевавших красноармейцев... Кто перед

народом задачу новой жизни поставил? Он. А кто будет новую жизнь поднимать? Не кто иной - мы.

"Счастливые, - подумала Катя. - А я?"

- И ты, - будто угадал ее мысли Максим. - Твое дело тоже государственным можно назвать.

- Да? - улыбнулась Катя.

Воодушевление Максима заражало ее. Какой большой сегодня и значительный день!

41

"Здравствуйте, Катерина Платоновна!

Крепкого Вам здоровья и доброго благополучия на каждый час. Может статься, в шумной городской жизни Вы позабыли сельцо Иваньково, председателя сельсовета Петра Игнатьевича с супругой Варварой и сыном Алехой, а меня, нынешнего иваньковского учителя, Тихона Андреевича, и подавно.

Не верю! Ежели бы кто и сказал, не поверю. Иной год десяти стоит. Думается, многое Вы за год у нас пережили, что до конца след на сердце оставит.

Мы Вас очень даже помним, Катерина Платоновна! Подруга моя, Нина Ивановна, со слезами о Вас говорит, потому что Вы, сама того не зная, проблеск надежды в ней разбудили. После встречи с Вами на доньшке, а загорелась хоть слабая искра... Испытано моей Ниной Ивановной самое горькое, что есть в судьбе человеческой, но не будем про то вспоминать минуло.

У Вас все ново, Катерина Платоновна, и наша жизнь тоже на месте не стоит. Да только не одно хорошее в нашей жизни, а напротив - случилось злодеяние, про которое близкому человеку нельзя умолчать. Вы нам близкая и родная, оттого сообщая о случившемся горе.

Началось при Вас. Началось, когда Петр Игнатьич, следуя своей коммунистической совести, допытался и разоблачил врага Советского государства кулака Силу Мартыныча. Того кулака еще при Вас увезли, и Вы, покинув Иваньково, наверное, спокойно думаете, что на этом все кончилось. Не кончилось, Катерина Платоновна!

Председатель наш ума быстрого, неумемного. Точит его: может ли стать, чтобы Сила Мартыныч, хоть и за десятерых башковит, в одиночку у Советской власти пуды уворовывал! Мою бедную Нину Ивановну страхом, как цепями, сковал, а главные-то пособнички где? Допытался! Где догадкой, где хитростью выведал про свата в деревне Дерюжкино, в двенадцати верстах от нас: свату своему наш Сила мешки и сплавлял. Вы

еще невольно свидетельницей стали, когда один раз во вьюгу он Вас на санях обогнал, тот случай Нина Ивановна в подробностях описала.

Свата забрали. А Петру Игнатьевичу подметные письма подкидывать начали. Грозят: уймись, не то всего спалим, до трубы, а тебе пуля в затылок.

Варвара, председателева супруга, слезами изошла: "Петенька, не твое это дело - розыск вести. Отступи в сторону. На то есть чекисты". А чекисты и вправду к нам чуть не каждый день. В сельсовет да в ячейку. В ячейке меня секретарем избрали. Предсельсовета да секретарь вдвоем, значит, в ответе за все, должность такая. Долго ли, коротко ли, начинает ясней проясняться: не в одиночку и не с одним сватом в компании Сила орудовал, целая шайка их. Чекисты дотошные: чем дальше, тем глубже докапываются. А мы с Петром Игнатьевичем как на войне: в любой час из-за угла пули жди.

Так и вышло. Однажды под вечер прибежала Варвара, лицо белей снега, руки ломает, выговорить слова не может. Мы с Ниной Ивановной вмиг к Смородиным. У ворот конь, запряженный в телегу, бока в мыле от пота, дышит, как паровоз, председателев Лыцарь. Уж как его Петр Игнатьич выхаживал! В голодное время сам куска недоест, Лыцарю скормит. Добрый конь, добром отплатил.

Председатель из города возвращался. В лесочке, не так чтобы вдалеке от дома, засада. Лыцарь, словно сердцем учуял, вынес из пропасти. Примчал, не догнали. От казни хозяина спас, изувечили бы Петра. Озверело окрест кулачье, из мести свирепствует, случаи были - послушаешь, мороз по коже дерет.

Петр Игнатьевич без чувства. А парок изо рта чуть дымится, на ниточке, а живой. Мы с Варварой коня повернули - и в районную больницу. Плечо Петруше прострелили навывлет и легкое. В легком пуля застряла. Крови в телеге до ужаса много натекло! Варвара как свезла мужа, так в больнице при нем и осталась. А я домой. Жутковато ночью в лесу одному. Вот до чего дожили, дедовскими дорогами ездить стало опасно! Истинная классовая борьба, как товарищ Ленин нас учит, а мы постигаем на практике.

Катерина Платоновна, Ваш любимый ученик Алеха Смородин в этом великом несчастье держится молодцом, достоин похвалы. Старший в доме, без матери, без отца, с двоими младшенькими. Он им и мать и отец. Печь истопит, похлебку сварит, ребятишек обстирает, корову подоит, скотине корму задаст. Естественно, мы с Ниной Ивановной поможем, но в основном воз везет сам Алеха Смородин, мужичок с ноготок, вот каков

молодец! А мечтает о чем? О Чека! То раньше собирался стать машинистом, а теперь одна Чека на уме: "Буду чекистом - беляков и контрреволюционных гадов бить".

Сообщаю я обо всех наших событиях, Катерина Платоновна, оттого, что считаю Вас нашей, иваньковской. В унаробразе дали знать, есть законные основания расширить штаты Иваньковской школы, пристегнули к нам для обучения ребятишек из двух соседних деревень, одному учителю не справиться. С будущей осени, полагаю, назначат второго. От своего имени, Катерина Платоновна, и ото всего Иваньковского общества просим: имейте в виду, что мы Вас ожидаем, и Вы, как окончите курс обучения, проситесь на родное место, в Иваньковскую школу.

И еще убедительно прошу: как можно внимательнее осваивайте все науки, какие преподаются в Сергиевском педагогическом техникуме. Слава у вашего техникума хорошая, многие наши уездные учителя стремятся повыситься в нем свою педагогическую квалификацию. А Вы, Катерина Платоновна, если уж выпала удача, не пропускайте ни единого слова на лекциях, впитывайте, учитесь, записывайте все, что ни скажут, и везите научный багаж в наши отдаленные деревенские школы, куда лучи науки не столь глубоко проникают.

Все шлют Вам поклоны, а ребятишки ждут не дождутся, когда возвратитесь. Беспokoимся сильно мы о Петре Игнатьевиче. Третья неделя, все не легче. Доктор опасается заражения крови. Прислали из города для консультации самого главного. Раскололись мнения надвое, чего ждать, не знаем.

Варвара извелась, прежняя румяная красота ее увяла, жалость глядеть. До свидания, Катерина Платоновна, будьте здоровы, набирайтесь науки.

Дорогую Вам могилку бережем, весной посадим цветочков.

С уважением и добросердечием к Вам,

учитель школы сельца Иванькова

Тихон Андреевич".

42

- Идея! Катерина, выступишь на открытом комсомольском собрании с докладом.

- О чем?

- Как о чем? Да это же наглядный урок современной жизни со всеми ее противоречиями! Соображай! Что пишет учитель? Классовая борьба бушует. А ты? Живой свидетель. Не имеешь права молчать. Обязана рассказать агитационно и красочно, пробудить в комсомольских сердцах

еще сильнее ненависть к старому строю. Катька! - вдохновлялась Лина, размахивая письмом. - Этот документ из Иванькова для агитатора клад. Кстати, и ты представишься комсомольским и беспартийным массам в выгодном свете.

- Хи! Вот она, главная цель, - хихикнула Клава.

Тощая, несмотря на деятельность в кухонной комиссии, с осиной талией (чем немало гордилась), она укладывала перед зеркальцем жиденькие косицы в эдакие фигурные кренделя над ушами, безучастная к разговору, между тем не пропуская ни слова.

- Спиной повернулась, а слушаешь... Что за цель?

- Ясная. Бектышеву представить в выгодном свете.

- На положительных примерах учимся, - хладнокровно отбила Лина атаку. - И в чем ценность, Катя, ставим вопрос нешаблонно. Ищем творческий подход к воспитанию комсомольской идейности.

- И чем тебе Бектышева так уж нужна, что больно тянешь наверх? Кумовство?

- Ой язва! Ой белобрысая язва!

Лина кинулась с явным намерением залепить белобрысой язве пощечину или вцепиться в кренделя над ушами. Впрочем, до потасовки едва ли дошло бы - девицы ведь комсомолки, не кто-нибудь, - но все же Клава схватила пальто в охапку и пулей из комнаты. Гнаться коридором за язвой Лина не рискнула, помня свое общественное положение: член студкома как-никак и так далее.

Постояла у двери, раздувая щеки.

- У-уф! С этой дубовиной шагай в социализм, а? Живи в одной комнате, спи рядом на койке. Катерина, о письме договорились. Подбери побольше художественно-сильных деталей к докладу. Да втягивайся ты в общественную жизнь наконец, Катерина! Вон Клавка и та актив. Да! Надо поэффектнее тему собрания объявить: "Сельцо Иваньково как типичный пример мужественной борьбы коммуниста за светлое будущее", или "Сельцо Иваньково как типичный пример... как пример...". Ладно, придумаем.

И с Максимом обсуждали письмо из Иванькова.

Холодная, неуютная осень никак не кончалась, давно пора снегу, а все дождило, сырые туманы вязко кутали монастырские скверы, ключьями свисали между голых ветвей.

В любую погоду, в дождь и слякоть, Максим поджидал Катю под крышей широкого гульбища - галереи, по-нашему, тянувшейся вдоль трапезной. Катя прибежала без опозданий, зная, что час есть час, и ни

секундой дольше.

Гульбище безлюдно, безмолвно выстроились опорные столбы, держа крышу; тихо, сумрачно, и невольно Катя с Максимом вели разговоры полупшепотом. Впрочем, когда вспыхнет спор, голоса повышались. Разговоры об Иванькове, как ни странно, почти всегда были спорами. Спорили о Петре Игнатьевиче. Для Кати он живой человек. Вспыльчивый, резкий, но справедливый, но добрый. Для Кати Петр Игнатьевич - впервые признанный ею живой большевик. И разве забыть его дружбу с бабой-Кокой? А Максим Петра Игнатьевича без снисхождения судил.

- Председатель Совета, а возле себя вора и кулака проглядел! Хорош руководитель! Не заметил, как кулак богатеет. Не заметил, как жена учителя, пропавшего без вести, прибитой ходит. Чего боится? Кого прячется? Задуматься можно бы. А комсомольская ячейка где у вас на сельце? Не успели? Отсталое ваше Иваньково, к социализму не семиверстными шагами идет, а "а обе ноги хромает.

- Значит, ошибся, сразу тебе и конец? - спорила Катя. - Петр Игнатьевич проглядел расхитителя, но сам и исправил ошибку, сам признался на сходе.

- Признаваться да каяться мы умеем, - спорил Максим. - А ты, если ты руководитель...

- По-твоему, руководитель святой?

- Если ты руководитель, не поспи, недоешь, гляди в оба глаза.

- Он и глядел в оба глаза.

- Слепые глаза у него: что надо, не видят.

- Не смей о Петре Игнатьевиче так судить! Не известно еще, будет ли жив...

Максим смущенно умолк. Они молча шагали по гульбищу из конца в конец. Где-то вдали отдавалось эхо шагов.

Зима стала вдруг. "Проснувшись рано, в окно увидела Татьяна..."

В окно видны побелевший за ночь двор, изразцовое убранство Чертогов, растопыренные сучья деревьев, задумчиво одинокая елочка возле собора - все бело, бело, бело и чуть синевато, потому что заря еще не поднялась за стеной и не поднимется: стена высока, в монастырском дворе не видно утренней зари, сразу солнце.

Прочь одеяло! Раз-два-три, небольшая гимнастика.

- Лина, просыпайся! Зима!

- Ну и что?

Лина села в кровати, сладко зевнула во весь рот, хрустнув челюстями, протерла глаза. Клавы нет, испарилась. После той ссоры она старалась



пораньше испаряться. На лекциях держит дистанцию, разрыв отношений.

...Что на свете праздничнее первого зимнего утра? И блеск, и свет, и чистота, и даже неловко ступать на эту легкую воздушную белизну и оставлять влажные следы разношенных туфель, не совсем подходящих для зимы, но других нет, спасибо за эти.

Очухавшись после сна, досыта назевавшись, Лина тоже впала в лирическое настроение.

- Эх, Катя, пролетит незаметно зима, и снова рассеемся в разные стороны. Но теперь не то... Я тебе откроюсь, только, чур, ты мне тоже. Катюшка, любовь у меня! Пролетит зима, к окончанию курса поженимся. Решено и подписано. Знала бы, какие он мне слова говорит! "Ласточка..."

Катя покосилась. "Ласточка"! Крепкая, складная, с большими крестьянскими руками, решительным шагом, активистка, член студкома... Ласточка!.. Но она расцвела. Ты заметила, Катя, она расцвела? Круглый румянец на щеках - сущие розы. А брови? Ты заметила, брови потемнели, как два темных крыла.

Они шли вдвоем на лекцию обычной дорогой, от лавры через базарную площадь, под гору, затем Московской улицей, затем в переулок - словом, ежедневным путем, мимо деревянных, в три окна по фасаду домов, всю дымящих печных труб. Обычно, как всегда. Но снег, снег...

- Еще, Катя... да разве все передашь! И откуда он слова такие дорогие берет? Университетов не проходил. А обнимет... Нет, про это не буду. Я его слушать люблю, как он клянется в вечной любви. Твой тебе клялся, а, Катя?

"Снег, снег. Белый, блестящий, усыпанный блестками с детской рождественской елки. Вон едет мужик на телеге. На санях в первый день рано, а овчинный полушубок надел. Как весело горит на солнце новенькая желтизна полушубка! Чудесное время - зима! Наверное, скоро прилетят и снегири. Мои снегири с красными грудками, зимние цветы на голых ветвях..."

- Кончим курс, Катя, и будем с тобой женами командиров, советских специалистов-электриков, - продолжала строить планы Лина. - Только я не очень-то над собой командовать дам. Он свое дело знай, а в семейной жизни я командирша. Катя, твой красиво тебе в любви признается? Поделись. Из дружбы поделись, хоть немного... Ну же, ну! - нетерпеливо понукала Лина. Катя, откройся, из дружбы, ведь подруги же мы!

"Твой милый образ, незабвенный..."

Тихо, не поднимая глаз, Катя начала:

Твой милый образ, незабвенный,

Он предо мной везде, всегда,

Недостижимый, неизменный,  
Как ночью на небе звезда...

Лина ахнула:

- Он... Максим так тебе объясняется? Стихами? Сочиняет стихи?

- Это Тютчева стихи.

- А-а, - слегка разочаровалась Лина, неясно представляя, кто такой Тютчев, нашего времени стихотворец или прошлого века. - А свои слова Максим говорит?

- И свои слова.

- Как? Что? Да ну же, Катя?

- Моя дивная сказка...

- Сказка... дивная... - зачарованно вторила Лина.

- Несказанная мечта...

- О-о-о-о! - простонала Лина. - Вот уж никогда не подумаешь, чтобы Максим, на вид совсем деревянный, говорил такое... "Несказанная мечта"... Даже лучше моего.

Они уже недалеко от педагогического техникума. Обгоняя их, спешили первокурсники, боясь опоздать; солидно шествовали старшие, мало беспокоясь, что скоро звонок.

Я помню чудное мгновенье:

Передо мной явилась ты...

читала Катя.

Лина стала, пусть скоро звонок, в изумлении сдвинула темные крылья бровей:

- И это? Ой, Катя! А ты скрытничала. Ой, скрытная ты! За что я с тобой сдружилась, сама не пойму. Совершенно противоположные типы: я вся на виду, ты вся запертая.

Прерывая ее бурное изумление, в техникуме в самое время зазвонил звонок, слышный на улице: "За учебу. Личные дела в сторону, за учебу!"

И Катя ринулась на учебу, оставляя позади изумленную Лину.

"Зачем я ей напридумывала? Ничего подобного не было, хоть чуть-чуть похожего не было... Любовь? Что такое любовь?"

Удивительно! Катя не помнила художника. Или смутно-смутно. Красивый? Да. А еще? Она помнила чувство восторга, какого-то всю ее пронзившего счастья, будто плывешь под небесами среди звезд, да, не смейтесь, "по небу полуночи ангел летел". Все перестало быть, ничего нет, только восторг, всю тебя захватившее счастье; она даже не откликнулась бабе-Коке, не догадалась, что баба-Кока умирает, и слушала, слушала необыкновенное, что в ней поет, и если бы он позвал... Это любовь?

- Катерину Платоновну Бектышеву прошу сообщить, какой из двух предложенных мною методических приемов она избрала и почему?

Катя! Куда тебя унесло? Вернись в действительность. Ты на лекции по методике математики. Низенький горбатый методист с болезненно-желтым лицом вытирает несвежим платком пальцы в мелу и глядит на нее печальными глазами горбуна. Какие-то цифры и формулы написаны на доске. Что-то надо решить. Что-то подсказывает Лина, загоротившись от методиста рукой. Хихикает Клава, довольная посрамлением усерднейшей, неизменно успевающей по всем предметам Катерины Бектышевой, "украшения четвертого курса".

И звонок не спасает. До звонка к концу урока еще порядочно времени. Можете размышлять дальше, Катерина Платоновна, в журнале поставлена закорючка, обозначающая невнимание, несообразительность и пр., и горбатый методист с печальным лицом укоризненно качает головой.

"Сегодня на гульбище не приду. Не жди. Кончено. Бесповоротно. Встречаться просто так, без любви? Где то счастье, то чудо? Сегодня не приду или... приду под самый конец и скажу... Что сказать? Не пойду. Разве бывает любовь без слов, без красивых слов, нежных слов? Все кончено. Никогда больше не приду на гульбище".

Она опоздала на четверть часа. Всего на пятнадцать минут. Это много пятнадцать минут, когда у тебя один час, и ни секундой дольше.

Где же снег? Первый, чистейший, пышный, легкий, усыпанный елочными блестками? Где зима? Под ногами хлюпало. С крыш текло.

Максим кинулся к ней:

- Думал, заболела.

Схватил обеими руками за плечи и несколько мгновений, а может быть долго, глядел в глаза, почти сурово, потом смягчаясь, теплея.

- Боялся, заболела...

И привлек, больно прижал к груди.

- Не надо. Не смей.

Он тотчас отпустил.

"Без слов. Ни красивого слова, ни нежного слова".

Грязный, сырой, темный вечер. Темное гульбище. Опорные столбы немо выстроились, как часовые.

- Странно, - сказала Катя. - Станный мне все снится сон. Один и тот же повторяется. Иду. Какая-то незнакомая местность. Дерево среди поля, одно какое-то незнакомое дерево. Вдруг небо темнеет, все темнеет вокруг, а дерево начинает шататься и биться, вскидывает сучья вверх, будто руки, будто молит. И я оглядываюсь и вижу: черная туча низко несется по небу,

сейчас накроет меня. Я хочу бежать, а ноги не бегут. И такой ужас, ужас! И от тучи, и от того, что дерево будто кричит. Такой ужас. И... просыпаюсь.

- Старухи сны перебирают по праздникам на завалинках от нечего делать, - сказал он с кривой усмешкой, не глядя.

- Какой же ты нечуткий, грубый, - гневно изумилась она.

- Какой есть.

Она быстро пошла прочь, наклоня голову. Под ногами чавкал растаявший снег.

43

Катя протянула руку из-под одеяла, на ощупь взяла с тумбочки вчерашний листок. Утро, светло, но она, прячась от Лины под одеялом, читала листок.

"С неприятного, нахмуренного неба звездочки-снежинки белые слетают..."

Снежинок не было. На крышах еще лежал нерастаявший снег, а деревья обнаженно, вечерне чернели. Ноги промокли, подметка на левой туфле прохудилась, вот уж некстати дыра. В общем, настроение стихов соответствовало ее вчерашнему упадочному настроению.

"...И на серую, нерадостную землю падают и тают..."

Чепуха! Сентиментально. Старомодно. Сметь писать такие строчки, когда есть Блок! А рифмы? Обратите внимание на рифмы. Убожество.

Стоп!

Это Лина, также лежа на кровати, подзубривая записи лекций, уследила за Катиным чтением.

- Что там у тебя? Что за листок?

Лина подозревала объяснение в любви. А если, напротив, полный разрыв? Лина готова лететь на помощь, не дать разбиться едва пробудившемуся чувству. Что чувство пробудилось в Кате, Лина уверена, в этих делах она разбирается. Короче говоря, она успела выхватить у Кати неразорванный листок и, не веря глазам, восхищаясь, читала вслух:

С вышины несясь, резвяся и играя,

Грязной осени они не знают.

И, с далеких облаков слетая,

О земле мечтают.

- Катя, замечательно, как хорошо! - с чувством сказала Лина. Катины стихи растрогали и взволновали ее. Что до рифм, разве суть в рифмах? Грустные стихи. Катя, а хочется иногда погрустить. Бегаешь, бегаешь по всяким делам, а потом сядешь, раздумаешься - и так станет грустно. Отчего? Сама не знаю. Вспомнишь гармонику... У нас парни с гармоникой

ходят, заведут старинную песню, за сердце хватает... Почему-то от музыки горестно как-то и хорошо. Катя, к тебе вернулся твой писательский талант, торжественно заключила она.

- Брось, какой там талант?

- Вернулся. И мы не дадим емуглохнуть. Учителей тысячи, а поэтов, советских я имею в виду, один-два и обчелся.

- Зато какие! Есенин! Блок...

- Ну, два. А еще?

- Маяковский. Демьян Бедный. Казин. Орешин.

- Все равно не хватает. Катя, твое стихотворение о снежинках мы поместим в первом номере нашего литхудожественного журнала "Красный педагог". Вот будет фурор! Пока материала немного, все больше статьи, публицистика воспитательного характера. Необходимо, кто спорит? Но без стихов и прозы журнал не журнал. Катя, напиши плюс к стихотворению прозу. Даю срок две недели. Вот что еще. Надо в конце концов общественную нагрузку для тебя подыскать. Доклад само собой. Журнал само собой. Подыщу тебе такую нагрузку, что ах! - на весь техникум гром. Идея. Организуем кружок декламации... Кружок декламации для будущих учителей ведет Катерина Бектышева. Звучит?

- Звучит, - засмеялась Катя.

Умора с Линой. Вечно бушует, неугасимый вулкан. Энергия так и плещет из нее, как во время извержения лавы из кратера.

В разгар пылкой Лининой речи, когда, наспех натягивая различные принадлежности туалета, она спешила мчаться к Коле Камушкину согласовать с ним уйму неотложных вопросов, вошла член кухонной комиссии Клава Пирожкова. На лице ее ясно читалось выражение утомленной ответственности. Дело в том, что, хотя сегодня воскресенье и другие вольны лишней часок поваляться в постели, она, Клава Пирожкова, даже в выходной день не может позволить себе этой вольности. Праздник не праздник - стой на посту! Но кроме привычного выражения: "Ах, с ног сбилась на общую пользу!" - кроме того, Лина и Катя заметили: что-то необычное написано сегодня на остреньком Клавином личике, многозначительность какая-то, тайна, которую хочет - хранит, захочет - откроет. Лина мигом сообразила: Клава что-то проведала.

- Тоже узнала? От кого? - наугад спросила Лина.

Клава опешила. Наступление было слишком молниеносно, ударно, безошибочно в смысле стратегии.

- От кого? Все только и говорят.

- Не может быть, чтобы все говорили. О чем?

- О чистке. О чем же еще?

- Чего-чего? - не понимая, нахмурилась Лина.

Тут Клава догадалась, что ее провели, хитростью раньше времени выудили ей известное, а другим пока нет, не дали поважничать, подразнить.

А все Акулина. Лина-Акулина, солдат в юбке из деревни Серы Утки!

- Назначена чистка. Из центра приезжает комиссия. Будут проверять идеологию.

Все-таки она добилась эффекта. И, убедившись в этом, развязала платок, аккуратно повесила шубку на гвоздь, села на койку, вытянула руки между колен, помедлила и с интригующей улыбкой: - А еще...

- Что еще?

- Будут чуждый класс вычищать.

Молчание.

Обе поглядели на Катю. Светленькие Клавины бусинки скользнули с неясным смешком и убежали в сторону.

Лина глядела долго, внимательно, словно что-то впервые распознавая в ней.

- Итак, решено, Катя, - с новым приливом энергии заговорила она. - Ты ведешь с первым курсом кружок декламации. Очень важное для нас мероприятие. И ценно, что инициатива твоя. Пока!

Она накинула пальто и унеслась. Клава легла на койку, подложила под щеку ладонь и, прислонив к тумбочке раскрытый учебник, погрузилась в науку. Любопытство мешало ей сосредоточиться, прямо-таки распирало ее.

Она поглядывала поверх учебника на Катю, стоявшую возле своей койки вроде как в столбняке.

- Не очень переживай, - покровительственно сказала Клава. - Все-таки у тебя трудовой стаж, хоть недолгий, все-таки стаж.

- Да, правда, - засмеялась Катя, как смеются, тужась изобразить веселость, дебютантки самодеятельного, впервые открывающего сезон драмкружка.

И, боясь после театрального смеха не удержаться и всхлипнуть, скорее вышла на улицу. Та же слякоть, тот же чавкающий снег под ногами, мокрыми еще со вчерашнего вечера. В садике Чертогов каркала на ветке ворона. Хрипло, нахально.

Лина и Максим направлялись от Чертогов к крыльцу педагогического общежития.

Лина сумела пробраться в ВЭШ, разыскала Максима.

Оба были серьезны, и обида, непоправимая, безутешная, черная, как воронье крыло, вороньими когтями вонзилась в сердце.

- Бирюк мне Максима нашел, - сказала Лина, подходя.

- Зачем?

- Для переговоров. На нашу удачу воскресенье, увольнительный день. Интеллигентничать брось, - коротко кинула она Кате. - Где приютиться, вопрос. Дома Клавка. Идемте...

- На гульбище, - позвал Максим.

- Точно. Там хоть крыша над головой.

Какая-то парочка, курсант с девчонкой, прогуливалась по гульбищу, видимо довольная удобным для свиданий местом.

- Здесь постоим, - сказал Максим, останавливаясь возле одного из опорных столбов, перевитых лепными виноградными лозами.

Закурил. Пускал дым толстыми, густыми струями и говорил своим обычным, неколебимо уверенным тоном.

Неколебимо. Катя вдруг уловила особенность его тона, он ни в чем не сомневается, не колеблется, все знает, все-все знает, его ничто не мучает, он не умеет мучиться. Он уверен: в нашей жизни все правильно, превосходно, прекрасно. Неколебимо уверен.

- Вполне возможно, чистка будет. Даже скорее всего будет. Объяснимо. Пока Советская власть не окрепла, пока Антанта с белогвардейщиной перли на нас со всех сторон, пока мы не стали на ноги, все враги и вражишки наши кто прямо против нас воевал, кто шkodил, кто прятался - ждал, чья возьмет. Нынче всем видно: наша взяла. Какой выход вражишкам? Один. Приспосабливаться. Понабились, поналезли в учреждения, институты. Профессорский сын образованностью, понятно, забьет пролетарского парня. Дива в том нет. Образованный, а чужак. Что чистка? Нам она не страшна. Ее цель и задача - чуждый элемент выметать.

Так Максим объяснял пролетарские цели и задачи предстоящей в педтехникуме чистки и, докурив папиросу, кинул окурок на каменный пол и растер сапогом.

- Культура, - сказала Лина.

- Никак солдатские привычки не брошу, - смутился Максим. И просительно, после вчерашней размолвки: - Катя, возьмишь за меня, а? Договор: в политических и народнохозяйственных вопросах я тебя ориентировать буду, а ты мне правила приличий подсказывай.

- Она у нас чуждый элемент, - сказала Лина.

- Чуждый элемент в приличиях-то как раз лучше пролетариата толк понимает.

- Не шучу. Не до шуток, - строго отрезала Лина. - Она чуждый элемент по анкете. Отец был царским полковником. Да что, Катя, разве ты не

говорила ему?

- К слову не пришлось, - сказал Максим, как бы оправдывая, но в глазах его Катя внезапно увидела смятение, он растерялся. Катя впервые увидела его растерянным. - Может, мать из бедного класса, а, Катя?

- У матери была усадьба, триста десятин.

- Кошмар! - шепотом воскликнула Лина.

Максим закурил и молчал.

- Обсудим, однако, без паники, - приказала самой себе Лина, привыкшая во всех случаях захватывать инициативу в свои большие крестьянские руки. Без паники. Надо выработать тактику. Бумаги про мать-отца есть?

- Нет.

- Катька, везучая ты! - радостно шлепнула Лина обеими руками себя по бедрам. - Бумаг нет - и доказательств нет. Нет доказательств. Свидетелей нет. На вопросы отвечай: отец служащий, мать домохозяйка. Сказала и стой на своем. Бумаг-то нет? В чем твоя гибель? В бумагах. А где они? Нет. На все вопросы: отец служащий, мать домохозяйка. Трудовая интеллигенция. Стой на своем. Никакая чистка тебя не коснется.

Максим докурил, снова чуть не бросил окурочек на каменный пол, но не бросил, смял, оглянулся и, не видя урны, сунул в карман.

- Твое мнение? - спросила Лина.

- Катя, скажи все как есть.

- Рехнулся! - ахнула Лина. - Так ведь она по всем линиям чуждым элементом выходит. Вычистят с музыкой.

- Отвечай правду, Катя, - твердо повторил он. - Ты не чужак. Отвечай правду.

- Пряма, как аршин, оглобля, верстовой столб! - выйдя из себя, возмутилась Лина.

- Лучше прямить, чем кривить.

- Под чистку подводит, - нервно ломая пальцы, шепотом возмущалась Лина, оглядываясь на прогуливающуюся по гульбищу парочку. - Катерина, слушай меня. У меня житейский ум. А ты, Максим, ты не командир, тебе и электрификацию-то доверить рискованно, нет в тебе практического смысла ни на грош, ты... Дон-Жуан! Дон-Кихот! Что ты в нем, Катя, нашла?

44

Накануне в аудиторию пришел заведующий техникумом, седой, весь белый, с веерочками частых морщин к вискам. О нем знали, что в прошлом был передовым деятелем земских школ, страстным приверженцем Ушинского - Катю это по иваньковским воспоминаниям располагало



особенно. Знали, что его ценит Надежда Константиновна Крупская, а это тоже всем студентам было приятно и лестно.

- Товарищи будущие учителя, - сказал заведующий, садясь и уютно кладя ладони на учительский столик, оглядывая всех добрыми, немного слезящимися глазами.

Он вытирал слезинки аккуратным белым платочком. Все было на нем аккуратно - костюм, сорочка, галстук, и Катя представляла его жену такой же белой старушкой, почему-то казалось ей, невысокой, полной, с мягкими заботливыми ручками, за десятилетия семейной жизни не сказавшей не то что грубого, чуть резкого слова.

- Товарищи будущие учителя, ходят неверные и вредные слухи, что вас будто бы ожидает чистка. Никакой чистки не будет. Но, готовя вас к ответственному поприщу народных советских учителей, мы хотим поближе познакомиться с вами, поговорить по душам о ваших взглядах на жизнь, планах, мечтах, может быть...

- А зачем комиссия из Москвы приезжает? - остреньким, как поскребок, голоском пискнула Клава Пирожкова.

- За тем, о чем я вам сказал. Не возбуждайте и не будоражьте себя, друзья. Будьте искренни и откровенны и злого не ждите.

- Дипломатия. Успокаивает, - авторитетно заявила Клава, когда он ушел.

Она все делала вид, что знает больше других, на что-то все намекала, искала, с кем пошептаться.

- А ты чего празднуешь? - спросил Григорий Конырев, с толстым носом, наводящим на подозрения почти багровой краснотой, хотя всем были известны вегетарианство Конырева и толстовские взгляды.

- Мы что знаем, то знаем, - погрозила пальцем Клава.

Четвертый курс приглашался для собеседования в вечернюю смену.

- Катеринушка моя! - преувеличенно весело восклицала Лина. Заведующий, да товарищ Камушкин от комсомола, да Савельева, то есть я, от студкома - вот и комиссия. Да из центра какая-то тетка. Будь хоть ведьма трое против одной, ясно! Пока.

Сдвинула на затылок шапку-ушанку и исчезла.

В коридоре вестибюля толпились четверокурсники. Катя пришла с опозданием. Небольшим, но рассчитанным. "Не думайте, что волнуюсь. Нисколько. Не придаю ни-ка-кого значения!"

- Ведь знаешь, что тебе по алфавиту близко, ну что же ты, где твоя сознательность, право? - попеняла староста курса, серьезная, положительная девица, ужасно озабоченная тем, чтобы четвертый курс был

образцовым, показывая во всех случаях пример дисциплинированности.

- Извини, пожалуйста.

- Ладно, все равно нарушен алфавит. Жди. Скоро пойдешь.

Староста выкликнула по списку, кому идти в пугающую, таинственную комнату, где заседала комиссия.

- Как представителя из центра зовут? - спросила Катя.

Никто не знал.

"Инспектор Н. Н.", - назвала про себя Катя, как иногда называет своих героев Тургенев. "Господин Н. Н.". "Госпожа Н. Н.".

Вышел, вернее, вылетел, будто пинка дали в зад, Григорий Конырев, распаренный, как из бани, с одним выпученным, другим резко скошенным глазом, в которых стояла какая-то разбойная лихость.

- Что? Что? Что? - мгновенно окружили его. - Да рассказывай же, Конырев, Гриша, блаженный, чудак!

- Если у человека свои, не в общую дуду, убеждения, значит, блаженный? Пусть блаженный. Не скрываю своих взглядов. Не прячусь. Отвергаю церковь. Государственную власть. Армию. Войны. Никого не насилую и не желаю, чтобы надо мною учиняли насилия.

- Какие над тобой учинили насилия?

- Хотели. Потребовали подписку, чтобы после техникума ехал, куда назначат. Отказываюсь. Наотрез. Не желаю. Желаю жить своей волей. Служу народу где хочу, как хочу.

- А сейчас?

- А сейчас, вернее, завтра - до свидания, братцы, может, прощайте. Котомку на плечи - и в Ясную Поляну. Там дерево бедных... Погляжу. Пойду пешком по земле, как Горький. Поучусь не по книжкам.

- Екатерина Бектышева!

Катя вошла в комнату. Обычный кабинет заведующего. Портрет Ушинского на стене. Катя незаметно кивнула ему. Подмигнула члену комиссии Лине, это уж совсем незаметно. Поклонилась заведующему.

Во главе с ним за столом восседали чрезвычайно серьезные члены комиссии Лина и Камушкин. И инспектор Н. Н. Женщина средних лет, в темно-сером жакете мужского покроя, с тяжелыми плечами, короткой шеей.

От нее-то и шла, видимо, та волна чего-то враждебного, что мгновенно почувствовала Катя. Из-за нее-то обычный кабинет заведующего сегодня был необычен.

Она вся была тяжелая, мощная. На большом, почти квадратном лице за толстыми стеклами очков круглые глаза, неподвижно вперившиеся в упор, с подчеркнутой пристальностью. Говорят, глаза - зеркало души. Ее глаза не

зеркало - щупальца. А душа пряталась, нераспознанная. Впрочем, эта веющая, как из погребя, стужа...

- Екатерина Платоновна Бектышева, - дружески представил заведующий.

- Да-а, - неопределенно протянула инспектор Н. Н.

Открыла потертый рыжий портфель и вынула... Что бы вы думали?

- Что это? - не сдержась, воскликнула Катя.

- Вам лучше знать.

- Позвольте... - недоуменно начал заведующий.

Лина вытянулась, давая Кате знаки: "Спокойно! Держать нервы в узде".

- Наш образованный и одаренный преподаватель психологии Федор Филиппович... - начал заведующий.

- При чем психология? - прервала инспектор.

- Федор Филиппович - старожил наших мест, страстный любитель природы и поклонник художника Нестерова, которого знал и видел мальчишкой, когда художник задолго до революции приезжал к нам рисовать свои знаменитые картины.

- Картины? Это икона.

Инспектор Н. Н. держала за кончики Катину репродукцию "Отрока Варфоломея".

- Эта картина Нестерова хранится в Третьяковке, - убеждал заведующий, вдруг погрузнев и разом как-то сильнее постарев.

- Знаю, - наклонила голову инспектор Н. Н., причем подстриженные волосы повисли вдоль щек. Она подняла голову, русые пряди вернулись на место. - В Третьяковской галерее хранится многое из прошлого и старинные иконы тоже. Ваш преподаватель не мог выбрать для демонстрации что-нибудь другое, идейное, а не монаха с венцом? Да, а кроме того... нам стало известно, ваш преподаватель учит психологии по учебнику заграничного буржуазного ученого. Что за выдумки? Разве у нас своей, советской психологии нет? Нам известно, что он... у него и в семье разложение?

Заведующий недоуменно и подавленно слушал вопросы, не отвечая, и только горький укор и стыд - да, стыд! - отражались на его потупленном лице с веерочками морщин у висков. Откуда инспектору все это известно? Кто осведомил и зачем?

Члены комиссии замерли, чуя, творится что-то неладное, и не зная, как в данном случае себя повести.

- Где вы взяли мою репродукцию? - перебила Катя инспектора.

- Вас не касается.

- Репродукция висела у меня над тумбочкой. Я не заметила, что ее нет... украли.

- Ах! - громко ахнула Лина.

Инспектор Н. Н. положила "Отрока Варфоломея" на стол, сняла очки протереть, и глаза ее без очков оказались белесыми, щупающими вслепую, а нос совсем пуговичный, и над носом красная полоска от дужки. Маленький носик на большом белом лице.

Кажется, она поняла, чтохватила лишку по части бдительности, и обратилась к заведующему голосом, металл в котором неожиданно сменился свирелью:

- У нас еще будет время пообщаться, я надеюсь обогатиться вашим выдающимся педагогическим опытом.

А Катя взяла со стола своего "Отрока" и с этого момента бесповоротно знала: снисхождения не будет. И почему-то волнение отпустило ее, и она равнодушно ждала, что дальше.

Инспектор Н. Н. как бы не заметила дерзкого поступка Бектышевой, оставила "Отрока" в покое.

- Кто ваш отец?

Ну, конечно! Когда-то, помнит Катя, предсельсовета Петр Игнатьевич задал этот вопрос, а баба-Кока, не дав ей ответить, торопливо сказала, что у Катерины Платоновны ни матери, ни отца, ни сестер, ни братьев.

Баба-Кока хитрила, даже она, даже с ним, Петром Игнатьевичем! Было неприятно. Несколько дней Катя дулась на нее.

"Э! Милочка моя, понапрасну на рожон одни дураки только лезут", - с обычным своим здравым смыслом и легкостью рассудила баба-Кока.

- Где ваш отец! (уже не кто, а где?)

- Не знаю.

- То есть?

Молчание. Равнодушное и вместе с тем дерзкое.

Инспектор снова сняла очки, щупая подслеповатым взглядом худенькую, закрывшуюся на замок, несносную своей закрытостью девчонку.

- Отвечай! - прикрикнула член комиссии Лина Савельева.

Заведующий ласково:

- Екатерина Платоновна, вспомните, что я говорил.

- Бектышева, вы не знаете, кто и где ваш отец? - в упор, читая ее вьедливым взглядом, повторила вопрос инспектор Н. Н.

Заведующий ласково:

- Случается, что и не знают. Всякое случается.

- Где мать?

Молчание.

Заведующий мягко и грустно:

- Екатерина Платоновна, отчего вы не хотите отвечать?

Катя опустила глаза. "Белый от седины, благородный, добрый ученик и последователь моего Ушинского, не спрашивай, не надо".

Инспектор Н. Н. придвинула кипу папок, взяла верхнюю. Катя успела прочитать: "Личное дело Бект..."

Тощая папка. В ней ничего. Никакого личного дела. Две бумажки, правда, с печатями. Одна о том, что тов. Е. П. Бектышева уволена из Ивановской школы по сокращению штатов. Другая - приглашение Сергиевского педагогического техникума. Не персонально ей, но так или иначе приглашение.

У! Какой убийственной стужей дохнуло от инспектора Н. Н. - как из погреба.

- Бектышеву приняли без документов! Ни заявления. Ни анкеты. Ни метрики. Ничего.

Заведующий, взяв из папки бумажку:

- Позвольте... Справка о сокращении. Вы ведь знаете, почти весь наш вновь открытый четвертый курс состоит из сокращенных учителей преимущественно окрестных сельских школ. Справка о сокращении - это значит год педагогического труда в семнадцать лет. Это значит... Зачеркивать нельзя, несправедливо... безнравственно...

Он вынул из нагрудного кармашка чистый платочек, встряхнул и вытер слезящиеся глаза, и все увидели: его стариковские, морщинистые руки дрожат.

- Бектышева - лучшая студентка курса! - воскликнула член комиссии Лина Савельева.

- Бектышева активно участвует в организации литжурнала "Красный педагог", - сказал секретарь комсомольской ячейки Коля Камушкин. (Хотя это участие пока только намечалось на будущее.)

Инспектор Н. Н. уловила что-то в настроении членов комиссии для своего инспекторского престижа опасное. Нельзя игнорировать настроение масс, надо быть гибкой. И голосом, в котором снова зазвучали свирели и флейты, задала Бектышевой новый вопрос.

Вопрос был задан для смягчения напряженной обстановки, улаживания конфликта. Инспектор Н. Н., снисходя к юности Е. П. Бектышевой, предлагает ей мировую, вот что это было.

- Вы пошли работать учительницей по призванию, товарищ Бектышева?

Бектышева молчала. Ей кидают мостик. Возьмись за перильца и шагай через пропасть. Спасайся. Лихорадочная борьба шла внутри нее. Катя, решай. Вспомни бабы-Кокино легкое, трезвое: "Понапрасну дураки одни на рожон лезут". Не лезть? Смириться? Взять протянутую тяжелую руку? Катя, решай.

Но она так ее не любила, инспектора Н. Н. в темном жакете мужского покроя, инспектора Н. Н. с маленьким носиком между толстых стекол очков! Не любила. И протянутой руки не взяла.

- Бектышева, вы по призванию пошли?

- Я пошла в учительницы потому, что нам с бабой-Кокой... моей бабушкой в городе нечего было есть. А в деревне нас кормили миром.

- С ума сошла! - почти заорала Лина Савельева, позабыв о том, что она член комиссии, позабыв о всех своих высоких званиях и должностях. - Что тебе из Иванькова пишут? Другой учительницы знать не хотят, ждут, умоляют... Катерина, читай сейчас же письмо из Иванькова, цитируй.

- Я не взяла с собой письмо.

- С ума сойти! Божья коровка. Совсем защищаться не умеет, совсем!

Между тем с инспектором Н. Н. произошла метаморфоза. Вновь закаменело большое лицо, вновь сквозь толстые стекла очков шарили щупальца.

- Защищаться? - прозвучал металлический голос. - От кого? Защищаются от врагов. Член комиссии товарищ Савельева, думайте, что говорите.

- Можно мне? - поднял руку, как школьник, оробевший в этой сложной ситуации, впервые избранный секретарем только созданной комсомольской ячейки, неопытный, неотесанный Коля Камушкин. - Я хочу сказать, что хотя не на одном курсе с Бектышевой, что она... Я, как секретарь комсомольской ячейки, подтверждаю: Бектышева - сознательный товарищ, дисциплинированный...

- И те де. И те пе, - вставила инспектор, не скрывая иронии.

- Я хочу сказать, она талантлива... Вот глядите. - И он развернул газету, в которой сложены были статьи и заметки для будущего издания, пока в небольшом количестве, всего на треть номера, но Коля Камушкин старательно их собирал и хранил, горячо веря в создание литературно-художественного и общественно-политического рукописного студенческого журнала "Красный педагог".

Среди материалов Катины стихи. И наивный, неопытный,

неискушенный секретарь комсомольской ячейки Коля Камушкин передал инспектору Катины стихи со словами:

- По-моему, талантливо. И еще она обещала нам прозу.

Какое-то движение прошло по лицу женщины в толстых очках, любопытство, быть может.

С неприветного, нахмуренного неба  
Звездочки-снежинки белые слетают  
И на серую нерадостную землю  
Падают и тают.

С вышины несясь, резвяся и играя,  
Грязной осени они не знают.  
И с далеких облаков слетая,  
О земле мечтают.

Но снежинок неприветливо встречает  
Земля, старая, усталая, больная.  
И снежинки землю проклинаят,  
Умирая.

Так мечты мои, в тиши рождаясь,  
Радость мне и счастье обещают.  
Но, с убогой жизнью повстречаясь,  
Как снежинки, тают.

"Плохо, плохо! - думала Катя, слушая металлический голос и чеканное чтение инспектором ее, Катиных, жалких стихов. - Разве это похоже на то, что я чувствовала в тот вечер? - думала Катя. - Разве хоть немного похоже? Как я смела так написать, так сусально? Блок, Есенин, простите меня!"

Инспектор дочитала стихи и, как прессом, накрыла ладонью листок на столе.

- Это учительница! Кому мы доверяем воспитание наших детей! Черт знает что! Извините, но действительно черт знает что! Советской власти идет пятый год, а она...

- Позвольте, но юности свойственно... - попробовал вмешаться заведующий.

- Есть юность и юность. Такая юность, - она вытянула на Катю карающий перст, - такая юность нам чужда. А у вас, товарищ Камушкин, притупилась политическая зоркость. Вникните, что она пишет: "Но, с убогой жизнью повстречаясь"... Это наша-то жизнь убогая, а? Я вас спрашиваю, а?

- Можно идти? - сказала Катя и, не дожидаясь ответа, повернулась идти. Вспомнила, поклонилась заведующему.

- Тут, сколько ни скреби, до красного не доскребешься, - отчеканил ей вдогонку металл.

Первое, что Катя увидела, выйдя из кабинета заведующего, было сияющее остренькое личико Клавы. Если кто хочет увидеть, как сияет зло, поглядите на Клаву. Зло может ликовать, торжествовать, праздновать.

- Что? Что? - послышалось со всех сторон.

- Я говорила! - ликовало хитренькое, изворотливое Клавино зло.

- Все хорошо, - улыбнулась Катя. И откуда только силы брались играть роль победительницы у этой артистки?! - Все хорошо.

- Пирожкова! А ты болтала... - сказал кто-то недоуменно и с нотками освобождения в тоне.

И Катя услышала. О! Какие суровые уроки преподносит ей жизнь, как закаляет!

- Ничего не болтала! - услышала Катя Клавин тоненький и скребущий, нет, не скребущий, торопливый голосок: - Я говорила, что... Я беспокоилась. Я за всех беспокоюсь. Мало ли что. Я Бектышеву со школы знаю. Она всегда у нас в первых была.

Катя быстро выбежала из коридора возле кабинета заведующего. Она бежала деревянной лестницей вниз со второго этажа, громко стуча по ступеням разношенными, еле живыми туфлишками.

45

А в безлюдных холодных сенях как споткнулась. Стала. Отдышалась, спрятала "Отрока" на груди под пальто. И на крыльцо вышла тихо.

Снова зима. Белизна. Над краем неба, всякий раз будто впервые, выписан бледно-желтый, с острыми, загнутыми внутрь концами народившийся месяц. Вечный мирный спутник Земли.

Героиня наша стояла без движения. Героиня?

Герои борются против зла, бесстрашно защищают себя и друзей. Волевые, активные, сильные, мужественные!

Но в жизни не одни герои. Самые разные люди живут на свете, обыкновенные люди, иногда не очень волевые и мужественные, иногда даже слабые и нерешительные.

С другой стороны, не каждый день призывает человека на подвиг. А если бы обстоятельства поставили Катю в такое положение, рискованное и грозное, когда или совершай подвиг, иди на смерть, или беги трусом, как бы она поступила?

"Ответ ясен, когда представляешь таких людей, как Петр Игнатьевич или Максим, тут не возникнут сомнения", - думала Катя.

Кстати, вот он, Максим, вырос как из-под земли.



- Катя, что?

- Естественно, вычистили, - сухо ответила Катя, опустив голову и раскапывая носком рыхлый снег, зачерпнув сразу полтуфли.

Она неистово жалела себя, но другим не позволит жалеть. Никому, никогда.

- Максим, как ты здесь очутился? Увольнительный час?

- Отпросился на весь вечер.

В эту минуту грохнула входная дверь, на крыльцо вырвалась Лина и, ломая пальцы, обрушила на Катю возмущение, упреки, вопли отчаяния.

- Что ты наделала? Максим, что она натворила? Ужас! Зачем ты с этой колючей теткой связалась?

- Я не связывалась.

- Связалась, связалась! Максим, слышал бы ты, как она с ней говорила. Надменно, как принцесса швейцарская...

- В Швейцарии нет принцесс.

- Ладно! Немецкая, испанская, итальянская... Что ты про призвание плела? Что ты на все вопросы - "не знаю"? "Не знаю" или молчок. Специально для вычистки? - Секунду она помолчала и вдруг хлопнула себя по лбу ладонью, как это делается, когда человека неожиданно осеняет счастливая мысль. - Катя! Максим! Идея. Ты на ней женишься. За твоим пролетарским происхождением она все равно что за каменной стеной.

Катя вспыхнула, ее обожгло.

- Спасибо. Не хочу укрываться за каменной стеной.

Вот уж действительно сейчас заговорила принцесса, даже королева, могущая даровать милость или изгнать из царства неугодного подданного.

- Ну так пропадай ты пропадом, недотрога, змея подколодная! - в ярости закричала Лина. - Я для нее с комиссии сбежала, а она... Ты погляди на Максима, весь истаял, безжалостная! Так ступай на все четыре с толстовцем под руку...

- Катя, я тебя люблю. - Он сказал это твердо и нежно. Так он не говорил никогда, чтобы и твердо и нежно. - Я тебя люблю. Принцесса ты или змея подколодная, красивая или нет, не знаю, мне все равно. Как я тебя в первый раз увидел, так и полюбил. Спросишь, за что?

Катя не спрашивала. Грудь сдавило слезами, она не могла вымолвить слова. Зато Лина, взявшаяся за дверную скобу, собираясь умчаться, не умчалась, забыла про комиссию и слушала с восторгом. Упивалась, будто это ей объяснялись в любви. Затем сообразила все же: третий - лишний. Хлопнула дверью и унеслась заседать.

- Не отвечай, - говорил Максим так же ласково, нет, все нежнее и

бережнее. - Я тебя гордую люблю. А обидеть тебя не дам. Не хочешь за меня замуж, все равно всегда буду при тебе, вблизи ли, издали, с глаз не отпущу.

- Знаешь что, идем... Тут мне нужно к одному человеку, - позвала Катя.

Она ждала этих слов, мечтала, ревновала, завидовала тем, кому говорятся такие слова. А сейчас смешалась. Не знала, что отвечать. Растерялась.

- Идем.

До революции Федор Филиппович преподавал в мужской гимназии и так и остался жить в бывшей казенной квартире при ней.

Они застали Федора Филипповича в кухне. С засученными рукавами, без пиджака, в фартуке с оборочкой, он чистил картошку. Сыновья - один мыл посуду, другой тер пол тряпкой, намотанной на щетку.

- Хозяйничаем, - сказал Федор Филиппович, нервно кривя тонкие губы, может быть, недовольный тем, что незваные гости застали его на кухне, в фартуке, за такой прозаической работой, как бы низводящей его с педагогической кафедры. Впрочем, он часто кривил и нервно подергивал губы, ничто другое не выдавало сейчас в нем смущения. Напротив, он спокойно объяснил:

- Утром всем на занятия, с хозяйством управляемся вечерами. Что-нибудь случилось? - спросил он Катю.

- Ничего не случилось. Мы просто зашли...

- В таком случае, - развязывая фартук, сказал он, - прошу в кабинет. Мальчишки, заканчивайте одни!

- У нас строгое распределение обязанностей, - говорил он, вводя Катю и Максима в кабинет - просторную, заставленную книжными шкафами и полками комнату, порядочно захламленную и неприбранную, что сразу заметил бы опытный женский взгляд, но не Катин, ибо к хозяйству она была равнодушна. Зато заметила на письменном столе фотографию. Приятное, чуть грустное, чуть удивленное лицо глядело на нее из простенькой деревянной рамки, как бы прося: "Не думайте обо мне плохо. Не судите меня".

Почему Кате взбрело такое на ум? Впрочем, как ни была она занята собой и своей участью на допросе у инспектора Н. Н., в память запало брошенное прокурорски: "...у него в семье разложение".

- Мой дом, - говорил Федор Филиппович, скупым жестом показывая шкафы и полки. - Книжки - друзья, которые не изменяют, как сказал Пушкин. Садитесь. Итак?

Он все-таки желал знать, что их привело, без предупреждения, в

неурочный час. Он подозревал: его ученица с кавалером пришли не просто, что-то их привело.

- Я хотела... мне хочется вам рассказать. Заведующий, очень благородный человек, необыкновенно хорошо к вам относится, считает вас самым талантливым, образованным, самым образованным преподавателем в техникуме, и... - беспомощно лепетала Катя, - и мы все с ним согласны.

- С чего бы заведующему явилась мысль меня вам аттестовать? - вслух размышлял Федор Филиппович, слегка теребя каштановый ус. - А-а! Ведь у вас там происходит, так сказать, собеседование. Комиссия из центра.

- Комиссия! Одна тетка, - пренебрежительно повела Катя плечом.

- Когда тетка с полномочиями, это уже не тетка, а инспектор. Вероятно, попутно речь возникла кое о ком из преподавательского состава... Нет, прошу вас, - холодно остановил он Катю, порывающуюся что-то сказать, - никаких осведомлений. Я не задаю вам вопросов. - И, круто переводя разговор на другую тему, кивнул на Максима: - Вы не познакомили нас.

Максим поднялся, по-военному щелкнул каблуками.

- Курсант ВЭШ, Военной электротехнической школы, Максим. Катин жених.

- Поздравляю. Вам повезло. - И Кате: - Вам, я думаю, тоже.

Прелестное, чуть грустное лицо глядело на Катю из деревянной рамки, и чья-то чужая, нелегкая, должно быть, доля не отпускала.

Федор Филиппович вслед за Катей перевел взгляд на карточку. Тревожная пауза.

- Она не создана для семьи, - сказал после паузы Федор Филиппович. Вернее, не только для семьи создана. Все что-то куда-то звало ее. Скучала. Таилась, но я вижу. Я сам ей подсказал, послал в Москву учиться на медицинский факультет. После революции это стало доступней для женщин. И мальчишки подросли к тому времени. Довольно быстро она перекочевала в театральную студию. Иной, соблазнительный мир. Талант, и... "ты отдала свою судьбу другому"... Слышали такие слова?

- А вы? Сыновья? - спросил Максим своим твердым, не ластящимся голосом.

- Ей было мучительно нас оставлять. Нам тоже. Но мы стараемся одолевать нашу беду. Мальчишки у меня молодцы.

Федор Филиппович поднялся.

- Вы пришли ко мне с добрыми намерениями, благодарю вас, - сказал Федор Филиппович Кате. - А с Джемсом справляетесь отлично. Вероятно, дальнейший ваш путь...

Федор Филиппович пытливо поглядел на Максима.

- За мной, как нитка за иголкой, - ответил Максим.

Он не нашел ничего более подходящего, как сравнить ее с ниткой! "Я, Катя Бектышева, нитка!" Со своей неколебимой уверенностью он всегда скажет такое, как ошпарит, как ледяной водой окатит из проруби.

- В том смысле, - глядя на Катю, сказал Максим, - что иголка без нитки никому не нужный, бесполезный предмет.

- Я так и подумал, - ответил Федор Филиппович.

46

Все кончилось. Кончились надежды. Помнишь, Варвара, он звал тебя бешеной? За твой беспокойный нрав. Бедная Варвара, и любовь твоя его не спасла... На Иваньковском погосте свежая могила: "Здесь покоится погибший от кулацкой пули председатель Иваньковского сельсовета большевик Петр Игнатьевич Смородин. Вечная память тебе, товарищ!"

Катя горько вспомнила о Петре Игнатьевиче сейчас потому, что маленький разъезд, на котором они сошли с Максимом, был в точности похож на тот, откуда меньше года назад Петр Игнатьевич провожал ее учиться в педтехникум. Такое же небольшое станционное здание, с тремя полукружьями окон и крылечком под навесом, ровненький ряд светло-зеленых, не успевших прокоптиться от дыма акаций за низким штакетником, крытый шатром колодец с бадьей на цепи, плотно утрамбованный красноватый песок платформы, сараюшки, травянистый холм погребя, длинные поленницы березовых дров и в десяти шагах позади строений частый лиственный лес. Едва поезд затих вдалеке, из леса хлынули свист, щелканье, трели - такой ликующий птичий хор, что некоторое время Катя и Максим стояли полны изумления.

Потом они пошли не в лес, а в противоположную сторону, где сразу за железнодорожными путями начинались овсяные и ржаные поля, их молодая зелень была сочна, и свежа, и по-весеннему радостна.

Был воскресный день. Максиму дали увольнительную до завтрашней побудки, поэтому надо спешить. Туда восемь верст и обратно. Надо успеть к вечернему поезду.

- Успеем. Однако давай шагать, поторапливаться, - сказал Максим.

Они шагали полевой дорогой. Небо звенело. Иногда крошечный темный комочек стремглав упал в поле из выси. Это жаворонок нес мошку в жадные клювы голодных птенцов.

Как они ни спешили, Катя непременно хотела завернуть ненадолго в ту осиную рощу. Как это было давно! Был такой же ранний май. Вася привез ее на велосипеде. Ему понадобились ландыши для докторской

дочки, и он прихватил с собою Катю, отчасти помочь ему собрать ландыши, отчасти развлечь. Вася всегда был занят, торопился куда-то, Катю он развлекал и любил мимоходом, урывками. Бурно и виновато, оттого что урывками...

Вот та осиновая роща. Та же. Кажется, не постарела совсем. Легкий, ласковый шорох в верхушках тонких осин. Они остановились. Ландышевого озерца не было. Май был холодный. Ландыши еще не распустились.

- Катя! - позвал Максим.

Она оглянулась. Он протягивал ветку, один листочек колыхался на ней.

- Что это? - спросила Катя.

- Зеленая ветка мая.

- Не пойму.

- А ты пойми.

Она помолчала. Они пошли дальше. Старый бор подступил к дороге темной стеной. И все - поле, лес, небо - пело, звучало. И вот показалось Заборье. Показалась колокольня церковки и среди берез и лип - красная крыша загороженного садом дома.

Катя стиснула руки и отчаянным шепотом:

- Скажи, зачем я тебя сюда притащила? Зачем я приехала?

Максим тихо погладил ей щеку ладонью. У него жесткая ладонь.

- Надо.

- Зачем?

- Простимся со старым и отрежем.

- Ты добрый, Максим.

...Катя помнила тишину и одинокость старого дома в Заборье, особенно когда Васю призвали в действующую армию и они остались с мамой одни. Татьяна последнее время все исчезала. Мертво в усадьбе, угрюмо.

У калитки они остановились. Что это? Шум детских голосов, десятки звонких голосов неслись им навстречу. Катя слушала, не веря.

- Что это, Максим?

Они медленно вошли в сад. Березовая аллея, весело кидая на солнечную дорожку узорчатые пятна теней, вела их к террасе. На террасе дверь в бывшую столовую открыта. Прежде квадратные паркетины пола от старости и неухода осели, образуя посередине комнаты впадину. Теперь, должно быть, полы починили - впадины нет. В окна виден стол, слышны ребячий гам, стук оловянной посуды и ложек, а на террасе появилась из комнаты девушка в холщовом переднике, с полотенцем через плечо.

- Вам кого?

Что-то дрогнуло у нее в глазах, жарко вспыхнули щеки.

- Вы? Ты?.. Да уж не Катя ли?

Она всплеснула руками, сбежала к ним, и через секунду Катя обнимала, целовала, узнавала и не узнавала, и опять целовала Саньку, свою подружку из Заборья, Саньку, которая в детские годы так глубоко переживала Катины повести и вдохновляла ее.

- Твой? - кивнула Санька на Максима, когда взрыв любви и объятий утих. - Хорош. Военный к тому же... Катя, а Василий Платоныч не в беляках случаем? - осторожно спросила она.

- Васю убили на немецкой войне.

- Сердешный, - пожалела Санька.

- А в усадьбе вашей, Катя, - торопливо заговорила она, поглядывая на окна столовой, где шум возрастал, - в вашем бывшем доме сельское общество по распоряжению властей детский дом образовало для сирот из голодных губерний. Прошлым летом из Поволжья к нам привезли. Кто, не доехавши, помер, кого у нас на погост проводили. А больше спасли. С подвод на руках в дом вносили да на полу, на попоны так и клали рядком. Вовсе были без силы, шкелеты остались одни, страх смотреть! А сейчас, слышь, воробьями стрекочут... Гости мои дорогие, желанные! - снова всплеснула Санька руками. - Побегу вам завтрак собрать. Обождите маленько. А поговорить-то как хочется! - Она взбежала на террасу, оглянулась, светясь любопытством и радостью. - У вас небось жизнь вся вперед запланирована. Нынче у каждого на все про все план. А я завхозом в детском доме. И завхозом и поваром все хозяйство на мне. Когда и воспитанием займешься, не без этого.

И скрылась.

Дробно, часто заколотил дятел на клене. Пестрая клуша привела пушистый желтый выводок и принялась копать в земле, озабоченно квохча и что-то толкуя цыплятам.

- Отдохнем, - сказал Максим.

Они сели на ступеньке террасы.

- Одно на всю жизнь запланировано, - как бы ответил Саньке Максим, привлекая Катю, быстро целуя в висок. - Не пугайся, никто не увидит.

Катя улыбнулась ему, но отстранилась, обхватила колени руками, молчала. Максим закурил и тоже молчал, не мешая ей думать.

"Если бы Вася и баба-Кока были живы, оценили бы его, - думала Катя. Они его полюбили бы. Он деликатный. А что верный, это уж точно".

...И перед ней встала вся та история, как бы случилась вчера.

Мучительно представилось ей: сейчас из глубины аллеи появится Вася, и она все расскажет ему...

Тогда, простившись с Федором Филипповичем, они до позднего вечера бродили с Максимом зимними улицами. Максиму грозил внеочередной наряд, а то что-нибудь и построже за опоздание к ночному отбою, но он не отпускал Катю. Они бродили, бродили вечерними безмолвными улицами. Принялся падать сухой легкий снег, кружил и ложился на плечи, а Максим все повторял:

- Я тебя люблю.

Катя вернулась домой почти ночью, в надежде, что Лина и Клава давно спят. Они не спали, шло объяснение. Лина не желала дальше скрывать свою несимпатию к Клаве Пирожковой. Пришло время высказаться напрямик. Она кричала, на весь коридор слышен был крик, пусть слышен.

- Ты всегда была перевертышем, - обличала Лина Клаву Пирожкову. - Ты еще в школе: то с Надькой Гириной, то против; то за отца Агафангела, то против; то за Катю, то против. Ты... Знаешь, кто ты? И нашим и вашим за грошик спляшем.

- Как же! Дождешься от Бектышевой. У нее ни гроша, - прикидывалась простушкой Клава.

- Вся фальшивая, лживая...

- Зачем же ты со мной в одной комнате поселилась, если я такой уж отрицательный тип?

Клавин резонный вопрос застал Лину врасплох. Она сама не знала, почему и зачем поселилась в одной комнате с Клавой. Только что землячки, других причин нет.

В этот критический миг Катя вернулась домой, и Лина, оборвав объяснение, кинулась к ней - рассказывать, как и что было.

...Возле кабинета заведующего толпились четверокурсники, ожидая вызова, но после Бектышевой долго никого не приглашали в кабинет. Комиссия обсуждала Бектышеву. Инспектор Н. Н. произносила речь. Ровным, чеканным голосом произносила речь о классовой борьбе, поисках контрреволюции, железной поступи пролетариата и твердой линии партии в вопросах культурного строительства. Все, что она говорила, было верно, но так как высказывались эти верные мысли по поводу Кати, члены комиссии Лина и Коля Камушкин, знавшие и любившие Катю, слушали подавленно, смысл произносимых слов сейчас был им далек. Заведующий потупил голову, ни звуком не прерывая речи инспектора. Она кончила, сняла очки протереть и изрекла резолюцию:

- Екатерину Бектышеву исключить из состава студентов как классово

чуждый элемент.

Заведующий вынул свой аккуратный платочек, вытер лоб и виски и не ответил. Не обратился к инспектору. Как бы совершенно о ней позабыл.

А обратился к членам комиссии Коле и Лине. Рассказал им, как однажды слушал выступление Ленина на учительском съезде. Ленин призывал беречь широкие кадры учительства - широкие, обратите внимание! - воспитывать и перевоспитывать и не выкидывать полезных нам людей, а, напротив, подчинять своему влиянию, завоевывать все больше на свою сторону. Так призывал Владимир Ильич.

Заведующий снова вытер влажные виски аккуратным платочком и спросил членов комиссии, Колю Камушкина и Лину Савельеву.

- Как вы думаете, Ленин исключил бы Екатерину Бектышеву из состава студентов нашего техникума?

Вот что Катя рассказала бы Васе, если бы вдруг увидела его идущим по аллее, как когда-то давно, в детские годы...

Теперь недолго осталось до окончания курса. Что дальше? В сельце Иванькове ждут. Вернешься в Иваньково, Катя? Там твои младшие этой весной перейдут в старший класс, тебе ведь хотелось довести их до выпуска? А Максим? Еще целый год учиться в Высшей электротехнической школе. Ваша любовь не остынет за год разлуки? Выдержит срок испытания?

А впереди жизнь. В сущности, вся жизнь еще впереди.

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](http://Royallib.ru)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)